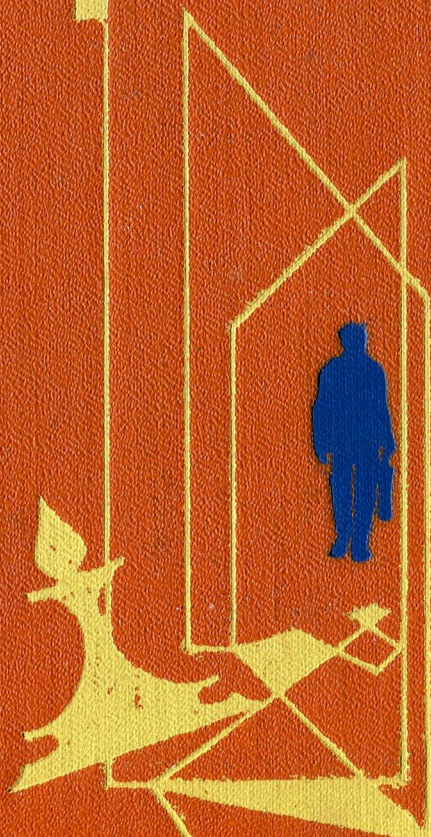


СВЯТОСЛАВ  
РЫБАС

ВАРИАНТЫ  
МОРОВОА



30 marzo, 1940  
e tutto un mondo di  
volgarità, di  
mal gusto, di  
che ho visto  
e un'esperienza  
che ho fatto





СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ РОМАН

---

СВЯТОСЛАВ  
РЫБАС

**ВАРИАНТЫ  
МОРОЗОВА**

---

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ 1982

P2

P93

**Рыбас С. Ю.**

**P93**      **Варианты Морозова: Роман.— М.: Моск. рабочий, 1982.— 335 с.**

В романе «Варианты Морозова» автор исследует нравственные искания своих героев на широком жизненном материале. Действие романа разворачивается в наши дни. Главный герой книги С. Рыбаса — тридцатилетний горный инженер Константин Морозов, представитель шахтерской династии, человек, в котором воплощены лучшие черты его поколения.

P  $\frac{4702010200-001}{M172(03)-82}$  174-82

P2

© Оформление издательства «Московский рабочий», 1982 г.



Константин Морозов пропал без вести в июле тысяча девятьсот шестнадцатого года при форсировании реки Стоход, во время Брусиловского прорыва.

Двумя месяцами позже скончался его отец, Петр Ипполитович Морозов, уездный фельдшер. Он был огромного роста, черноволосый, хромой, ходил, опираясь на палку. Любил женщин, веселые компании, от спиртного не пьянел, а становился добрее и с чувством пел украинские песни. Когда случалось, что вдруг звали к больному, он для освежения дыхания жевал сухой чай и шел как ни в чем не бывало.

Из Морозовых остался один пятнадцатилетний Григорий, учившийся в полтавской бурсе. Смерть отца принесла ему освобождение от бурсацкой муштры, достаточно жестокой, чтобы связать смерть с радостью освобождения.

Старые бурсаки, попытавшиеся окрестить его шмазью всеобщей, загибанием салазок и другими традиционными мучениями, столкнулись не с обычной покорностью новичка, а с жестокой и злой защитой. Все же Григорий был скручен и подвергся обряду посвящения в товарищество, хотя два или три нападавших и остались с царапинами и синяками.

Григорий не отличался ни ростом, ни силой и походил на свою мать, сероглазую маленькую женщину, ушедшую в лучший мир, когда ему не исполнилось и пяти лет. Но были в нем упрямство и пылкость, он всегда был готов к нападению.

Как бы там ни было, три семестра Григория закаливали не жалея, и вернувшийся в родной город Старобельск пятнадцатилетний мальчик имел характер взрослого мужчины.

Он принял на себя дом и впустил жильцов. Товарищ покойного фельдшера, почтмейстер, взял Григория помощником бухгалтера, как сейчас сказали бы об этом — на полставки.

До восемнадцатого года Морозов, по-видимому, оставался в этой должности, а с зимы восемнадцатого необъяснимо сделался начальником Новоайдарской волостной милиции.

...Григорий Петрович, наверное, не подозревал, почему в Донбассе, к которому примыкал степной Старобельск, завязался один из самых сложных военных узлов. Сечевики гетмана Скоропадского, немецкие Soldaten, белоказаки Краснова, добровольцы Деникина, 2-я армия Украинской советской республики, дивизии Южного фронта РСФСР — огромные военные массы дрались на густонаселенном пространстве бассейна, измеряя свою жизнь захватом или сдачей шахтерских поселков, железнодорожных станций, уездных городов. Григорий Петрович был в самом низу войны и смотрел на нее сквозь прицел винтовки. Он освоил все системы — трехлинейку, «бердана» и «шош», румынские и австрийские трофейные, а также пулеметы «максим» русской и немецкой систем, «гочкис», «шош», «люйс». Рубить шашкой он толком не научился, клинок заносил так, что отсекал коню ухо.

Григорий Петрович не стал красным командиром, хотя был смелым бойцом; он не любил подчиняться, всегда был готов спорить, — однажды из-за него сорвалась отправка полка на фронт, и его чуть было не расстреляли, в другой раз он отбил у чужой дивизии три вагона с продуктами, потому что в его собственном полку сидели на голодном пайке. Скорее всего, ему прощалось за храбрость.

В двадцатом году Григорий Петрович снова стал начальником милиции, но не в Новом Айдаре, а в Райгородке. Ничего, кроме службы, всерьез не занимало его. Он жил, привыкнув к мысли о возможной смерти. Это был худший из всех видов одиночества. Однако война по-прежнему продолжалась, ей требовались и такие, подобные оружию люди. Она носила характер охоты: милиция, отряды ЧОНа и даже регулярная кавалерийская бригада гонялись за мелкими и средними бандами, насчитывающими от тридцати до пятисот сабель.

Хутора и деревни, постигшие искусство партизанской самообороны, были враждебны к новой власти, за которую только несколько месяцев назад они были готовы

отдать жизнь. Теперь, когда на их землю больше не посягали ни белое дело, ни иноязыкий интендант, хутора и деревни желали, чтобы их оставили распоряжаться землей по своему усмотрению. В комиссарах продовольственной комиссии, забиравших хлеб для голодных городов, они увидели новых врагов. На теле республики зазияли огромные раны политического бандитизма,— так прочитал его внук Константин о том времени.

О чем мог думать Григорий Петрович, получив по телеграфу сообщение: «Карта десять верст в дюйме. В районе Черной речки предполагаются действия банды Каменева. Организуйте преследование. Уездчека Медведев»? Григорий Петрович знал, что Каменев, или, как его звали, Каменюка, превосходит силы райгородской милиции по меньшей мере в три раза... Григорий Петрович организовал преследование.

То, о чем он тогда думал, не дошло до Константина.

Однажды Константин и Вера зашли в Старобельский районный музей, и старик заведующий, узнав внука Григория Петровича, отвел их в свой захламленный кабинет и стал хвастливо рассказывать о давних боях. Он был краснолицый, седой. От него кисло пахло винным перегаром. Старик рассказывал о том, что Григорий Петрович никогда не вспоминал. Он показал грамоту, где было написано: «Неустранимому бойцу Авангарда Пролетарской армии частей Особого Назначения».

Позже, когда Константин учился на первом курсе горного факультета, он заново сочинил услышанную историю и отнес рукопись в областную молодежную газету.

«Они схлестнулись впервые в марте двадцатого года.

Атаман Каменев подкатил к дому на тачанке, сыркнул на примятый снег, метнулся к двери и замолотил кулаком.

— Откройте! — крикнул он. — Аграновский! Срочный пакет Морозову. Ну, живее! — он стукнул сапогом в дверь.

Командир продотряда Аграновский с керосиновой лампой в руках вышел на крыльцо. В тот же миг три пули, пущенные в упор, погасили поднятую лампу, и Аграновский, забирая пустое пространство руками, рухнул на дощатое крыльцо.

Атаман перешагнул через убитого. В сенях было темно. Он нащупал щеколду, дверь отворилась без скрипа.

Прижавшись к стене, Каменев пытался что-либо разглядеть в комнате. Он знал: выстрелы разбудили Морозова.

— Не узнаешь? — крикнул Каменев. — За что брата казнил в Белолуцке, сволочь! Я тебе звезды за него буду резать!

Тяжелый удар по голове сшиб его с ног, и, падая, он наугад выстрелил, прежде чем потерял сознание. Пришел в себя мгновенно. Морозов уже ломал ему руки и сошел в затылок.

— Пу-усти... — прохрипел Каменев.

— А звезды! Кому? — ответил Морозов. — Нет, Васятка! Кончился ты, бандитское отродье.

— Вишневский, Нехорошев, Аграновский, — бросил Каменев, — недаром подохну!

Он изогнулся, перекатился через спину — пуля опалила ему щеку. Он вскочил. Морозов подставил ему ножку. Каменев полетел к окну, вышиб головой стекло. Вторая пуля ударила по руке. Он перевалился, как мертвый, через подоконник, метнулся к плетню, на ходу крича в темноту:

— Стреляй, хлопцы!

Морозов выскочил на крыльцо, споткнулся о труп Аграновского, упал, и над головой пронеслась длинная пулеметная очередь. И Морозов заплакал от злости. Его слезы текли по неостывшему лицу убитого, смешиваясь с кровью.

— Аграновский! — позвал Морозов. — Слышишь, Аграновский! Я не умру, пока не отомщу за тебя.

Он намертво сжимал в правой руке черный револьвер системы «смит-вессон».

Утром в губернскую Чека он отбил телеграмму: «Карта десять верст в дюйме. В районе Черной речки замечена крупная банда. Налет на отделение милиции в Райгородке. Убит компродотряда Аграновский. Начальник милиции Морозов ранен. Преследование не дало результатов».

Вскоре они снова схлестнулись. Морозов организовывал отряды ЧОНа в Старобельском уезде. Каменев примкнул к Махно.

Тяжелым пыльным шляхом шел обоз. Милиционеры и чоновцы изнемогали в седлах. Жаром несло из степи. Степь была враждебной, десятки банд растворились в ее пространствах, и она грозила поглотить и этот почти беззащитный обоз.

Скрипели телеги. Чья-то сильная глотка пробовала



запеть «Яблочко», но никто не поддержал. Вилась пыль и опадала на дорогу, на следы коней.

Они не знали, что уже обречены. Они чувствовали усталость, но путь был далек. Они мечтали о женщинах, а война не оставила им времени на любовь и на детей. У них было короткое прошлое и десять часов будущего.

За полдень открылись белые хаты села и колокольня на окраине. Спешились в церковном дворе.

Злобно глядели на них мужики. Молча отдавали мешки с зерном.

Пятеро из охраны обоза забрались на колокольню. Крепки были ее стены из красного кирпича. Один дернул за веревку, ударил колокол, грозно, сумрачно. И полетел звук в окна-бойницы, в чистое поле, где резво скакал одинокий всадник, по неизвестной причине покинувший село.

На закате дня во двор съезжались продармейцы. Вот-вот они оставят это хмурое село. Солнце еще не докатится до того осокоря, как кликнут сбор.

Но тут хлопнул с высоты выстрел, и Морозов крикнул: — Закройте ворота! Каменюка!

Сквозь железные прутья ограды просунулись дула винтовок. Кладнули затворы. И отлетели первые вражьи души.

К воротам крадется дьякон, хилый старик, приникает к стенам. Не видит его бойцы.

Новая атака, новый залп. Спокойно держатся хлопцы, и верпа у них рука, и ворота держат удары трехдюймовой пушки.

Как молоды они, чтобы сейчас умереть!

Слабые руки дьякона отодвигают засов, и створы поддаются, расширяется проем между ними.

И нет уже времени на жизнь. Кровь на саблях. Двор вырублен. Остаются только пятеро на колокольне.

Морозов покатал на ладони патрон. «Последний».

Они были в церкви и во дворе. Они рвались и сюда, на колокольню. Только крышка люка отделяла осажденных от их пуль.

Морозов оттолкнулся спиной от стропила и выглянул в бойницу. Двор не был виден: мешал зеленый куполок внизу. На взгорбке по-прежнему стояла пушчонка, нацеленная на церковь. За ней горячил воронка Васька Каменев. Далек, недосыгаем для пули был он, атаман Каменюка.

Осталось умереть достойно. Этот патрон для побеж-

денного. Тебя пристрелят тут же во дворе. Ты призовешь в свидетели осокорь за разбитым забором, зеленый высокий осокорь.

Слава богу, они не успеют тебя вздернуть. У них бы хватило на это ума. Да только им некогда возиться, у них на хвосте Заволжская бригада.

Вырваться, вырваться... Язык колокола да веревка, волочащаяся по полу, подрагивают в ответ на выстрелы. Морозов рванул ее — ударил колокол грозно, с железным придыхом, и задрожали стропила, и потек звук бойницы, в степь, на соседние деревни и поля. «Ну-Где-Ты-За-Вол-Жска-Я-Бри-Га-Да! Где-Ты!»

Он точно слился с ревущей медью. Набат рвался сквозь конные сотни, сквозь погони, сквозь грохочущую дробь «максимов», «люисов», «гочкисов», сквозь огонь и дым пороховой.

Морозов отбросил веревку. Расхристанный, маленький, он замер, уставившись на люк, подрагивающий под ударами прикладов. Его черный «смит» был зажат в правой руке. Крышка люка, окованная железными полосами, побитые ржавчиной петли и серые от пыли доски — вот его защита. Он снял с пояса гранату. В ней не было капсуля, но сейчас это было неважно. Будь даже в ней десять капсулей, с одной бомбой не одолеешь банду.

Морозов расплел веревку, привязал один конец к чеке гранаты, приоткрыл люк и опустил бомбу. «Теперь не сунутся. Теперь у меня еще патрон сэкономится».

Колокольня была клеткой для него. Но колокол, дико прокричавший о помощи, о ненависти, нес призыв по дорогам.

2-я Заволжская бригада смяла банду. Только атаману с десятком человек удалось уйти. А те, пятеро с колокольни, постаревшие и полные ненависти, прыгнули в седла и помчались в погоню.

Они шли по следам атамана и взяли его в деревне Волкодавовке, гиблом кулацком месте. Связанного атамана привезли поперек седла к братской могиле, поставили на колени и расстреляли.

Один из пятерых жив и поныне. Григорий Петрович Морозов — так его зовут, он мой дед. Он боролся и умел глядеть в лицо смерти.

Всю свою жизнь он проработал бухгалтером. Глядя на него, никогда не скажешь, что у него была такая молодость...»

Григорию Петровичу статья не понравилась. То ли она напомнила ему его одиночество, то ли в ней было много неправды, но он оценил ее одним словом, сказанным по-украински: «Дурныця...», то есть — ерунда.

Осенью двадцать первого года, уже после отмены продрозверстки, Григорий Петрович был тяжело ранен взрывом гранаты. Осколки поразили его в голову, в бедро и в спину. Он умирал.

За Григорием Петровичем ходила рослая крепкая медсестра Саша. Она заплакала над ним, потому что поняла — он не желает жить и обречен. Над ним еще никто не плакал. Своей матери Григорий Петрович не помнил, ее могила заросла еще при веселой жизни старого фельдшера Морозова.

Медсестра иногда напевала песню: «Ой, на гори жєнци жнуть...», и в песне говорилось о казачьем походе. Однажды, когда она дошла до слов о Сагайдачном, «щє проминяв жинку на тютюн та люльку», Григорий Петрович открыл затуманенные глаза.

Наверное, он почувствовал тогда, что еще и не жил на свете, а уже торопится умереть.

## II

Морозов возвращался домой и возле книжного магазина увидел Веру. Ее лицо, обращенное в его сторону, было задумчиво. Это была задумчивость взрослой женщины. Морозов так и решил, больше ничего не пришло ему в голову. Он не затормозил, не остановился. Дыхание вдруг сбилось. «Боже мой! — сказал про себя Морозов. — Почти десять лет...»

Он взглянул в боковое зеркальце: Вера не обернулась. Она не заметила, кто ведет «Запорожец».

— Ладно, — пробормотал Морозов.

Это злое «ладно» должно было подтвердить, что ему давно нет дела ни до какой Веры. Но в душе по-прежнему что-то тлело, что-то саднило, не заживало. Черт знает что за наваждение — серьезному мужику вспоминать юношеские сумасбродства.

И он не вспоминал.

Увидел Веру?.. Значит, она приехала к родителям. Что в этом неожиданного?

Морозов прибавил газу. Начался небольшой подъем, и «горбатый», загудев, стал медленно набирать скорость.

На середине подъема пришлось переключить передачу, потому что двигатель тоненько застучал. «Нечем похвалиться,— усмехнулся Морозов.— Почти десять лет... Вспоминает ли она когда-нибудь?.. Сейчас поворот налево. Вот... во двор... мы дома».

Он вошел в подъезд, вытащил из почтового ящика газеты и поднялся на третий этаж («Известия», «Социалистический Донбасс», «Советский спорт», письмо из Старобельска). Морозов все свернул в трубку и ударил ею по перилам.

В доме было тихо. Он пошел на кухню, поглядел на холодильник, бросил на него газеты. Подумал, постоял и направился в комнату. Сел в кресло и потянулся к телефону. Подержав трубку, Морозов опустил ее обратно и закрыл глаза. Было похоже, что он не знал, чем заняться.

Он сходил за газетами.

Нечем было похвалиться. Серая жизнь, скудный быт, маленькие желания... Прийти к Вере и сказать: «Знаешь, ничего не получилось, пожалей меня».

Развернул «Известия», там была тридцатистрочная информация о бригаде с шахты имени Димитрова. Местная газета напечатала о бригаде большой репортаж. И Морозов почувствовал унижительную ревность. Такого с ним еще не бывало. Но чужая слава подчеркивала его серость, дело было именно в этом. Уже просматривалась и вся остальная жизнь впереди, уже было невозможно куда-либо свернуть и выбрать другую. Страшная противоположность между тем, что хотел Морозов в юности, и тем, чего он добился сейчас, между высоким, романтичным, не до конца понятным и между простым, житейски низким, предельно понятным,— эта противоположность угнетала его.

К письму Морозов еще не прикасался. Оно было от бабушки, один вид дрожащего корявого почерка вызывал жалость и беспокойство.

Бабушке было восемьдесят два года. С ее смертью порвалась бы главная нравственная связь Морозова с родней; отец и дед уже умерли. Бабушка умоляла Морозова забрать ее. Но что об этом говорить... Он не раз привозил ее сюда, но, прожив месяц, она уже скучала и требовала, чтобы внук вез ее обратно.

А теперь надо было все же забрать бабушку, он это понимал, однако не хотел хлопот, боялся их. Если уж до



конца быть честным, боялся ее умирания у него на глазах.

Морозов отложил письмо к газетам на столик. Подошел к балкону, толкнул дверь.

Здесь было жарко. Солнце нагрело бетонный пол и железные перила. Под ногами лежал свернутый в трубочку кленовый лист. Утром было ветрено. Наверное, лист закинуло ветром.

С высоты Морозов поглядел вниз, и вдруг вспомнилось ему, как давным-давно говорил с Верой по телефону, сидя на четвертом этаже у открытого окна, и как ясно и просто думал: вот сейчас она откажет и я прыгну...

А Вера не отказала, согласилась стать его женой.

«Ты бы не прыгнул! — насмешливо сказал себе Морозов. — Что за глупости!»

Тут же он возразил себе, словно в нем затевали спор два разных человека. Однако спора не получилось, Морозов-нынешний без борьбы взял верх.

Через два часа нужно было возвращаться на шахту и проводить с третьей сменой наряд. Начальник участка Бессмертенко болел, его заместитель Тимохин исполнял обязанности. Морозов же как был помощником начальника участка, так и оставался им.

Но положение было запутанное и шаткое. Бессмертенко лежал со вторым инфарктом, Морозов хотел стать начальником на участке, а для этого еще нужно было обойти Тимохина. А как его обойдешь?

Бесхитростный, стареющий Тимохин. Ему тридцать четыре года, он лысый, лишь на затылке короткие щетиновые волосы. Женщины его не любят, с ним скучно.

«Что ты смущаешься? — спросил Морозов себя. — Ты же не тот попрыгунчик... (Неужели и вправду сиганул бы?!) Жизнь — это спорт».

Он взглянул на часы и решил принять душ и поесть.

В ванной комнате под потолком, упираясь одним концом в стену, а другим лежа на вытяжном шкафу, размещалась деревянная ручка от швабры. С нее свешивалось полотенце. Морозов отвернул кран, потрогал холодную струю и стал под ее колючий накат.

Если обойти Тимохина... Если Морозов ничего не предпримет, то еще лет пять или все десять он не вырвется к настоящему делу и будет исполнять чужие приказы. Кажется, зачем карабкаться в гору, поднимать новую тяжесть, но что еще остается? Больше нечего выбирать, и

это самое грустное. Нет, жизнь вовсе не спорт. К чему обманываться? Это потерянная Вера, это болезнь, как у Бессмертенко, это дни, похожие один за другой, сменные задания, лихорадка из-за плана, бардак на участке, когда сидишь на шахте сутками, ибо ты рабочая лошадь, сидишь, и некогда умыться, поесть. Тебя посадили в бочку и пустили по откосу, славный спорт?

После душа Морозов повеселел. Он причесался перед зеркалом. Его лицо не было усталым, углы широкого рта загибались кверху, как будто Константин вот-вот был готов усмехнуться. Он потрогал большим пальцем длинный шрам на правом виске. Три года назад его ударил острый кусок угля и оставил вечную татуировку. Однажды зажало между стеной откатного штрека и вагонетками, но остался в сознании, не упал под колеса. Больше приключений не случилось.

Морозов вышел из ванной.

В холодильнике стояла тарелка с сырыми антрекотами. Он слил в раковину собравшуюся на дне тарелки бурую кровь и поставил на газ сковородку. Можно было пообедать и в шахтной столовой, но тогда почти наверняка он не попал бы домой: что-нибудь удержало бы.

Морозов поджарил мясо, поел, вымыл тарелки и сковородку. Все-таки правильно, что он не остался на шахте. Он был там, как обычно, с шести часов утра. В забое меняют транспортер, к вечеру закончат. Из-за этого угля будет мало.

Морозов хотел лечь на тахту, но увидел письмо на газете. Сквозь неразборчивый почерк и грамматические ошибки к нему пробился ласковый старческий голос:

«Мой дорогой внучек Костя! Живи, только не старей, как плохо старому человеку. Приближается зима. Ой как боязно. Хорошо когда тепленько в доме, а зимой надо топить а как вставать не хочется Костя почему ты не пишешь забыл ты меня. Никому я не нужна потому что я старенька, а смерть тоже меня забыла. Что пора мне на вечную жизнь или мне места нет? Я, Костя, рада за тебя что ты не пьешь. Все на шахте пьют, я помню когда полчка была на шахте в Боковке где я фельдшером служила шахтеры сильно побились в драке. Ты не пей, рабочие еще больше уважать станут Моя ты умница золото мое. Хотя бы женился и дитинку народил! Я бы полюбовалась. У соседки девочка, я все хожу к ней. Она сидит

за столом и ложку сама держит. Ее фотографировали на всякие позы, хорошие фотографии И ты бы так сфотографировал и прислал мне.

*Твоя бабушка.*

Меня кто-то зовет, а потом дедушка Гриша зовет: «Саша!» — и мне так жутко делается. Он стучит в окно: «Где моя кровать стоит?» Я боюсь сама оставаться, вот горе! Или это нервное?

Сонник взяла, слезы глаза застыт. Перекрестилась и легла. Ты просил послать тебе сонник, а как мне быть? Я к нему привыкла, придут соседки, поспрашивают, а я им растолкую.

Мой родной сыночек пиши не забывай

Обнимаю тебя крепко целую

*твоя бабушка».*

Бабушка была единственной среди всей родни, кто не противился, когда Морозов собрался жениться на Вере. Бабушка любила его иначе, чем остальные. Она выходила Константина в сорок седьмом году, тот уже умирал, истощенный страшной дизентерией. Врачи запрещали давать ему воду; Костя едва стонал, сил не было даже на крик. Тогда бабушка увезла его в Старобельск.

Бабушка Константина, Александра Павловна, была родом из курского села Рыбинские Буды, откуда в голодный год ее забрали двухлетней сиротой в Старобельск. Она прожила в няньках, была уборщицей в школе и закончила армейские курсы медсестер.

На фотографии она была с высокой учительской прической, в темном глухом платье с мелкими пуговицами на груди, молодая и строгая.

Выходя за Григория Петровича замуж, она должна была понимать, что душевное обновление мужа будет долгим и что семья будет держаться только на ней. Морозовы уехали из Старобельска. Их дом сгорел еще при декингцах, поэтому они выехали налегке.

Уезжая из Старобельска, бабушка не думала, что когда-нибудь вернется обратно. Ее дорога только-только начиналась, и самое страшное — война — уже было в прошлом.

Она стала работать фельдшерницей в шахтном медпункте, а Григорий Петрович работал бухгалтером. Она

родила трех детей, двух мальчиков и девочку, и всю жизнь видела свое назначение в них и муже, а потом — и во внуках.

Ее дочь вышла замуж за инженера Анищенко и жила в Москве. Один сын был председателем колхоза в Тульской области, а второй — Петр, отец Константина, стал горным инженером.

Они жили скромно, а может быть, даже бедно. Сфотографированный в возрасте четырнадцати лет Петр Морозов одет в тесную курточку, мятые хлопчатобумажные брюки, на ногах — брезентовые ботинки. Он почему-то острижен наголо. На другой фотографии — его младший брат Михаил в таких же морщинистых убогих ботинках. Это тысяча девятьсот тридцать шестой год. Григорий Петрович еще не стар, по многое позади, и можно подвести некоторые итоги.

Главное — дети здоровые и толковые. У Петра заметна тяга к радиотехнике, он строит детекторные приемники. Михаил общительнее брата, у него много друзей, и он любит меняться с ними разными вещами. О дочери, Надежде, еще ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что она обещает стать красавицей.

Григорий Петрович и Александра Павловна живут в маленьком доме, принадлежащем шахте. У них свой огород, куры и два пчелиных улья. Михаил и Надежда в мае вскапывают землю и вместе с Александрой Павловной сажают картошку, огурцы, помидоры, лук, морковку, капусту. Петр редко участвует в огородных заботах, но и ему и Григорию Петровичу приходится таскать воду из колодца на огород, — часто май бывал сухим, а в июне начинали дуть восточные суховеи. Обычно суховеи стояли от двух до шести дней.

Григорий Петрович увлечен пчелами. Он выставляет ульи из омшаника в конце апреля. В степи уже цветут тюльпаны и сон-трава, потом зацветают татарский катран, ирисы и горчица, а на третьей майской неделе раскрываются темно-красные пионы.

Иногда Григорий Петрович забывает о пчелах, и тогда Александра Павловна ворчит и сама осматривает рамки с детвой, проверяя, не готовы ли пчелы рождение второй матки. Если упустить появление второй матки, то пчелиная семья разделится и вылетит рой.

Григория Петровича в малой степени занимает мед, ему нравится следить за таинственно организованной



жизнью ульев, и этим он привязывается к природе трав и цветов. Проезжая по делам службы проселочной дорогой, он нередко останавливает лошадь, привязывает вожжи к передку легкой двуколки и ходит по обочине, глядя на разноцветный степной ковер с серебристым ковылем и типчаком. Он уже умеет различать медоносы — эспарцет, клевер, донник, иван-чай. Александра Павловна научила его определять лекарственные травы. Ему приносит глубокую спокойную радость простое открытие, что среди беспорядочного чередования степных холмов, грив, куполов, долин и оврагов травы растут по своим законам и привязанностям. Григорий Петрович видел на сланцевых обнажениях люцерну, ромашку, чабрец, на песчаниках — тимофеевку и житняк, на солонцах — полынь и узколистую осоку. Потом он передаст это открытие внуку, станет ждать от него радостного удивления, но Константин будет интересоваться в жизни деда совсем другим. Для Константина тридцать шестой год был непонятнее и скуднее двадцать первого. Было странно узнавать, что героически начинавший человек превратился в замкнутого служащего, которого мало коснулось стахановское время и закал первых пятилеток.

На фотографии того года Григорий Петрович с узкой щеткой усов, худощавый, лысеющий. Он и впрямь похож на бухгалтера; никакого противоречия между формой и содержанием не видно.

Константин понял позже, почему дед охотно вспоминал именно этот период своей жизни: тогда Григорий Петрович жил в согласии с собой. Должно быть, это и было счастьем.

Его дети унаследовали в большей мере стойкий характер Александры Павловны, и только у одного старшего сына Петра порой пробивались вспышки гордыни, — впоследствии он был сломлен как раз поэтому.

Пока Григорий Петрович задумчиво постигал жизненную субстанцию, на бабушке лежало воспитание детей. Их окружал прежде всего ее мир, в котором жизнестойкость дерева, трудолюбие пчел, обыденная работа на земле и радость наблюдения за ростом какой-нибудь луковицы, — это незаметно воспитывало в них самую надежную защиту в будущих испытаниях. Иногда бабушке приходилось доставлять раненых и убитых шахтеров на земную поверхность. Она рассказывала детям о таких днях, не утаивая ничего. Смерть и человеческие муки, которые

не раз видела вблизи бабушка, никогда не смогли опалить ее душу хладнокровием. Она выговаривала свою горечь дома. В ее глазах стояло удивление, а глаза Григория Петровича подергивались сухой бестрепетной пленкой. В те минуты дети постигали что-то такое же большое и серьезное, как в часы близости с природой.

Вначале она ничему их не учила, а потом, когда наступила пора учебы и связанных с ней школьных ограничений, бабушка проявила твердость и даже жестокость. Само собой от нее исходило требование мужества, честности и уважения к человеку. Как медик, она ясно понимала, что человек сделан одинаково из добра и зла, и принимала в нем все, только подлости и двоедушия на дух не переносила.

Кем она хотела видеть детей? Агрономом, врачом и инженером. И будущие эти профессии представлялись ей единственными в силу необходимости их для жизни людей. Наверное, в ее желании было заложено и то, что при Константине стало называться престижем профессии, но бабушка никогда не могла себе позволить ориентироваться только на чужое мнение и материальный успех: она доверяла себе.

Как ни странно, внешне совсем не подходившая к ней песня того времени «Нам нет преград ни в море, ни на суше» вполне точно выражала состояние бабушки. С одной стороны, это было время внешней бедности, а с другой — внутреннего величия и богатства.

И нет ее вины в том, что из трех детей только одного Михаила не согнула жизнь. Дочь Надежда отдала себя своим детям, осталась недоучкой, домохозяйкой, матерью и тихо отцвела, никем не оцененной, кроме своих близких. Ее безвестное угасание было малозаметно на фоне бурной судьбы брата Петра и несокрушимой твердости брата Михаила, ставшего сразу после войны председателем колхоза. Может быть, нельзя было назвать Надежду несчастливой, но ее счастье было построено на самопожертвовании своими интересами ради интересов мужа, детей и внуков, и идеально развившееся семейное чувство подавило в ней личность. Она была почти точным повторением своей матери, но повторением, лишенным могучего жизнелюбия Александры Павловны. Если бы ей пришлось пережить испытания, подобные сиротству, скитанию по чужим людям, горькую муку сострадания в госпиталях и шахтных медпунктах, то Надежда была бы другим чело-

веком... Сама она едва ли понимала, что ее жизнь неполная, а понимала это только одинокая умная старуха Александра Павловна.

...В тридцать девятом году у Григория Петровича открылась язвенная болезнь. Бабушка решила возвращаться в Старобельск и связала свое решение с тем, что там Михаил начнет учиться в сельскохозяйственном техникуме. Она не хотела отпускать сына одного. Но самая главная причина переезда не высказывалась, ибо вряд ли объяснялась так же ясно, как болезнь и необходимость учения: бабушку потянуло на родину. Впоследствии она любила путешествовать и долго примерялась обосноваться то у Михаила, то у Надежды (Григория Петровича и Петра тогда уже не было в живых) и, нигде не смирившись с ролью беспомощной, а главное — бездеятельной приживалки, вернулась в Старобельск навсегда. Она попробовала пожить и у Константина, но в пустой квартире ей стало страшно. Уехав, она порой упрекала внука, что тот не хочет ее забрать.

«Поеду к ней,— подумал Морозов.— Схожу на могилы! Давно не был...» До Старобельска было триста километров, туда можно было добраться за полдня.

«Черта с два удастся,— тут же сказал он себе.— Не отпустят».

Зазвонил телефон. Морозов покачал головой. Ему не хотелось поднимать трубку.

— Потерялся двигатель от транспортера! — сказал диспетчер.

— Хм,— ответил Морозов.

— Морозов? Это ты или не ты?

— Чтоб вы провалились со всеми вашими транспортерами! Возьмите со старого.

— Спасибо за совет,— пробурчал диспетчер.— Только ты забыл, что там другая модификация. Не подойдет.

— Где Тимохин? — спросил Морозов и ответа не ждал.

Было ясно: надо ехать. Нашли лошадку. Тимохин где-то там у них под боком, но его не ищут,— проще позвонить Морозову. Бессмертенко говорил: Тимохина можно за смертью посылать.

Морозов пошел в ванную, снял с гвоздя рубаху. Ее ворот был серым. Он скомкал ее и сунул в коробку с грязным бельем. Потом надел свою любимую светло-голубую

сорочку и хорошие брюки. Ему трудно было бы ответить, зачем он выбрал эту одежду. На шахте предстояло просидеть до ночи, а то и спускаться под землю. «Надел чистое — и в смертный бой», — улыбнулся Морозов. Ни раздражения, ни злости он не испытывал. Он привык к подобной неразберихе. Когда-нибудь там перепутают небо с землей и шахтная клеть взлетит прямо в рай. Бывало такое. Он подсчитал, сколько секунд летит клеть по стволу, и вышло около тридцати секунд. За эти секунды наверняка сообразишь, что произошло. Но зачем же он забивает свою голову такими небылицами? Пора ехать.

Некогда Морозова удивило определение горных инженеров: «народ по духовным качествам оборотистый, скупой, малоразвитый и грубоватый». Оно относилось к первому десятилетию двадцатого века, ко времени штейгера Шестакова, прадеда Константина по материнской линии, но в чем-то существенном оставалось справедливым и сейчас. Социолог, впрочем, мог легко опровергнуть эту мысль, подсчитав, насколько выросли с той поры общее образование людей и уровень механизации. Он без труда оспорил бы Морозова. Но как бы он возразил на то, что шахта — это горная стихия? И стихия отбирала народ стойкий, твердый, решительный, предпочитая интеллектуалам грубых героев.

С весеннего месяца апреля в шахте шла тяжелая подземная гроза. По лавам текли ручьи воды и грязи, кровля трещала и обрушивала глыбы. На-гора выезжали вагонетки с мокрой пустой породой. Шахта, и прежде никогда не бывшая передовой, стала последней среди всех шахт треста. И чем тяжелее были условия работы людей, тем ценнее становилась для них добыча каждой тонны угля. Все знали, что план в любом случае остается недостижимым, что нечего больше ждать премий и наград, но в этой тяжелой борьбе обычные цели утратили свое значение. Здесь действовали чрезвычайные законы, опирающиеся на человеческую гордость.

Три месяца шахта преодолевала геологические аномалии, три месяца начальник шахты Зимин нейтрализовал все нарастающую критику руководства и защищал людей от постороннего давления, нервных инспекций и недоверия, но на четвертый месяц, в жарком августе, когда, казалось, положение стало улучшаться, был снят с работы



главный инженер шахты Токарев, и Зимин почувствовал, что он сам висит на волоске. Он поддался панике.

Добыча медленно увеличивалась.

Через двадцать пять минут после звонка диспетчера Морозов был на месте. Он въехал в огромный тихий двор. Наземные службы уже закончили работу, вторая смена еще оставалась внизу.

Утихший днем ветер усилился к вечеру. Небо было блекло-голубое. С кленов облетали листья. Подкрадывалась осень. Еще будет стоять недолгое тепло, еще ласточки кружатся высоко в воздухе, еще водяная вертушка сеет дождь над зеленым газоном, но от лета уже нечего ждать. А лето прошло,— значит, и год прошел. В следующем Морозову исполнится тридцать. Он незаметно простился с юностью. Иная жизнь началась без предупреждений в то самое время, когда думалось, что впереди вечность. Но вместо вечности была путаница мыслей и ожиданий, какая обычно бывает весной. У Константина наступал страшный возраст.

Поднявшись на второй этаж административного корпуса, Морозов заглянул в нарядную своего участка. Он не надеялся кого-то здесь встретить, толкнул дверь и увидел дремавшего за столом Митеню. Тот был в грязной спецовке. Рядом с его головой на столешнице лежала каска. Видно, Митеня совсем обессилел: он не уходил с шахты почти сутки.

— Костя, ты? — спросил горный мастер.

— Вроде я,— ответил Морозов.

— Хорошо,— Митеня поднял голову, сильно зажмурился. Раскрыв глаза, он мгновение бессмысленно таращился, потом снова зажмурился и махнул рукой: — Мотор... Как корова языком. Сбились с ног. Ну прямо...

Митеня коротко и с бездумной яростью выругался.

— Погоди, Митеня. Давай-ка толком.

— Ну!

— Ну что «ну»? Ты принимал конвейер. Комплект...

— Был комплект,— кивнул Митеня.

— ...был? — закончил вопрос Морозов.

— Ну! Был! А в погребе нету проклятого мотора. Обегал весь участок, прямо...

— Ты не матерись,— сказал Морозов.

— Да я не матерюсь. Разве я матерюсь? Тут... — Гор-

ный мастер погрозил кому-то кулаком.— Ищу концы. Диспетчер обзванивает все участки.

Он потер лоб, поглядел на грязную ладонь и взял каску.

— Иди домой,— сказал Морозов.

— Ага,— произнес Митеня и вышел.

Морозов знал, что тот виноват: горный мастер должен был проследить, как под землей пойдет груз.

Митеня попал на шахту по распределению, проработал год, а это слишком короткий срок, чтобы привыкнуть ко всяким неожиданностям.

Морозов тоже начинал плохо.

Константин позвонил диспетчеру: мотора еще не нашли. С каждой минутой участок все глубже оседал в болото неразберихи. За нынешние сутки лава не выдала ни грамма добычи. Кто за это ответит? Но господь с ними, со всеми ответами и наказаниями. Чтобы ни было, а дальше шахты не пошлют, дальше — пекуда. Не в этом беда. Беда в том, что ты бессилён сейчас, Константин Петрович. Время идет...

Он вышел из-за стола, поглядел на стул и усмехнулся. Так и есть, он выбрал именно тот, на котором только что сидел в своей чумазой спецовке горный мастер. Морозов отряхнул брюки.

Он наряжался для Веры. Хотя нет, с Верой ему больше не встречаться. Он встречался с воспоминаниями своей юности? Морозов от этой мысли кисло сморщился: он не был сентиментален.

Ему предстояло приказать, чтобы уголь перебрасывали на штрек вручную. Жестокий будет приказ.

Вернулся Митеня. Он уже вымылся в бане и переоделся в клетчатую рубаху и джинсы. Длинные плотно лежащие волосы блестели от воды и открывали чистый гладкий лоб. Теперь горный мастер походил на человека.

Морозов сказал ему о переброске угля.

— Это революционно,— радостно улыбнулся Митеня.— Научно-техническая революция наоборот.

Он говорил правду и радовался тому, что говорит ее.

— А если бы там работали твои дети? — продолжал он.— Что тогда?

— Критиковать легче всего.

— А своих ты бы, наверное, не поставил...

— Нас всех ставят,— пошутил Морозов.— Ну, а что ты посоветуешь?

— Нужен конвейер. Надо ждать. Подумаешь, плана не дадим... Наверстаем.

Митеня был зелен и прямолинеен. От него не было сейчас толку.

— Сукин ты сын,— сказал Морозов.

— Я? Почему? — Митеня зевнул.

— Сам подумай «почему»?

— Пока,— вымолвил горный мастер.

Морозов сдержался, пожалел измученного бессонницей парня. Бессмертенко спустил бы с того три шкуры!

Черт дернул горного мастера за язык, сказал о детях. Отец Морозова не желал, чтобы его сын шел в шахту. Морозов ослушался.

Пора было позвонить вниз. Выбор сделан. Завтра на планерке начальник шахты узнает, что участок не простаивал даже в тяжелом положении и что его повел приказ Морозова. Потом начальник шахты Зимин спросит, кто замещает Бессмертенко, не Морозов ли? Но ему ответят, что нет, не Морозов, а Тимохин. И тогда... Кто ведает, что будет тогда? «Ничего не будет,— сказал себе Константин.— Получу нагоняй».

Он помедлил и направился в диспетчерскую.

Кияшко бубнил по селекторной связи, даже не взглянул на Морозова.

На электрической схеме желтыми, красными и зелеными линиями светился план шахты, все ее участки и выработки. Если бы у Морозова было иное настроение, он мог бы сравнить эти линии с городскими улицами и кварталами, где живут люди, где радость и горесть перемешаны и неотделимы друг от друга. Но у него не было мечтательного настроения.

Рядом со схемой висела на стене черная грифельная доска, на которую мелом выписывали цифры добычи.

— Перекрывай! Молодец! — уговаривал кого-то диспетчер.— Бессмертенко прочно минусует.

По привычке он называл участок именем его начальника, хотя знал, что старик уже не вернется.

Наконец Кияшко кивнул Морозову. Его полное с отечными щеками лицо ничего не выражало. «Не нашли мотора»,— понял Константин.

Диспетчер щелкнул тумблером, отключил связь.

— Греков покрывает твой минус,— сказал он.— Общешахтная не падает. А вы сами у себя решайте, с вас премию скинут.

— Ты от общей добычи получаешь,— согласился Морозов.

— Я за чужие грехи не ответчик,— Кияшко засмеялся, как будто его развеселила мысль, что сегодняшняя беда его не заденет.— Сейчас докладывать Зимину. Хочешь послушать?

— Скажи ему, что мы качаем уголь,— попросил Морозов.

— Я врать не буду, напрасно думаешь.

— Смотри не наколись,— пожал плечами Морозов.

— Берешь на пушку? — спросил диспетчер иронично-добродушным тоном.

Морозову ни к чему было дразнить его. Тот мог сдуру, из-за мелочности характера наговорить Зимину бог знает чего. Кияшко был отпетый трус, и, когда на него давили, он всегда уступал, а потом озлоблялся и стремился отплатить.

— На пушку тебя не возьмешь,— сказал Морозов.

— Это верно,— ответил Кияшко.— Знаешь, что Зимин не может решить, кого из вас поставить на место Бесмертенко? Вы подеритесь.

— Дружеский совет?

— На всякий случай.

Вернувшись в свою нарядную, Морозов наконец позвонил во второй забой. Телефонистка соединяла долго, и пустота паузы злила Константина.

— Заснула, барышня? — съязвил он.

Трубка молчала. Он снова подумал о том, что вынужден отдать приказ.

Митеня ни черта не понял: Морозова не смущало физическое напряжение шахтеров, потому что ведется работа не машинами — напряжением сил она ведется. Всегда напряжением сил. И даже дышать под землей не сладко...

Его смутило другое. Могли подумать, что он идет на такие приказы для карьеры.

«Кто так подумает? — спросил он себя.— Я выполняю план и обеспечиваю людям заработок... Другого выхода у меня нет».

Прежде Морозова не смущали бы такие мысли, то ли зелен он был, то ли не видел возможности выдвинуться, как бы там ни было, а прежде он не заботился о том, что о нем скажут. Чужие слова нимало его не волновали, и любую свою ошибку можно было спокойно поправить, не удручаясь последствиями. «Веру потерял, но уж если сей-

час потеряю, то навсегда,— решил Морозов.— Прежде подобных понятий — навсегда — я терпеть не мог, а теперь добрался до них, и мне не смешно».

Трубка откликнулась.

— Второй забой? — спросил Морозов, оборвав бессмысленные рассуждения.— Где Лебеденко?

— Лебеденко аж на том краю,— неторопливо ответил чей-то голос.— А кто спрашивает?

— Морозов.

— Подождите...— Голос пропал.

Через минуту в трубку ворвался новый голос:

— Константин Петрович! Лебеденко у комбайна. Вверху. Это Елага. Слышите? Качаем!

— Как качаете? А транспортер?

— Пока обходимся.

Шахтеры уже сделали так, как он хотел приказать, понял Морозов.

— Зови Лебеденко,— сказал Морозов.

Ему показалось, что он начинает чего-то бояться.

А чего ему было бояться? Всем ясно, что без старика Бессмертенко участок провалился, что Морозов и Тимохин не обеспечили самого элементарного: плановую добычу. И уж ясней ясного, что ломаного гроша не дадут за руководителей, не обеспечивающих план.

Поэтому и бояться было вроде нечего, ибо цельзя было потерять то, чего не могло быть.

Трубка снова ожила.

— Мне Лебеденко,— сказал Морозов.

— Лебеденко на том краю, аж возле комбайна,— неторопливо ответил чей-то голос.— А кто спрашивает?

— Морозов.

— А, Петрович! — ласково-фамильярно сказал голос.— Это Кердода. Как дела на бугре?

Кердода был веселый лодырь и зубоскал. На него всегда кричал Бессмертенко, бригадир Лебеденко дважды собирался его выгнать, но все благополучно устраивалось для Кердоды. На его лень забойщики почему-то смотрели сквозь пальцы и не оставляли его в одиночестве перед гневом начальников.

По всей вероятности, Кердоду не вышибли из бригады потому, что у Бессмертенко порой не доходили до мелочей руки и лишь хватало сил, чтобы удержать участок хотя бы в каком-то порядке.

— Кердода, а что тебя интересует на бугре? — неожиданно впадая в такой же панибратский тон, спросил Морозов.— Мы с тобой минусуем. Теряем последнюю надежду на премию. Это самые последние новости.

— Не вы со мной теряете, а я с вами,— поправил Кердода.— Мое дело телячье. Что прикажут, то и делаю.

Он намекал на то, что никакой вины за шахтерами не числилось, и уж если искать виновных, то среди других.

— Позови Лебеденко! — сказал Морозов.— Быстренько!

— Да он же далеко...

— Давай-давай, зови,— поторопил Морозов.

Телефон замолчал. В трубке слышались размеренные удары, и промежутки между ними становились все больше и больше. Наверное, Кердода бросил тяжелую металлическую трубку, и она раскачивалась, задевала за стенку. Вдруг Морозов ощутил посторонний ровный шум, похожий на шум работающего комбайна.

Он представил себе низкую лаву, рассекающую угольный пласт поперек. Вдоль груды забоя идет комбайн, рубит пласт. Уголь осыпается на транспортер, уходит вниз, к штреку, мимо железных тумб, которые подпирают земной свод... Но сейчас комбайн не мог работать! Что же еще могло так шуметь? Ведь он ясно слышал рокот электродвигателя, работающего в режиме полной нагрузки.

— Лебеденко слушает, Константин Петрович,— раздался сильный, со сбитым дыханием голос.— Хочу пораздовать — все в порядке! С вас магарыч.

Лебеденко перевел дыхание. Ему нелегко было пролезть по узкой лаве, но он быстро добрался. Ловкий и смелый был бригадир, этого не отнимешь.

— Какой магарыч? — переспросил Морозов.

— Слышите? Мы качаем!

— Как качаете? А транспортер?

— Вышли из положения,— с достоинством ответил Лебеденко.— Установили запасной мотор.

— Запасной?

— Запасной, Константин Петрович!

Лебеденко молчал, ожидал новых вопросов. Когда он односложно говорил «вышли из положения», его всегда, кажется, так и распирало от гордости, и толковое объяснение из него приходилось вытягивать при помощи похвал, изумления или нервного понукания.

— Откуда же запасной? — искренне изумился Морозов.

— Кое-что держал на черный день, авось сгодится...

— Но ты же говорил, что все старые вывезли на-гора?

— Вывезли,— подтвердил бригадир.

— А как же мотор?

— Он остался, потому что я его придержал.

— Все-таки ты кулак, Николай Михалыч! — засмеялся Морозов.

Месяца полтора назад, когда шахта не выполнила план по сдаче металлического лома и когда начальника шахты Зими́на опалил неожиданный разнос в тресте и в райкоме, с участков вывезли на поверхность все бросовое, годное и негодное, железо. Выходило, Лебе́денко оказался толковее многих и оставил кое-кого в дураках, в том числе и Морозова.

— Так с вас магарыч,— напомнил Лебе́денко.— Вы уж извините, я наперед пообещал народу, что все будет по чести.

— Потом, потом,— отмахнулся Морозов.— Я еду к вам. Порожняк есть?

О порожняке он спросил не случайно. Вагонеток для вывозки угля не доставало. Они то выплывали из сумерек откаточного штрека длинным составом, стуча друг о друга буферами, и затем долго стояли возле погрузочного пункта, то вдруг пропадали, и тогда замирал участок. Бедные транспортники вечно дышали туманом угроз и ругани, которую изрыгали добычные участки. Но всегда, сколько помнил Морозов, у них отыскивались бесспорные доказательства своей безвинности. Порой транспортники врали, порой говорили правду, однако для добычников было одинаково, какими словами объяснялся провал.

И конечно же Лебе́денко ответил, что на откаточном штреке осталось всего лишь два вагона и что работа вот-вот прервется.

— Ну ты держись, Николай Михалыч,— бодро попросил Морозов.

— Мы постараемся, Константин Петрович,— так же бодро обнадежил бригадир.

И оба, по-видимому, ясно представляли себе, что их бодрость вызвана желанием скрыть от собеседника простую правду; хотелось, чтобы каждый на своем месте как-нибудь изловчился, схитрил и, главное, не растерялся. Хотя от бодрости духа сейчас ничего не зависело, и, по-

нимая это, инженер и бригадир продолжали разговор в том фальшиво приподнятом тоне, которым принято говорить с безнадежным больным или с маленьким ребенком. Потратив на эту психотерапию полторы минуты и убедившись в том, что каждый считает себя умнее, они закончили разговор.

Диспетчер Кияшко смотрел в окно. Опущенные плечи, сгорбленная спина и выбившаяся из-под ремня рубашка,— что-то грустное было в этом рыхлом, толстом человеке.

— Устал, Филя? — мягко спросил Морозов.

— Устал,— кивнул Кияшко.

— А у меня транспортер наладили. Лебеденко что-то схимичил.

— Это хорошо, что наладили,— вяло сказал диспетчер.— Теперь тебе вагоны нужны?

— Нужны,— улыбнулся Морозов.— Дашь?

— Надо дать. Только где взять?

— Найди, Феликс,— попросил Морозов.— Большое сделаешь дело, не за себя прошу...

Он забыл, что в нынешнем положении он просит в первую очередь лично за себя: столько раз приходилось просить о том, что должно было делаться само собой, чисто механически, в силу производственных условий, и настолько эти условия было трудно привести к механическим закономерностям, что Морозов, как и другие инженеры, усвоил только одну закономерность — можно добиться своего настойчивостью и внешней покорностью. Этот метод был наилучшим. Беда, что Морозову трудно удавалось скрыть, как он в действительности относится к этому методу и к тому человеку, который вынуждает другого разыгрывать перед ним дурачка.

Но ведь нужно было получить эти проклятые вагонетки! Он не знал, может ли их получить и есть ли они вообще у диспетчера. Скорее всего, разогнаны по другим участкам, ему не осталось. И еще он знал, что нужны они не для карьеры, не для премии, а для чего-то гораздо большего, чему он не мог пайти названия. Оно заключалось в том, что для Морозова шахта была частью его жизни. Эта жизнь была тяжела, как у всякого человека, утратившего иллюзию ее простоты. В ней не было ни возвышенностей, ни поэтических далей. Она выстраивалась из однообразных дней и целей, и производственных забот в



ней было больше, чем личных. И никто не мог бы ответить, хорошо ли это или плохо,— но так было у Морозова, так же, как у всех современных людей.

И тем не менее это была жизнь.

А то, что происходило с ним в прошлом, его мечты, его раздумья о нескольких поколениях Морозовых, жажда славы, романтические подводные экспедиции, увлечение шахматами и еще много разных интересов — все это составляло как бы преджизнь. И даже Вера была оттуда, из той преджизни.

Внешним, конкретным и быстрым восприятием Морозов жил всеми этими транспортерами, вагонетками, добычей, но что дышало в нем внутри — разве еще что-то?

Кияшко не располагал свободным порожняком. Морозов просил и ничего не достиг. У диспетчера был один ответ: Зимин распорядился все ресурсы «Бессмертенко» бросить на другие участки, чтобы удержать общешахтную добычу. И хотя положение изменилось, хотя «Бессмертенко» стал давать уголь, Кияшко не мог или не умел перестроить напряженный механизм порыва. Может быть, и не хотелось ради временной работы морозовской бригады разрушать созданное с трудом равновесие. Кияшко отвечал с упрямым выражением, и, чем дальше, тем тупее становилось его одутловатое лицо.

— Пусть лучше не химичат, а смонтируют новый транспортер,— посоветовал он.— Все равно придется монтировать.

— Феликс, голубчик, это сделает ремонтная смена,— снова поклонился ему Морозов.— Нам бы хоть немного выдать на-гора. Да и нету нового транспортера. Нету!

— Займитесь доставкой нового транспортера,— посоветовал диспетчер.

— Эх ты, деятель! — буркнул Морозов.

Он подошел к селектору, прикоснулся к тумблеру, но не включил, снова повернулся к Кияшко:

— Последний раз прошу. Дашь?

— Опять двадцать пять,— вздохнул диспетчер.— Только время теряешь.

Морозов включил связь. Лебеденко быстро откликнулся.

— Отгружай все, что можешь! — приказал ему Морозов.— Больше порожняка не будет.

— Как не будет? А что ж нам делать?

— Ищите транспортер,— продолжал Морозов.— Он должен быть где-то у вас. Найдете и смонтируете.

— Нет, Константин Петрович, так не пойдет,— заупрямился Лебеденко.— Нам не выгодно. Нам во как нужно хоть что-нибудь выдать. Я не согласен.

— Подожди,— прервал Морозов и кивнул Кияшко: — Слышал?

Диспетчер страдальчески закатил глаза и вздохнул.

— В общем, делайте, как сказано,— распорядился Морозов.— Я еду к вам.

Лебеденко снова принялся за свое, но Морозов не стал слушать, отключил связь.

— Анархист у тебя бригадир,— заметил Кияшко.

Морозов направился к дверям. Он испытывал бессилие и горечь. Там, внизу, ему придется убеждать шахтеров, что ничего страшного не происходит, что нужно потерпеть до лучших времен и что не надо терять бодрости. И никто ему не поверит. Да он и сам не будет верить себе, однако что же еще ему остается — признаться им: «Я бессильный руководитель»?

— Анархист,— повторил диспетчер.

Загудел селектор. Чья-то нужда или беда сейчас должна была ворваться в диспетчерскую. Может, это прорывался упрямый бригадир Лебеденко, а может, кто другой...

— Ну что разгуделся? — Кияшко поглядел на аппарат и перевел взгляд на остановившегося в дверях Морозова: — Хочешь пари, что это твой махновец?

Но раздался не голос Лебеденко, а задыхающийся от ярости крик Грекова:

— Филя! На грузовом уклоне! «Орел»! Три вагона! Гробанулись! Давай ремонтников! Подгони их, Филечка! Тут на несколько часов работы!

Кияшко замер над селектором с раскрытым ртом, не находя двух связных слов. Еще один участок вышел из строя.

Морозов пожалел Грекова. Сорвавшиеся на крутом уклоне вагоны разбивают рельсы и крепления; «орел» подобен взрыву. Теперь Греков надолго остановился, не на несколько часов, как он в горячке обещал, а намного больше.

— Филя! Алло! Алло! Куда ты провалился?!

— Я думаю,— сказал Грекову Кияшко.— Не везет нашей шахте!

Морозов дождался, когда Кияшко закончит разговор и отдаст распоряжения ремонтникам, и спросил:

— Теперь-то дашь нам порожняк?

— Дам,— мрачно сказал диспетчер.— Сели мы по самые поздри. Радуйся.

— Весь порожняк Грекова — мне,— продолжал Морозов, не обращая внимания на его иронию.— И не зажимай ни одного вагона. Сейчас весь общешахтный план от меня зависит, понял, Феликс?

Кияшко усмехнулся:

— По сравнению с Грековым ты маленький полик.

— Потерпим до лучших времен,— сказал Морозов вертевшуюся в голове фразу.— Бодрее!

Он позвонил Лебеденко и сообщил ему новость.

Бригадир засмеялся, хотя не следовало, конечно, смеяться над чужой бедой. Динамик селектора разносил громкий смех по тихой комнате.

— Хватит ржать,— сердито сказал Морозов.— Кулацкие у тебя замашки, Николай Михайлович!

— Уж какие есть,— обиделся Лебеденко.— Не для себя одного стараюсь.

— Ладно, слышали. Все мы не для себя стараемся.

Но пререкаться было некогда.

Наконец после блужданий по лабиринту беспорядка и в силу этого беспорядка участок выходил на будничный простор.

Выйдя из диспетчерской, Константин оперся на перила и посмотрел вниз, в зал общешахтной нарядной. Он обвел взглядом трибуну, стол президиума с зеленой скатертью, ряды деревянных кресел. Зал по кругу опоясывал широкий балкон, который был вторым этажом здания и куда выходили помещения диспетчерской, добычных участков и другие службы. Стояла тишина. Между кресел медленно шла серая кошка, убежавшая из столовой.

Морозов подумал о том, что на дворе скоро наступит хороший теплый вечер и что людские заботы и суета уступят место покою. Этот пустой зал нарядной видел и авралы, и торжественные митинги, и черный траур по погибшим, и начало свадеб, и множество иных человеческих собраний, но в том-то и дело, что он видел либо начало чего-то, либо конец, а главное происходило там, под землей и на земле, происходило и все же не кончалось.

Перед спуском под землю Морозова всегда охватывало беспокойство. Он его не замечал, когда рядом находились люди. А сейчас он был один. Поэтому он как бы прощался с землей, покидал ее, пусть ненадолго, но прощался, оставлял ее. На поверхности не замечаешь ни неба, ни света, а там, где их нет, где суровая обстановка напоминает о производстве повышенной опасности, чувствуешь, что твоя жизнь должна быть хорошей.

И мысль о жизни не покидала Морозова. Случайно он сегодня оказался главным лицом, и надо было совпасть многому, чтобы безвестный помощник начальника участка получил свой шанс.

Он переоделся в бане для инженерно-технического состава, попросту именуемой «техническая». На нем была черная хлопчатобумажная спецовка и резиновые сапоги. Каску держал в руках.

Морозов уже собрался, когда в помещение вошел начальник участка внутришахтного транспорта Богдановский. Он недовольно взглянул на Константина и проворчал что-то вроде приветствия; для него Морозов был одним из многих молодых добычников, мелькавших по всей шахте и считавших свой участок самым главным. Эти юноши были на одно лицо, с одними и теми же замашками — обвинять Богдановского в беспорядках, требовать к себе исключительного внимания. И терзали его на каждом совещании, словно он был их врагом. С юношей нечего было спрашивать, их развращал начальник Зимин (будь он неладен), покрикивал на сорокалетнего Богдановского, как будто указывал: «Видите, от кого все зависит? Не думайте, что от меня. Я ни при чем». Правда, Богдановский находил средства защиты. Его выручал опыт, смелость и находчивость. Как всякий горняк, он привык к неожиданным трудностям.

Морозов решил подождать Богдановского, присел на скамью и положил рядом каску.

Богдановский покосился на него, словно не желал переодеваться в присутствии чужого.

— Вместе спускаться, — объяснил Морозов.

— Ты у Грекова? — спросил Богдановский.

— У Бессмертенко.

— Да, помню, ты — Морозов.

— Морозов.

— Говорят, Бессмертенко больше не вернется? — то ли спросил, то ли вслух подумал Богдановский. — Наверное,

ты бы год жизни сейчас отдал, чтобы узнать, кто станет хозяином?

Богдановский на самом деле знал, что преемник Бессмертенко практически уже назначен, и спрашивал об этом просто для разговора.

Морозов же не знал о совещании у Зимина, на котором было всего несколько человек и где Зимин предложил назначить Тимохина.

— Да,— произнес Богдановский.— Бессмертенко даже в тресте побаивались, прямой был мужик... У Грекова «орел». Вот еду...

Он аккуратно сложил брюки и сорочку, засунул их в шкаф и разровнял ладонью складки. Потом он стащил с себя шелковистую майку и, оставшись в одних белых просторных трусах, похлопал себя по груди и животу. У него было загорелое жирное сильное тело.

— У тебя пузо не растет? — улыбнулся Богдановский.

— Вроде нет,— сказал Морозов.— Рано.

— Ничего не рано. Тебе тридцать есть? У меня в твои годы такой мозоль стал расти, ого! Все от питания. Целый день ничего толком не жрешь, а на ночь навалишься, да еще стакан примешь, чтобы стресс снять...

Богдановский сел рядом с Морозовым, ловко обулся.

— Учти, падо и о себе думать,— добавил он и потопал сапогами по деревянной решетке, устилавшей пол.— Не ты ли на прошлой пятиминутке долбал меня?

Богдановский снова недовольно взглянул на Морозова.

— А вы обиделись,— сказал Константин.

— Не обиделся. С чего на тебя обижаться? — легко вымолвил Богдановский.

Морозов не смог понять, играет ли тот или говорит всерьез. Дверь открылась, вошел парень лет двадцати двух, мастер с ремонтно-восстановительного.

— «Орел»! — поздоровавшись, радостно сообщил он.

— Сколько восторга, надо же,— сказал Богдановский.

— Почему восторга? — спросил парень.

— Потому что на тебе еще килограмм пыльцы,— улыбнулся Богдановский.

— Ладно,— махнул рукой парень.— Все шуточки у вас.

Он торопился, и вскоре все трое были в здании главного подъема.

Гудела подъемная машина, из глубины бетонного ко-

лодда скользил мокрый канат, дуло холодным сырým воздухом и пахло подземельем. Парень снял с головы каску и прикрепил к ней фонарь лампы. Морозов и Богдановский держали свои лампы в руках, не торопясь нагружать голову.

Из колодца показалась клеть. В ней стояла груженая вагонетка. Стволовой в желтом треухе скинул защелки с железных дверей, толкатель ударил вагонетку, и она выкатилась. «Откуда уголь?» — подумал Морозов. Ему хотелось, чтобы здесь была добыча его участка, и он загадал.

Он обошел колодец. На борту вагонетки белели мелкие знаки: «2 уч.».

— Наш уголек, — сказал Морозов.

Богдановский и парень-ремонтник промолчали. На их лицах отражалась печать какой-то суровости. По-видимому, они тоже чувствовали этот миг прощания с землей.

Вошли в клеть. Лязгнули за спиной защелки. Стволовой дал звонок машинисту подъема. И клеть с людьми поехала вниз. Уходили вверх редкие фонари в проволочных футлярах, блестели ручки на стенах колодца, холодные ржавые капли сыпанули в лицо.

Все молчали и не глядели друг на друга. Морозов давно заметил, что даже в начале смены, когда шахтеры ждут клеть и спешат заскочить в нее первыми, шумят и шутят, но вдруг умолкают при спуске.

У рудничного двора Морозов расстался с попутчиками.

На рельсах стояли груженные и порожние составы, надо было похлопотать о своем деле. Уже наверняка действовало распоряжение диспетчера, но Морозов решил, что береженого бог бережет, и на всякий случай разыскал десятника. После того как мотор сегодня бесследно исчез в подземных лабиринтах, от транспортников можно было ждать повторного фокуса. Лучше было задержаться и проверить.

Он увидел на вспомогательном штреке порожний состав, на бортах которого над затертыми подписями стояло обозначение родного «2 уч.».

Десятник, слесарь и машинист электровоза сидели в камерке на покрытой ватниками скамье и врали друг другу о необыкновенных достоинствах местной футбольной команды. Появление постороннего помешало им, они встали, настороженно глядя на Морозова, и не знали, чего от него ждать. Где-то за деревянной обшивкой возилась крыса.

— Почему стоит состав для второго? — спросил Константин.

— А,— поняв, кто перед ним, сказал десятник.— Все будет в порядке...

— Акульшина заберут в Киев, я вам говорю! — в сердцах сказал машинист электровоза.

— Акуля не пойдет,— уверенно возразил десятник и обратился к Морозову: — Скажи, зачем ему от нас уходить?

— Потом, потом,— улыбнулся Морозов, глядя в живые маленькие глазки десятника.— Поехали.

— Да где еще он такие деньги найдет! — не унимался десятник.— В команде ставку получает и еще у нас три сотни.

— Откуда ты знаешь? — спросил Морозов.

Футболист Акульшин, по прозвищу Акуля, действительно числился на его участке рабочим очистного забоя. Как-то Константин удивился этому, но Бессмертенко вдруг рассвирепел: «При мне про футболиста не заикайся. Я свою голову берегу». Старик чего-то опасался. Любой ревизор мог с легкой совестью отдать его под суд за финансовые злоупотребления. На участке кроме Акульшина числилась еще одна «мертвая душа», и начальник располагал деньгами, доплачивал шахтерам за сверхурочную работу. Морозов с Тимохиным раз-другой попробовали заговорить со стариком про коллективную ответственность в случае ревизии, но услышали от него: «Ступайте и донесите на меня». Для того чтобы бороться с Бессмертенко, требовалось не мужество, а что-то совсем другое. И этим другим Морозов не обладал. Поэтому все оставалось неизменным и в тайне.

Однако оказалось, что тайны-то давно нет. Рано или поздно об этом должны были узнать и за пределами шахты.

— Откуда я знаю? — переспросил десятник.— Знаю!

Морозов положил руку на плечо машиниста, они вышли из каморки. На электровозе включились фары и загудел мотор. «Старика спасла болезнь», — мелькнуло у Морозова.

— Трогай! — крикнул он машинисту.

Но тот не двигался с места и выжидательно глядел на него.

— Давай! — снова крикнул Морозов.

Состав тронулся. Константин проводил взглядом рас-

качивающиеся вагонетки, пока они не скрылись из виду.

Нужно было идти пешком. «Орлы» и крушения случались не каждый день, и Морозов не боялся рискованной езды в вагонах: под землей у людей пропадал страх. Время от времени проходили слухи, что на такой-то или такой-то шахте были жертвы, и всех интересовали подробности, но каждый про себя думал одно и то же: «Этого со мной не случится». Предупреждения, уговоры и наказания не могли заставить людей быть слишком осторожными. В первый год работы Константин лишал шахтеров премии, переводил на грошовые унизительные работы и читал им скучные лекции о технике безопасности. Потом бросил.

Он быстро шел по штреку. Через двадцать минут он будет на месте. Ему хотелось скорее увидеть забой, его шаги ускорились. Чуть наклонный штрек, казалось, подталкивал ноги. По земле стлалось летящее желто-белое пятно света. Предчувствие удачи овладело Морозовым, укулоло его, как будто луч в темноте.

Когда-то Константин шел степной пустынной дорогой, и идти было далеко, и вечернее солнце, цветущие поля подсолнечника, холмы на горизонте — все было отторгнуто стеной презрения к отцу. Отец был трус, он уехал сюда, в эту деревенскую тишину, не желая доказывать, что он не виноват. Его вина легла на сына, и Константин задыхался от этой вины... Отец и дед ждали его на пасеке. После аварии на шахте Петр Григорьевич Морозов жил целое лето на пасеке, к нему приезжал только дед, а остальных он не желал видеть.

...Морозов услышал стук молотка. Впереди двигались две серые фигуры, он приблизился к ним. Крепильщики заменяли бетонные затяжки в стене штрека. Морозов поздоровался, осветил бугристый изгиб земной толщи и пошел дальше.

Ему казалось, что он нес освобождение и этим двум мужчинам, освобождал их от унижения, которым оскорблял каждого шахтера срыв плана. Морозов не думал о том, что даст многим возможность получить месячную премию, шестьдесят процентов заработка; редко кто думает о награде, когда делает дело.

Под люком в облаке пыли стояла вагонетка. Висевшие по обе стороны люка фонари отражались быстрыми искрами в сыпучем потоке угля.



Погрузкой занимался Кердода. Почему-то бригадир Лебедеико услал его сюда, но услал не тогда, когда искали пропавший мотор и когда монтировали старый; нет, тогда Лебедеико молчал, чтобы не злить ловкого в слесарной работе Кердоду. А Кердода его задевал мало и без особого энтузиазма бранил бестолковое начальство, то есть по народному обычаю развлекался. Однако уже тогда, видно, замыслил Лебедеико свою шутку, и не успел комбайнер Ткаченко включить двигатель на рабочий ход, как Кердода сразу оказался назначенным в придурки. Действительно, у люка большого ума не требовалось, глотать пыль и гонять вагонетки. Дело было простое, именно поэтому им и не хотели заниматься. Кердоду проводили смехом, он тоже засмеялся и пригрозил Лебедеико, что напишет про него в газету.

Все знали, что у Кердоды в голове, там, где обычно есть одна штука, ведающая личной безопасностью, ничего нет, ни бугорка, ни шишечки,— ровное место. Так предположил комбайнер Ткаченко, человек, далекий от веселья, больной силикозом и, как все больные, задумчивый. «Пиши, пиши! — сказал Лебедеико и привстал, упершись каской в низкую кровлю.— Вспомни, как про Бессмертенко написал...»

С чего он припел сюда старика, Кердода не понял. Он занялся погрузкой, но слова Лебедеико перекатывались в ушах, и звук падающего угля их не заглушал.

Однажды Кердода увидел, как Бессмертенко влез в вагонетку, и сам тоже забрался в соседнюю. Состав поехал. На вспомогательном штреке у рудничного двора Бессмертенко высунулся, огляделся и вылез. «Иван Иванович! — окликнул его Кердода.— Какой же русский не любит быстрой езды!»

Бессмертенко вздрогнул. Кердода потом говорил, что тому привиделось руководство из треста. «Уследил-таки, чертов сын,— буркнул Иван Иванович.— Ну не болтай лишнего». А дело было в том, что Бессмертенко всегда беспощадно наказывал нарушителей техники безопасности. И на следующее утро Кердода весело подмигнул ему, тот подмигнул в ответ. Кердода подмигнул другим глазом, Бессмертенко — тоже. «Ловкий ты парень», — сказал начальник и отправил его на штрафные работы: обсыпать сланцевой пылью подземные выработки. (Эта инертная пыль при взрыве метана поднимается завесой в воздух и не пропускает огонь.)

Кердода, конечно, предупредил, что так с ним поступать несправедливо, что надо бы им двоим идти на ослабцовку. Он не верил, что Бессмертенко наказывает его всерьез. А когда понял, что — всерьез, то не обиделся. Он ездил в вагонетке с пылью, замотав лицо тряпкой и прикрывшись респиратором, и, останавливая всех встречных, рассказывал свою историю. Случилось ему встретить начальника шахты Зимина и какого-то постороннего проверяющего. И они тоже смеялись. Но с того дня Кердоду не посылали ездить со сланцевой пылью.

Эту историю вспоминали на шахте и за ее пределами. Если надо было на каком-нибудь совещании разрядить усталость, она всплывала, и к Зимину поворачивались и улыбались. Зимин же не замечал улыбок. Его шахта едва справлялась, и показывать начальству свою веселость не было причины.

Бессмертенко не затаил на Кердоду зла. А вот Лебеденко почувствовал какую-то угрозу, что-то ему померещилось, и он при случае прихватывал парня.

Теперь Кердода стоял у люка. Он сочинял про Лебеденко правдивую небылицу, чтобы раскрыть шахтерам глаза. Он знал, что Лебеденко плохой человек, но никто ему не верил.

Шло время, наполнялись вагонетки, уходили в сумрак штрека.

Ткаченко душила угольная пыль. За многие годы он вдохнул ее столько, что легкие стали склеиваться в камень. Силикоз обрушился на него. Ткаченко не хотел думать о болезни, вначале у него была надежда, что все пройдет само собой, ведь ему нет еще и сорока лет, он нестарый, выносливый. Он боялся признать, что началась профессиональная болезнь.

Зимой, в январе, он заметил тревожные признаки: он пробирался по лаве и его бросило в пот, не стало воздуха. С тех пор удушье наступало его в напряженной работе. Он старался не спешить и стеснялся товарищей. Ткаченко не обращался к врачам.

Почему именно он? Ткаченко не трусил, не был шкурником и пьяницей. Он был на самом важном месте — перед пластом угля. У него есть медаль «За трудовую доблесть». Почему же именно он?

С этими мыслями Ткаченко прожил зиму и весну.

Отчаяние прошло, болезнь приучила к себе и не казалась страшной. С ней можно было жить.

Но Бессмертенко стал присматриваться к Ткаченко и два раза невзначай ползал возле комбайна и, сопя, приглядывался. Дело шло к развязке. «Пора,— решил и комбайнер.— Что толку тянуть? Будем прощаться!»

Он стоял во дворе, ждал Бессмертенко. Старик вышел не один, а с Морозовым. И Ткаченко не хотел разговаривать при молодом инженере. Бессмертенко оглянулся, махнул ему рукой и остановился. А Морозов не остановился, зашагал дальше — за воротами стояла его машина.

Ткаченко побежал мелкой трусцой к Бессмертенко. «Чего бегаешь? — спросил тот.— Отбегались мы с тобой, Санечка...»

Пока Ткаченко искал слова, Бессмертенко сказал: «Ничего, по земле еще походим, прежде чем закопают. Найдем тебе непыльную работенку. Я тебя от медкомиссии спрячу, хочешь?»

Ткаченко молчал. Он не надеялся на такой исход. «Спрячу, хочешь?» — повторил начальник участка. Комбайнер и тогда не проронил ни слова, только глаза как бы заслезились от обиды. «А что я больше могу? — вздохнул Бессмертенко.— Я и этого по закону не могу...»

А Ткаченко ему сказал: «Иван Иванович, ничего. Вы — человек...»

Кто знал, что Бессмертенко отделяют от второго инфаркта считанные дни! Они простились и больше не встретились. Теперь не на кого было надеяться.

Сегодня готовили в пласте нишу для режущего органа комбайна, но взрывчатка плохо рванула, и пришлось браться за обушок. Бригадир торопил людей, ему не терпелось нагнать потерянное время. Он крикнул Ткаченко:

— Помоги! Чего ждешь!

Лебеденко был раздражен и не находил себе места. С ним что-то творилось неладное, бригадир суетился, в нем кипела злость. Вдруг он становился искательно-вежливым, вдруг матерился. Казалось, в его голове разбежались разные ветры.

...Ткаченко взял в руки обушок и стал рубить. Он лежал на левом боку, приподняв голову. Земля была теплой, и сердце билось в нее. У него было крепкое сердце.

«Я работаю только лежа, я работаю, как вельможа», — вспомнил Ткаченко шахтерское присловье, родившееся, наверное, в такой же низкой тесной лаве.

Обушок отбивал куски угля, комбайнер медленно и нешироко размахивался. Как только он начнет задыхаться, он бросит обушок и скажет в шутку, что зарубка ниш — не его дело. Но для шуток у него давно не было настроения.

— Стой, Сашка! — приказал Лебеденко. — Дай обушок. Я сам.

Ткаченко сильно размахнулся и обрушил удар на пласт. Бригадир молча глядел на него. Комбайнер размахивался и бил, снова размахивался и бил. Он глубоко дышал ртом. Из-под каски потекла на лоб ниточка пота...

Лебеденко остановил занесенный обушок.

— Дай мне! — крикнул он. — Оглох?

Ткаченко разжал кулак.

— Не мое дело — зарубка ниш, — хрипло сказал он. — Размялся малость...

— Дай мне, — ответил Лебеденко.

Ему нечего было сказать, хотя его зоркие глаза все замечали. Кончился комбайнер... Вот он подтянул ноги к животу, сел и отер лицо полой спецовки. Лебеденко лег на его место, а Ткаченко долго не открывал лица.

Надо было прощаться с Александром. Он стал помехой. Лебеденко глядел в черную стену, медлил, как будто выбирал, куда вернее ударить. Его связывали с Ткаченко несколько лет жизни. Они не были особенно близки, но знали друг о друге так много, как знают только о близких, ибо под землей просто узнать человека.

Лебеденко быстро рубил уголь, приподнимаясь и словно летя вперед.

Он чувствовал, что поступил глупо, заставив комбайнера готовить нишу. Это было жестокое прощание. И было бы лучше, если бы Ткаченко взял и послал бригадира к черту, но ведь он не послал...

На глазах шахтеров Лебеденко искупал свою вину, ему хотелось остаться в их памяти справедливым и сердечным. Скоро их судьбы должны были разойтись. Хорошим ли он был или не больно хорошим, но он всегда думал о них, о заработках и премиях и вырывал у Бессмертенко магарычи, — он был надежным, а это главное.

Лебеденко отбросил обушок к стальной тумбе крепления. Ниша была готова. Он перевернулся на спину, выгнул свое большое тело и протрубил:

— Гуляй, хлопцы!

Комбайн вошел своим баром в нишу. Железные зубья

прикоснулись к пласту. Ткаченко включил двигатель, и махина обрушилась на черный камень. Оросительная установка выбрасывала из бара фонтан воды, сбивала мельчайшую пыль, но, неуловимая, невесомая, она все же проходила сквозь водяной заслон.

Ткаченко закрыл респиратором нос и рот. Он твердо взглянул на Лебеденко, не желая уступить своего места. Началась еще одна смена. В узкой прорези лавы, под трехсотметровым покровом земли, в сырости, в пыли, в грохоте начал Ткаченко одну из своих последних смен.

Он шел по черному лесу. Миллионы лет стояли перед ним в этих каменных лесах. Миллионы лет лежали в пласте деревья и цветы, яблони, вишни, тополя и клены, — какими они были в ту пору. Они распускали почки, расцветали и шумели листьями на ветру. Они что-то говорили безлюдной земле, росли и умирали.

Но разве можно было это объяснить?..

Лебеденко не тронул комбайнера. Его позвали к телефону, и он оставил Ткаченко в покое.

«Товарищи! — хотел сказать Морозов бригаде. — Впервые за два месяца нам представилась возможность доказать, что наше отставание — это случайность. В нем виноват проклятый аргиллит, залегающий в кровле, из-за него у нас бывают обрушения, но нашей вины в том нет. Честь шахты — в наших руках. У Грекова авария. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить выполнение общешахтного плана».

Но произносить эту речь не пришлось. На участке был стройный порядок, ничем не напоминавший утреннего безобразия. И прекрасная речь сжалась в один вопрос, обращенный к Лебеденко:

— Михалыч, твои знают про Грекова?

— А как же! — браво ответил Лебеденко. — Бригада идет в штурм!

Штурм не штурм, но уголь ровно хлестал из грузового люка.

— Сколько отгрузили? — спросил Морозов.

— Тонн двадцать. — Лебеденко повел лучом своей лампы в сторону Кердоды. — Эй, сказитель! Сколько там?

Кердода показал семь пальцев и прокричал, точно подумал, что его не поймут:

— Семь вагонов!

Лебеденко почесал свой горбатый могучий нос, оставив на серой коже светлую полоску.

— И четырнадцать тонн неплохо,— уверенно заключил он.— Очень даже неплохо.

— Похвалился? — сказал Морозов.— Теперь показывай ходок. Без твоей хозяйственности нам труба.

Но, разговаривая с бригадиром панибратски и думая, что тому это должно нравиться, Морозов не знал, что унижает бригадира и затрудняет этим свою работу. Сейчас почти все на участке зависело от Лебеденко.

— А при вашей хозяйственности нам далеко не уехать,— просто вымолвил бригадир.— Ну идемте, посмотрите.

Он взял Морозова под руку и довел к деревянной лестнице, ведущей к ходку.

По транспортерной ленте катился уголь. Лебеденко присел и провел ладонью по сколкам и торжествующе взглянул на инженера. «Вот вы презираете меня и называете кулаком, а дело делается»,— сказал его взгляд.

Если в сегодняшнем случайном везении и существовала некая закономерность, то лишь единственная: на Лебеденко можно было надеяться.

«Не любить, конечно, а надеяться,— уточнил Морозов.— Я должен быть ему благодарен за свою удачу».

Удача ставила Морозова вровень с Бессмертенко, Грековым, Богдановским. И он предчувствовал изменение в своей судьбе. Как ребенок, торопивший в детстве медленное течение времени, вырастая, с улыбкой оглядывается назад, словно не верит: «Неужели это был я? Куда я спешил, ведь все было хорошо!», так и Морозов ощущал в сегодняшних событиях окончание того большого периода жизни, который называется первым или начальным и после которого следует твердый берег серьезной жизни.

Они спускались на штрек. Лебеденко сказал ему, что надо доплатить бригаде за налаженную, несмотря ни на что, работу.

— Я подумаю,— сдержанно ответил Морозов.

— Коль за грех всегда карают, то за инициативу надо награждать. Учитесь смешивать сладкое и горькое в одном стакане. Вы еще неопытный, Константин Петрович, а так было всегда. Не я придумал, и не Бессмертенко. Жизнь так устроена.

— Хорошо,— ответил Морозов.— Я подумаю.

— Договорились,— вымолвил бригадир.— Толковые люди всегда договаряются.

— Ты мимо рта ложки не пронесешь,— усмехнулся Морозов.— Многие в тебе скрыты таланты, Николай Михайлович. А главное — бригадир ты замечательный.

— Надо же, вот вы меня и хвалите. Никогда не хвалили, и на тебе! — бригадир покачал головой.

— Не обижайся, Михалыч,— сказал Морозов.

— С чего мне обижаться? Мы с вами поладим...

— Не свети мне в глаза.

— Виноват,— Лебеденко отвел луч в сторону.— Знаете что, Константин Петрович?

— Что?

— Не знаю, как сказать... Приглядитесь к моему Ткаченко. Не пойму, что с ним творится.

— А что случилось? — спросил Морозов.— Пьяный?

— Ткаченко — пьяный?! Нет, тут другое. По-моему, легкие. Может, простыл... А может, и другое... Душа разрывается, когда смотришь на него,— Лебеденко вздохнул и махнул рукой.

— Значит? — сказал Морозов.

Он понял, что имеет в виду бригадир, и не хотел произносить слово «силикоз». Пепельно-белое слепое лицо болезни дохнуло на него; нигде, ни на одной шахте мира не могли с ней справиться. Ее опасность была задана условиями работы вместе с другими опасностями. И если у Ткаченко был действительно силикоз, то здесь Морозов был бессилён.

Но тем не менее он должен был что-то делать. Он не раз попадал в такие положения, где был бессилён и где все же надо было действовать.

Когда-то ему сказали: «Твой отец преступник, его посадят в тюрьму», и он дрался на глазах всей школы, потому что нельзя было не драться, когда тебе говорят такое, но ведь ему говорили правду... По вине отца на участке загорелся метан. И хотя вина осталась недоказанной и следственная экспертиза пришла к выводу, что пожар случаен, на Морозова-старшего обрушилась тяжесть обвинения. Впрочем, он не защищался, выгораживал своего начальника Римкевича и даже заявил, что должен был предвидеть возгорание газа. Спустя много лет, когда Константин думал об этом, он понял, что эксперты исходили из придуманных моделей несчастья, которые сами по себе были настолько же правдивыми, на-

сколько и лживыми, ибо определяли только один выбор: «виноват» — «не виноват». На самом деле между этими крайностями лежали не поддающиеся восстановлению обстоятельства, о которых мог поведать только очевидец. Будучи мальчиком, Константин не мог вдаваться в технические подробности, он чувствовал, что отец надломлен. Потом отец перевез семью в маленький степной городок и тем самым признал, что ему невыносимо было оставаться на старом месте. И сын осудил его.

Сегодня Морозов должен был снова принять роль судьи. Судьба Ткаченко была предрешена. Морозов понимал, что бригадир стремится остаться в стороне и что недовольство шахтеров неизбежно будет направлено на того, кто решит выводить комбайнера на поверхность. Как на всех шахтах, здесь действовал неписанный закон: горняки не замечали больного, давали начальству возможность пристроить его на какую-нибудь легкую работу.

Лебеденко молча ждал ответа. Его черное от угольной пыли лицо темнело, как каменная глыба. Взвалив на инженера ответственность, он испытывал к нему злую неприязнь. Тщеславная и властолюбивая половина его души была удовлетворена, но другая половина, та жизнелюбивая простая шахтерская половина его души, которая в глазах многих была сущностью Лебеденко, сейчас восстала против неизбежного морозовского решения.

И Морозов действительно сказал:

— Если у него силикоз, будем выводить...

— Ничего с вами не случится, — буркнул бригадир. — Сперва бы на Ткаченко поглядели, а потом уже выводили...

В его голосе было столько презрения, что Константин растерялся. Он не понимал, чего хочет от него Лебеденко, сам сказавший о болезни комбайнера, безусловно знавший о последствиях сказанного, а теперь обвинявший Морозова в том решении, на которое сам же навел его.

— Дай бог, чтобы он оказался здоров, — оправдываясь, произнес Морозов.

— Дай бог, — кивнул бригадир.

Он ясно уловил в голосе инженера просительную ноту, которая свидетельствовала о том, что Морозов в человеческом отношении признал за Лебеденко право осуждать или сочувствовать ему.

— Так я объявлю народу, что сегодня будет магарыч? — утверждающе спросил Лебеденко.



Он спешил воспользоваться своим неожиданным преимуществом. Спросив, он напряженно ждал, хватит ли у Морозова твердости возразить ему.

Морозов молчал.

«Эх, поторопился! — подумал Лебеденко. — Он горячий малый».

Он помнил, как Морозов три смены безвыездно провел на участке, когда закипели от страшного горного давления кровля и почва и сплюснуло лаву; тогда менялись в сменах люди, а Морозов оставался. На чем он держался, кто его знает...

— Так я объявлю? — еще настойчивее спросил Лебеденко.

— Объявляй как хочешь, — ответил Константин и быстро пошел от него.

Он побоялся в такой день обострять отношения с Лебеденко. Хотя теперь, без старика Бессмертенко, никто не мешал Константину работать по своим правилам, а вот пока это не удавалось...

Морозов на локтях полз по лаве между крепежных стоек и, желая скорее забыть свою податливость, невольно растревлял себя сильнее.

Впереди гремел комбайн. Справа вдоль груды забоя вздыбленно шел по транспортной ленте парубленный уголь.

«Сегодня будет много добычи, — утешал себя Морозов. — Они заслужили премию. А Лебеденко мне не переделывать».

Однако утешения он не находил. Недавно ощущаемое очарование успеха бесследно исчезло. Да и не было никакого успеха. На участке происходила обычная работа, какая должна идти ежедневно. И эта мысль отрезвила Морозова.

От него не требовалось ни зажигательных речей, ни присутствия в лаве, ни споров с Лебеденко. А он был настроен на героические поступки, не желая трезво взвесить, что лучше: героические усилия или обычная работа?

Морозов добрался до комбайна и, опершись ладонями в мелкие камешки почвы, привстал и сел на колени. Он видел закрытое респиратором лицо Ткаченко, подернутое черной влажной коркой. Белки глаз сияли на нем, как на осенней земле.

На мгновение под лучом морозовской лампы в брызгах

воды загорелась радуга. Комбайн медленно подвигался, быстро вращался круглый бар.

Морозов снова поглядел на Ткаченко. Он заметил часто поднимавшуюся выпуклую грудь, впадины на ключицах и напряженную жилистую шею. «Неужели болен?» — подумал он.

Ткаченко вдруг выключил комбайн, и стало тихо. Он смахнул респиратор, и респиратор повис под подбородком на резиновом ремешке. Повернувшись к Морозову, Ткаченко крикнул:

— Ну чего смотришь? Чего глаза пялишь? Я здоров! Убедился?

— Работай, — остановил его Морозов. — На тебе воду возить можно.

Ткаченко глубоко вздохнул.

— Это не силикоз, — сказал он. — Я же знаю!

Снизу приближался Лебеденко. Услышав крик комбайнера, он стал ползти быстрее. Он боялся, что Морозов сгоряча отправляет Ткаченко на поверхность.

— Почему остановился? — заревел бригадир, не замечая Морозова. — Всю шахту хочешь посадить? Включай!

Ткаченко растерянно улыбнулся, перевел взгляд с Лебеденко на Морозова и, уже начиная понимать, что и на этот раз обошлось, сказал неестественно веселым тоном:

— Загулял я, братцы, в этом чертовом лесу!

И, не ожидая ответа, включил комбайн.

Лебеденко подергал Морозова за штанину: «Пошли». Они полезли один за другим вверх по лаве и выбрались с ее другого конца на вентиляционный штрек.

Лебеденко, все еще переживая за Ткаченко и считая себя его защитником, стал ворчать:

— Что это за жизнь? Всем нужен план, а никто не возьмет в толк, что этот план люди делают... Даже работать не дают.

— Отправишь Ткаченко на медкомиссию, — перебил Морозов. — Завтра же. Решай, кем заменять. И все. Не морочь больше мне голову.

— Это я морочу? — усмехнулся Лебеденко. — Я о людях забочусь! Незачем было трогать Ткаченко...

В тупике штрека шумели проходчики. Он посмотрел в их сторону. Морозов, кажется, вырвался из-под его влияния. «Что ты лезешь в мои дела? — хотел спросить Лебеденко. — Ты сперва в своих разберись. Тебя и бригадиром

нельзя поставить, от тебя сразу все разбегутся». Но вместо этого он неожиданно попросил:

— Уезжай-ка на бугор, Константин Петрович!

— В чем дело? — удивился Морозов. — Какая тебя муха укусила?

Даже в самые горячие дни штурма Лебеденко всегда понимал, кто есть кто, но в ту пору Бессмертенко держал в узде участок, а при нем все были как дети.

— Инженеров везде хватает, — сказал Лебеденко. — Указывать дело нехитрое. Бессмертенко не даром уважал меня больше всех вас. Потому что я даю угля. Ткаченко, Хрыков, вся бригада... А вы? «Отправишь на медкомиссию»!

Мимо них проехала вагонетка с серыми глыбами алевролита. Проходчики отводили породопогрузочную машину подальше от тулика. Их темные фигуры оживленно передвигались, сверкали лучи ламп.

— Скоро у нас появится новый начальник участка, — сказал Морозов. — С ним и обсудишь тонкости управления. Нам пора возвращаться.

— Погоди, Константин Петрович. Наш разговор только завязался. Второго раза, боюсь, не скоро дождемся. Наверняка имеешь думку пробиться в начальники новые, угадал?

— Не угадал, — сказал Морозов.

В действительности Морозову хотелось стать начальником участка, но он был так устроен, что признаваться в этом ему казалось некорректным. Впрочем, дело было не в одном Бессмертенко. Морозов был далеко не мальчик и понимал, что именно сейчас ему нужно решить, как планировать свое будущее. Прежде его житейские планы складывались романтически. Он хотел стать и шахматным гроссмейстером, и историком, и журналистом, и подводным исследователем; достиг же немногого — первого разряда по шахматам, одной статьи в местной газете и быстро прошедшей славы участника клуба подводных исследований «Ихтиандр». Все это уже отмерло. Осталась у Морозова лишь одна профессия, которая должна была выводить его будущее, — профессия горного инженера.

— Нет, я угадал! — повторил Лебеденко с настойчивостью и лукавством. — Ты лучше Тимохина подойдешь. Тимохин — мужик воловый, ему бы раньше от Бессмертенко смотаться, а теперь он придавленный стариком перезревший овощ. Скажи честно, Константин Петрович...

Ничего, что я на «ты»? Не обижает? Я при всех на «вы», как обычно...

— Не церемонься,— сказал Морозов.

— Чего от тебя ждать? Будешь давить — я не стерплю, уйду. Будешь тоску наводить — тоже уйду... Мне есть куда податься!

— А разве ты незаменимый? — улыбнулся Морозов.

— Незаменимый,— ответил Лебеденко.

— Молодец, Лебеденко. Только у меня мало шансов. Никто мне не позволит переменить здесь порядки.

— Если бы мне было все равно, я бы с тобой не разговаривал,— сказал Лебеденко.— Великая досада, что ты такой непонятливый... Надо, чтобы незаменимым держал себя, тогда свое получишь. Без этого пропадешь, будь ты хоть трижды дипломированный да разумный!

— Значит, ты меня толкаешь вперед? — спросил Морозов.

— Выходит так. А больше некого.

Высокой тревожной нотой завыл вентилятор. Проведенная вверху штрека брезентовая труба надулась, из невидимой пробойны зашипел воздух.

— Готовятся,— кивнул Морозов в сторону проходки.

Проходчики быстро выбирались из тупика. Они шли к Морозову и Лебеденко.

— Сейчас взорвут,— сказал бригадир.— Что-то мы с вами замечались, пора идти... А неплохо бы вечером где-нибудь посидеть. А, Петрович? Отметим взаимопонимание.

— В укрытие! — бросил один из прошедших мимо проходчиков.

— Кто не заховался, я не виноват,— ответил Лебеденко словами детской считалки.— Ну как, отметим?

— Можно,— согласился Морозов.— Тебе, видно, хочется наладить контакт в начальством...

— А почему бы и нет?

Они подошли к разрезу лавы, и Морозов, оглянувшись, сказал:

— Но ведь я вряд ли буду начальником...

Он забрался в лаву и полез на четвереньках под уклон. Следом двигался Лебеденко, весело кряхтел, словно хотел как-то пошутить.

Раздался предупреждающий свист взрывника, потом глухо ударил аммоналовый заряд, отозвавшийся толчком почвы.

Морозов остановился, и Лебедеенко настиг его.

— Ты проверял вагонетки у проходки? — спросил Константин холодным сухим тоном.

— Что я там забыл? — добродушно оспорил его бригадир.

— Мне кажется, там наш мотор для транспортера.

— Не может быть, Константин Петрович. Это же каким дурнем надо родиться, чтобы его туда загнать!.. — Лебедеенко беззлобно выругался и, больше ничего не говоря, повернул обратно.

Морозов через плечо глядел на его ровное быстрое движение; черно-серая крупная фигура бригадира растворялась в сумерках лавы. «Я его понял, — думал Константин. — Жадный, работоспособный, хитрый, настойчивый. И почему-то ему тесно...»

Он пополз дальше и, не останавливаясь возле комбайна и не глядя на Ткаченко, выбрался к откаточному штреку. Здесь как будто ничего не изменилось.

Из люка сыпался уголь. Вокруг Кердоды стояли все рабочие и слушали балагура. Лица были черные, веселые.

— Приезжает со своего хутора в город. Шляпа, фуфайка, нос торчит. Это он сейчас отъелся, а прежде тощий был. В гостиницу устроился. Пожалели, видать. В ресторане заказал полпорции борща и сто граммов. Потом еще полпорции и сто еще. Итого — обед из четырех блюд. За столиком сосед шутит: «А нельзя сразу целую тарелку и двести?» Лебедеенко ему укорот дает. Не лезь, мол, дядя, коль не соображаешь: в двух полпорциях всегда борща больше, чем в одной целой.

Шахтеры засмеялись. Морозову тоже сделалось любопытно.

— А его сосед был длиннющий, черный, физиономия глумливая и умная. Лебедь сразу видит — городской фраер. Ну поел, выпил и к себе пошел. Сосед увязался за ним. Кто ты да что? Расспрашивает, по плечу хлопает. Так в номер и вошли. Этот фраер сел на диван и этак ногу отставил... Лебедь захотел его прогнать, но гость как цыкнет. И взглядом огненным поразил.

Кердода поднял руку, словно отталкивал кого-то, и огляделся исподлобья, показывая, как именно поражал гость своим взглядом. Шахтеры ждали развязки, они не замечали Морозова или принимали его за кого-то из своих.

— Лебедеенко струхнул и вежливо спрашивает: «Что вы от меня хотите?»

«Надо говорить не «хочете», а «хотите», — замечает гость. — А шляпу больше не носи. Больно глупый вид в ней».

Взял да и выкинул шляпу в коридор. Лебедеенко хоть и струсил, но за шляпу обиделся и схватил ффраера за грудки. Только хотел встряхнуть как следует, а ффраер легонько взял его за руки и как будто пушинку отодвинул.

«Не жалей шляпу, — говорит очень дружески. — Я вижу, тебе надо денег заработать».

Достает коньяк и стаканы, наливает по полному. «Будь здоров, Коля!» А история еще не знает такого случая, чтоб Лебедь даровую выпивку пропустил! Вот и приняли они по полному. А тот коньячище был крепче спирта. Гость сразу позеленел, клюнул носом, стал что-то бормотать. Лебедеенко прислушался, чего тот плетет. А в гостинице в этом номере при немцах в суровые годы оккупации жил один белогвардеец. Когда немцы утикали из города, он под полом замуровал золотые сокровища. Вот про это и бормотал пьяный ффраерок. Лебедеенко сразу запер дверь на ключ, включил радио, полонез Огинского передавали, и давай паркет драть. Глядит, гость тут как тут. Откуда-то ломик достал, старается. Расковыряли под батареей большущее место. Верно — видят цементный круг, железные болты какую-то крышку держат: «Тут мильен! — торопит ффраер. — Отворачивай, скорей!»

«Пополам!» — говорит Лебедеенко.

— Фу ты! — Кердода взглянул на вагонетку, она была полна угля. Он нехотя шагнул к ней, но почему-то, несмотря на свой шаг, остался на месте и сказал небрежно:

— Эй, Хрыков, откати-ка вагон!

Человек, которого он назвал, стал оглядываться, делая вид, что не понимает, чего от него требуют.

— Давай-давай, Хрыков! — поторопили его два или три голоса. И он, больше не задерживаясь, быстро пошел к вагонетке.

«Артист!» — подумал о Кердоде Морозов. И удивился своей простой догадке, ибо, если она была верной, становилось понятно, почему ни Бессмертенко, ни Лебедеенко не могли приструнить веселого лодыря.

Тем временем рассказ Кердоды продолжался.

— Ну сбивают болты. Руки чешутся. Сердце трепе-

щет. Глаза кровью налились... Долго бились, пока не заморились.

«Отдохнем? — предлагает дорогой гость. — Ответь, Коляша, друг мой бесценный, на мой вопрос. Куда ты эти большие богатства употребишь?»

«Мотоцикл куплю! — тотчас рубит Николай Михалыч. — Костюм из габардина, шляпу. Потом макинтош...»

А больше ничего придумать не может. Думал-думал, — нет, ничего не придумал.

«Машину, — подсказывает гость. — Домишко».

«Нет, сперва мотоцикл и габардиновый костюм! И тебе подарю что-нибудь».

«А что, Коля?»

«Да что хочешь!»

«А хочу я, Коля, твою душу».

Шахтеры однообразно-лукаво улыбались, ожидая конца этой фантастической истории, которая, как ни удивительно, казалась в эту минуту совсем не фантастической.

«А что он сочиняет про меня? — мелькнуло у Морозова. — Или я слишком далек от него и ему нет дела до меня?»

Вернулся Хрыков. Он, видно, томился любопытством и с сознанием мысли, что он пострадал за общее дело, гордо сказал:

— Ну-ну! Как там?

— Не мешай, — ответили ему.

— А начиналось самое диковинное, — проговорил Кердода и, как опытный рассказчик, вдруг замолчал.

Его треугольное лисье лицо вдохновенно смотрело куда-то вверх. Он молчал, зная меру этому приему.

— Услышал Лебедь про душу, засмеялся и говорит: «Нет у меня никакой души».

«А что же у тебя есть?» — забеспокоился этот, неизвестно кто.

«У меня есть мечты и желания!»

Ну ладно, сорвали они последний болт, и осталось поднять крышку. Наш Лебедь уже видит червонцы в столбиках, разные деньги, франки, стакан жемчугу...

— Доллары, — вставил Хрыков.

— Драхмы! — отрезал Кердода. — Откуда взяться долларам? А греческая драхма вполне могла быть... Так слушайте. Лебеденко рванул железку. Внизу что-то как грохнет! А потом как завопят! Он сунул руку. Сунул

еще глубже, обшарил — нету дна. Он залез головой в дыру. И видит — внизу ресторан, а на полу — люстра. А сокровища не видать. Он-то люстру сорвал.

Кердода оглядел своих слушателей и пожал плечами. — Остальное мне неизвестно, — строго сказал он.

Никто не смеялся. Морозов тоже не понял Кердодовой аллегии, но он подождал, может быть, у кого-то и сыщется объяснение.

Пока он ждал, появился Лебедеико и доложил, что мотор лежит в вагонетке у проходчиков: напутали чертовы движенцы.

— Шарю там, шарю, — бригадир показал рукой, как он искал. — Вот дьявол!

— А там пустота, — тихо заметил Кердода.

И вдруг раздался хохот. Они смеялись, объединенные общим чувством кратковременной потехи перед трудным делом. Смеялись черные лица, сияли глаза и зубы. Засмеялся Лебедеико, не понимая, почему смеется.

— Габардиновый кос... кос... — заикался Хрыков и выпалил: — Габардиновый мотоцикл!

Через несколько минут началось передвижение всего забойного оборудования. Перемонтировали лемех, комбайн подняли на канате в западную нишу, переставили крепь и передвинули конвейер по всему фронту. Десятки тонн железа переместились. Веселость, с которой была начата работа, в конце концов была выдвлена жестокой усталостью. Рычала и опускалась серая утроба земли, заполняя освобожденное пустое пространство.

Морозов знал, что бригада справилась бы и без него, но без него, наверное, дело было бы сделано медленнее.

Он вернулся домой поздно. Вере звонить не стал. «Завтра», — подумал он. Сегодня с него было достаточно того, что она была где-то совсем близко.

### III

На следующий день начальник шахты Сергей Максимович Зимин, просмотрев сводки и выслушав службы, распорядился: премировать первое звено бригады Лебедеико, объявить выговор горному мастеру второго участка Митене и строго предупредить помощника начальника того же участка Морозова. Зимин поблагодарил Тимохина за успешную в целом работу вверенного подразделения. А начальнику внутришахтного транспорта Богданов-



скому и диспетчеру Кияшко досталось по предупреждению.

Эти распоряжения были аккуратно записаны в толстую конторскую книгу начальником отдела кадров, оставшимся подполковником Пелеховым.

Шла обычная утренняя пятиминутка. Суточный план был выполнен, несмотря на тяжелую аварию у Грекова. До конца месяца оставалось пять дней, включая воскресенье, но за это время, даже объявив воскресенье рабочим днем, уже невозможно было достичь месячной нормы.

Зимин был в накаленно-спокойном состоянии и с трудом подавлял гнев. Его любимец Греков сидел рядом в начале приставного стола, поигрывал серебристым брелоком с автомобильными ключами. Зимин досадовал на него. Он знал, что лучший начальник участка, храбрый и нахальный Греков, не виноват в «орле», однако, видя откровенную безмятежность, чувствовал, что любимец, кажется, его поддразнивает. «Валяй наказывай, кричи на нас, — словно говорило мужественное лицо Грекова. — Лично меня это не касается, а за мужиков обидно. Ничего ты не добьешься, лишь восстанешь против себя еще сильнее».

— У кого есть вопросы? — Зимин оглядел инженеров. — Богдановский?

Он окликнул начальника ВШТ помимо своей воли. Он все еще думал о Грекове и не мог решить, бравирует ли тот своей независимостью или же всерьез считает, что Зимин теряет контроль над событиями. Но ничего определенного он не придумал, помешал Богдановский. Валентин Валентинович вальяжно сидел, выпятив пузо и чуть ли не в полный голос переговариваясь через стол с начальником ремонтно-восстановительного Нестеровым и начальником третьего добычного Аверьянцевым. Взглянув на них, Зимин потерял ниточку мысли о Грекове и, сладко предчувствуя исход сдержанного гнева, вежливо и схибно спросил:

— Богдановский?

— Я давно понял, что у нас руководствуются настроением, а не реальным положением дел, — с улыбкой съязвил Богдановский. — А вообще-то у меня вопросов нет.

Это его снисходительное «а вообще-то», доказывавшее, что он не намерен опускаться до споров о справедливости, еще больше распалило Зимина. Только теперь он не

мог сразу обрушиться на противника, он должен был высечь его с небрежностью и как бы между прочим, чтобы никто не заметил, что его задевает безразличное отношение Богдановского.

— Ну, вы известный циник, Валентин Валентинович! — насмешливо произнес Зимин. — Пора бы научиться отвечать за свои дела. А сейчас отдуваются Греков и остальные добычные участки.

Он сразу отделил Богдановского от других инженеров.

— Осмелюсь возразить: я скептик, а не циник, — безмятежно поправил его Богдановский. — А кто циник, вам лучше знать.

Сосед Богдановского, Тимохин, толкнул его локтем, но Валентин Валентинович, не поворачиваясь, громко бросил: «Отстань» — и продолжал:

— Разве не вы, Сергей Максимович, запрещаете мне останавливать добычные участки, когда я прошу вас разрешить мне провести капитальный ремонт на транспорте? Чего же от меня требуете? Порядка? Я за порядок. Давайте посмотрим правде в глаза: рельсовые пути ни к черту не годятся, электровозный парк требует пополнения, вагонеток не хватает... Я удивляюсь, как мы еще тянем?

Богдановский наклонил голову, из-под подбородка выдвинулась толстая складка. Он поглядел на Аверьянцева и Нестерова, ища в них сочувствия.

— О, да вы еще и демагог, — сказал Зимин. — У вас виноваты все, только не вы сами, так получается? Добычки виноваты в том, что им уголь надо рубить, я — в том, что хочу наконец увидеть четкую работу транспорта... Вот ведь какая картина наблюдается, дорогой товарищ и неоднократный коллега, — Зимин подался вперед, и его широкий рот насмешливо растянулся. — Объективные причины всегда сыщутся, чтобы оправдать нас в глазах нашей... жены! А здесь нету никаких объективных причин, просто мы бездарно работаем. И вы, Валентин Валентинович, героически преуспеваете в этом.

«Остановись, — сказал себе Зимин. — Пока достаточно. Хоть он изображает невозмутимость, все равно накачка его подстегнет. На некоторое время он будет заряжен».

И начальник шахты был готов замолчать, но у него в голове разжимались приготовленные угрозы и какая-то сила, превышающая силу его сознания. Понимая, что он

совершает бестактность или даже ошибку, Зимин прознес:

— Думаете, ради вашего транспорта нам простят срыв плана? Последний раз говорю: наведите порядок! Иначе нам незачем держать такого начальника ВШТ!

Конечно, он допустил промах. Не надо было грозить во второй раз, ведь уже достаточно было и официально объявленного предупреждения, а теперь получалось, что Зимин... Что получилось, он не успел додумать. Как раз в эту минуту Богдановский сказал:

— Хорошо, я подам заявление.

«Да, надо было вовремя остановиться», — мелькнуло у Зимина.

Наступила тишина. Он полез в карман за сигаретами, но, вспомнив, что три дня назад бросил курить, достал из ящика жестянку с леденцами и сунул в рот несколько леденцов.

На него смотрели настороженно. Греков по-прежнему крутил брелок. «Тебя бы на мое место! — подумал Зимин. — Я бы на тебя поглядел!»

Вот уже почти десять лет он руководил этой шахтенкой; принял ее тридцатилетним удачливым начальником передового участка, уже награжденным орденом и имевшим реальные виды на счастливую карьеру.

Но карьера не получилась. Сейчас сорокалетний Зимин ничем не напоминал прежнего честолюбивого Зимина. Он упустил свои шансы. За десять лет они незаметно улетучились вместе с недоданными к плану тоннами угля, с выговорами и просто сами по себе, так как он из разряда очень перспективных руководителей сперва стал талантливым, но невезучим, потом только невезучим и в конце концов обычным начальником неблагополучной шахты, которую так и не смог поднять до мало-мальски порядочной. Конечно, ему не повезло. О нем говорили, что ему не следовало оставлять прежнюю должность, что он на новой «не потянул».

Услышав слова Богдановского о заявлении, Зимин сразу же хотел предупредить, что начальник ВШТ будет уволен, получив строгий выговор по партийной линии за развал работы участка. Это была бы уже третья угроза. Он не видел, кем можно заменить Богдановского. Он любил постоянство и опасался каждого нового человека, наперед считая, что новые люди по незнанию идут на большие перестройки, но со временем неизменно возвращаются к

старому. И получается, что суеты много, а результата не видать. Лучше всего было иметь дело с проверенными кадрами, от которых не ждешь сюрпризов.

С Богдановским и другими старыми сослуживцами у Зимина сложились почти семейные отношения со своей сложной психологией и обычаями, где у каждого были свои права. Богдановский действовал так, как и положено было действовать по его обычаю, дававшему ему право защищаться от несдержанности Зимина. У молодых такого права не было, и если бы вздумалось кому-нибудь из них позволить себе дерзость, то Зимин бы с ними не церемонился.

Богдановский был по-своему прав. Действительно, электровозы, рельсовые пути, стрелки — все путейское хозяйство скрипело и залатывалось на ходу и, казалось, не выдержит нагрузки. Уголь шел к поверхности тяжелой авральской дорогой. Но Богдановский требовал времени для ремонта и знал, бестия, что этого времени не получить, но при этом же знал, что у него всегда будет способ оправдаться. И все же он не упускал возможности при случае заявить, что никому другому не дано справиться в таких исключительных обстоятельствах. Он был прав с точки зрения начальника внутришахтного транспорта. Но это была неполная правота. Выходило, что ему мешают добычные участки, которые он должен был обслуживать.

Глядя на толстое здоровое лицо Богдановского, Зимин одобрительно улыбнулся и произнес:

— Я всегда считал, что Валентин Валентинович прав, когда думает о себе как о главном человеке на шахте. А мы по инерции твердим — добычники, добычники!

Греков усмехнулся, поднял глаза. Зимин прочитал в них скуку.

— Конечно, вы чаще от меня слышите «Греков, Бесмертенко, Аверьянцев», — Зимин остановился, посмотрел на Тимохина. — «Тимохин»...

Он сказал все это без тени иронии, с настойчивым уважением в голосе, стараясь, чтобы здесь поняли его буквально. Пусть Богдановский походит в главных героях, зато всем скоро станет ясно, что его правота при всей ее убедительности больше всего походит на благопристойный вариант вранья.

Таким образом Зимин перескочил через препятствие, сделанное заявлением Богдановского, и мог теперь надеяться, что тот удовлетворится. Это не было извинением.

Зимин сейчас не разрешил, да и не умел разрешить, ни одной проблемы транспортников. Но почему-то общее напряжение, ожидание грозы, ощущаемой присутствующими, вдруг миновало.

Обруганный и восхваленный начальник ВШТ теперь будет дней десять помнить грубую лесть Зимина, носить в своей душе злой энтузиазм и стараться изо всех сил, чтобы не навлечь на свою голову новых неприятностей.

— Как хотите, Сергей Максимович,— устало согласился Богдановский,— считайте меня кем угодно. Только доведем мы шахту до ручки.

— Я знаю, ты умеешь работать,— бодро сказал Зимин.— Настройся по-боевому. Всем надо настроиться и не кивать на трудности. А трудности есть и будут. Но вы шахтеры, а не завмаги. Давай, Валентин Валентинович, ищи резервы...

Богдановский понял, что разговор приобретает агитационный оттенок, и потерял к нему интерес.

Зимин, как всегда, нашумел, выругал и ускользнул. На него было бессмысленно обижаться. «Мелкий человек,— подумал Богдановский.— Ему бы разок-другой ударить в тресте по столу кулаком и добиться, чтобы временно понизили план. Да он голос боится подать».

Пока залатывали удары «орла», он надеялся отремонтировать путь на всем уклоне грековского участка. Вчера он обследовал уклон и распорядился начинать ремонт всех опасных мест.

Зимин еще не знал об этом. Занятый своей мимикрией, он не спросил, когда устранят последствия аварии. Он, наверное, полагался на опыт Богдановского или умышленно не хотел влезать в тонкости, чтобы в нужном случае, прикрывшись неведением, обвинить начальника ВШТ в срыве плана.

Как бы там ни было, Богдановский действовал самостоятельно, пренебрегая современной поговоркой: «Инициатива всегда наказуема». Но через неделю на участке Грекова будет идеальный порядок, и ради этого стоило... «Стоило ли ради этого портить мне нервы?» — подумал Валентин Валентинович.

Наблюдая Зимина почти десять лет, он каждый год хотел бросить работу и на прощание покрепче хлопнуть дверью. Он отдавал секретарше заявление, не появлялся на шахте, и Зимин бесился, обещал его уволить за прогулы. А Богдановский на два-три дня куда-нибудь улетал

как самостоятельный турист; он побывал в Краснодаре, Вильнюсе, Киеве, Харькове, Курске, Львове, Сухуми, Калуге, куда бежал от заполошного Сергея Максимовича Зими́на и где успокаивался, размышлял о жизни и приходил к выводу, что он независим, несмотря на неудачного начальника, а на любой иной шахте надо будет начинать заново, и к тому же неизвестно, не случится ли там кого-нибудь похуже Зими́на. Из своих путешествий Богдановский вынес еще одно умозаключение, что почти все города похожи друг на друга и напоминают пригород. Он возвращался, Зимин запирает кабинет, и они умиротворенно ругались, как люди, понимающие, что не могут никогда решиться на окончательный разрыв. Обиды забывались, наступала пора дружеских отношений, но они были недолгими. Мстительная натура Зими́на не прощала уступок, и при случае на Богдановского снова налетала волна придирок и мелочной опеки. Обстановка снова накалялась, это был замкнутый круг.

...Тем временем пятиминутка продолжалась. После Богдановского другие наказанные и попавшие в конторскую книгу отставного интенданта Пелехова не набрались смелости спорить с Зими́ным. Один только Морозов сосредоточенно и решительно глядел на начальника шахты, ожидая, когда тот обратит на него внимание. За добытый уголь был отличен Тимохин, а за потерянный мотор досталось Морозову и Митене. Несправедливость задела Константина. Он догадался, что Тимохина будут выдвигать на место Бессмертенко. Что же, пусть выдвигают, но зачем нужно кого-то топтать в грязь? Чтобы другие заметили непорочную чистоту Тимохина? Или важно указать Морозову, что он тягловая лошадь? Чтобы не вздумал брать пример с Богдановского?

Из всех инженеров лишь Бессмертенко и Богдановский умели осаживать Зими́на, а остальные, хотя далеко не все были робкими людьми, старались с ним не связываться. Выговоры и лишение премии неожиданно чередовались с благодарностями, гнев сменяла улыбка, — от Зими́на можно было ждать любой неожиданности. Поэтому, обжегшись несколько раз, не пытались переделывать своего начальника. И лишь стоявшие на самых нижних ступенях иерархии горные мастера всегда резали правду-матку. Они были далеки от руководства, чтобы заботиться о личной безопасности. Помощники начальников участков, к которым относился Морозов, уже были осторожнее. Правда,

встречи в кабинете Зимина выпадали на их долю не так часто.

Однако Морозов за время болезни Бессмертенко давно перевыполнил свой годовой план по встречам с начальником шахты и к этой минуте был готов сказать ему (и заодно всем собравшимся), что здесь занимаются демагогией, что уголь добывается под землей, а не в кабинете, что в забоях шахтеры простаивают часами.

Морозов был достаточно опытен и понимал, что им движет обида и что лучше всего промолчать. Но, промолчав, он бы показал, что смирился с несправедливостью.

Зимин взглянул на Морозова и отвел взгляд. Константину показалось, что начальник шахты сам понимает несправедливость сделанного, и поощряет его высказаться откровенно.

— Сергей Максимович! — твердо произнес Морозов.

Он надеялся, что будет понят и что его поддержат инженеры. Зимин доброжелательно улыбнулся. Эта широкая открытая улыбка подкупала многих, и, даже зная её цену, трудно было удержаться от мгновенного чувства доверия, которое она рождала.

Морозов не замечал скептических взглядов, свидетельствовавших о том, что здесь никто не тешится иллюзиями и что он, Морозов, все-таки молод и глуп. Все предвидели его искреннюю бесполезную тираду и то, что за этим последует. Было и скучно, и любопытно.

Но, к счастью для Морозова, зазвонил телефон, и Зимин, вымолвив Константину: «Что у тебя, Костя?», взял трубку.

— У меня совещание, — сказал он. — Я вам перезвоню, Валентин Алексеевич.

Ему что-то ответили. Он поковырял в ухе мизинцем, потом посмотрел на палец и вздохнул.

— Постараемся, — пообещал он. — Сделаем, что в наших силах. Я уже докладывал вам обстановку...

Видно, его прервали, и несколько минут Зимин молча слушал. Его лицо стало злым и беспомощным. Один раз он попытался что-то сказать, но оборвал на полуслове и затем только кивал головой.

Все это было знакомо. Начальника шахты распекал управляющий трестом Рымкевич, и распекал, судя по всему, серьезно.

«Вот и ты в нашей шкуре, — подумал Морозов. — Твои объяснения не нужны. Внимай и подчиняйся».

Ему сделалось досадно за Зимипа. Рымкевич обходился с ним грубо, зная, что тот не посмеет защищаться, а если осмелится, то чем, Сергей Максимович, какими козырями — словами и демагогией? Вы бы лучше план выполняли, тогда бы вас на руках носили!

Морозов сочувствовал Зимину, как сочувствуют тяжелобольному, когда вдруг многое затушевывается и многое хочется простить. Еще пять минут назад Константин был готов сокрушить своего обидчика, а теперь болел за него; он был отходчив.

Но вот Рымкевич отпустил, телефон умолк, и Зимин, приходя в себя, обвел строгим взглядом свидетелей его унижения. Он наверняка знал, что они видят его падение, и его раздражало их могильное молчание, их однообразно-постные физиономии и отсутствующие взгляды. И как упиженный в обществе не может совладать с собой и торопится совершить любое, пусть даже нелепое оправдательное действие, так и Зимин жаждал объяснить подчиненным, что все происходит совсем не так, как они думают. Но, желая оправдываться, Зимин читал в лицах инженеров, что ему не быть понятным, что его могут лишь пожалеть.

Греков в душе только мирился с ним, ибо это было выгодно его честолюбию.

Богдановский спорил, бесился, по всегда переламывал себя, потому что не решался уйти на другую шахту.

Бессмертенко его презирал.

Все были бы рады провалу Зимина.

И назло им Зимин никого из них не выдвинул на должность главного инженера, а взял трестовского работника Халдеева. Тот служил громоотводом — знал все тонкости управленческого дела, но на шахте по-настоящему работал только в ранней молодости. Пока он не мог сам ступить ни шагу, постоянно спрашивал у Зимина, за что получил прозвище «Кивало». Вот на Халдеева можно было положиться без опаски — он был предан Зимину, догадывался, кому обязан продвижением и без чьей поддержки не устоит. То, что за Халдеевым стояли связи в тресте, наверное, имело свое значение, однако Зимин не склонен был их преувеличивать. Он брал в главные инженеры бюрократа, клерка, делопроизводителя — словом, безликое существо.

Лицо у Халдеева было волевое, с сильно развитой челюстью, крутоскулое, с коротким прямым носом. Можно



было подумать, что у этого человека сильная патура. Он всегда молчал. Иногда его молчание казалось Зимину подозрительным, особенно тогда, когда главный инженер, не моргнув глазом, выслушивал получасовые разносы.

Нет, здесь у Зимина не нашлось бы и тени друга.

Он отыскал взглядом Морозова и желчно сказал:

— Послушаем критику снизу. Что у тебя, Морозов?

— Прошу три дня отпуска,— ответил Морозов.

— Отпуска? — не поверил Зимин.

— Три дня. По семейным обстоятельствам.

— Ну! — озадаченно произнес Зимин.— У тебя все?

— Все.

— Ты идешь в отпуск? — горько сказал Зимин Морозову.— Сейчас? Тебе не дорога наша честь? Бросаешь коллектив, который тебя воспитал?

Зимину вдруг все стало безразлично. Этот помощник Бессмертенко открывал ему глаза на мир, устроенный работой, служебными перемещениями и чем там еще? Удачей? У самого-то Морозова не было за душой ничего подобного, и то, что он несколько лет занимался подводными исследованиями, не имеющими никакого отношения к шахте, свидетельствовало только о том, что человек хотел отличиться на неосвоенном месте, где нет соперников, где витает розовая дымка молодой безответственности. Он сидел в шахте, а мысленно уносился к берегу моря. Он был чужак. Но сейчас он подшучивал над Зиминим, зная о своей неуязвимости. Морозов работал без срывов, и у Зимина не было такой власти, чтобы сильно прижимать его.

— Вы разрешаете отпуск? — спросил Морозов.

— Разрешаю!

Зимин заметил, что Греков усмехнулся снова. Инженеры были удивлены, по кабинету пронесся тихий шепот разговоров. «Привыкли, что я несдержан,— подумал Зимин.— Надо следить за собой. Вот сейчас я сдержался. А он парень дрянной, и его надо еще воспитывать и воспитывать».

К Морозову наклонился Тимохин и стал что-то шепотом говорить, досадливо морщась. Что он говорил, Зимин не слышал, но догадался, что Тимохин недоволен поведением Морозова.

Между тем Морозов поднялся, взял у кадровика Пелехова листок бумаги и написал заявление об отпуске.

— Ты же меня подводишь! — громко бросил Тимохин.— Костя, не твори глупостей.

— Отстань,— буркнул Морозов.

— Сергей Максимович! — вдруг воззвал Тимохин.— Морозов сейчас крайне нужен на участке! Он показал умение работать. В перевыполнении суточного плана — его большая заслуга.

Эта суетливость показалась Зимину неприятной. Хотя начальнику шахты хотелось досадить Морозову, ябедничество Тимохина задело лично его, и он перестал думать о Константине. Его покорило то, что Тимохин, вместо того чтобы защищать интерес своего товарища, неожиданно и бесстыдно становится на сторону более сильного. И Зимина в эту минуту не трогало, что сильная сторона — это он сам, Сергей Максимович.

— Значит, в перевыполнении плана его большая заслуга? — со сложной интонацией спросил Зимин.

— Да, Сергей Максимович!

— А разве не твоя?

— Я говорю о Морозове,— Тимохин уклонился от прямого ответа. Он не мог признаться, что вчера был на шахте лишь утром; по этой же причине он не стал защищать Константина, когда тот получил выговор.

Зимин все же уловил мгновенное замешательство Тимохина. И в силу своей недоверчивой, противоречивой природы он что-то заподозрил. По-видимому, думал он, Тимохин что-то утаивает, а как раз из-за этого утаивания Морозов и прет на рожон.

— Душа моя,— ласково сказал Тимохину Зимин,— полчаса назад ты так доложил, что все поняли — в перевыполнении мы потрудились (он ткнул пальцем в Тимохина), а с транспортером они недоглядели (его палец указал на Морозова). Вот так ты нам доложил...

— Ну мы все вместе,— невнятно произнес Тимохин, покраснев всем лицом и лысиной.— Собственно, пусть Морозов отдохнет три дня, раз ему приспичило.

— Ты совсем запутался, душа моя,— улыбнулся Зимин.— Филя,— кивнул он диспетчеру Кияшко,— какие вчера ты заметил доблести у этого горячего юноши?

Кияшко выкатил на него свои голубые ясные глаза, в которых светилась благодарность за приветливое обращение.

— Кого имеете в виду, Сергей Максимович?

— Морозова, Филя. Кто ж еще горячее его?

— Вы сами, Сергей Максимович, горячи,— пошутил диспетчер.

— Ну,— кивнул Зимин.

И Кияшко, больше не отвлекаясь, подробно и весело рассказал про все — мотор пропал, порожняка не было, «орел» случился, Морозов ругался, потом поехал в подземелье и вернулся обратно поздно.

— Обращаю ваше внимание,— с воодушевлением продолжал диспетчер.— Костя фактически провел в шахте две смены, часов двенадцать.

Он чувствовал, что делает доброе дело не для одного Морозова, что чем больше он вознесет Константина, тем ниже опустится сам Зимин, поспешно покаравший и Морозова и Кияшко. И диспетчер старался. У него была редкая возможность — безопасно для себя досадить начальнику.

— В общем, герой твой Морозов,— прервал Зимин.— Что? Они вдвоем с Тимохиным сидели в шахте? Умнее ничего не придумали?

— Почему вдвоем? — ответил Кияшко.— Я про Тимохина не говорю.

Его глаза перебежали на Тимохина и унеслись куда-то кверху. Он не хотел портить с Тимохиным отношения.

— Что за работники! — воскликнул Зимин.— Распустились!.. Исполняющий обязанности начальника участка отсутствует целый день! Помощник заезжен до чертей соленых! У всех отговорки, объективные причины...

Он запнулся, опустил голову и несколько секунд молчал, раздумывая. Не одна только тяга к справедливости руководила Зиминим, и не скверное поведение Тимохина, как можно было предположить с первого взгляда, заставило Зимина устроить новый разнос. Вместе с первой и второй причиной была и третья, которая заключалась в желании начальника шахты показать свою справедливость и лишний раз убедить Тимохина, выдвигаемого на место Бессмертенко, что здесь один хозяин, возвышающий и наказывающий, и что он не простит своеволия.

Прежде Зимин умел быть душой любой компании; он чувствовал людей, не боялся соперничества и любил жившее в нем ожидание большой борьбы и победы. Ему было радостно, когда десятки людей, связанные друг с другом невидимыми скрепами его решений, достигали успеха, и этот непостижимый таинственный путь взаимопонимания, власти и воли очаровывал его.

Прежний Зимин иногда просыпался в нем, в изуродо-

ванном бесплодными усилиями и непониманием нынешнем Сергее Максимовиче.

— У всех отговорки, у всех объективные причины, — помолчав, повторил начальник шахты. — А куда смотрит главный инженер? Я вас спрашиваю, товарищ Халдеев! Не глядите на меня так скорбно. Когда вы начнете руководить? Или думаете отсидеться за чужими спинами? Это вам не трест, здесь надо вкалывать!

Халдеев, наморщив лоб, внимал Зимину, не делая никаких попыток оправдаться. Он ждал, что вспышка пройдет сама собой или обратится на привыкших к непрерывным накачкам инженерам. Он считал, что уже давно пора заканчивать пятиминутку, а не превращать ее в балаган. Но Зимин не успокаивался.

— Молчите? — спросил он. — Я требую ответа!

Халдеев протер платком очки и ничего не сказал.

«Вот нервы! — подумал Зимин. — Хоть кол на голове теши».

— Нечего ответить? — с грустноватым выражением заметил он. — Ну-ну...

И он оставил главного инженера.

Приходилось самому наказывать Тимохина, дело склонилось именно к этому.

— Морозов, ты, значит, вчера был один? — недоверчиво спросил Зимин. — Почему же ты не возмутился, когда я объявлял тебе взыскание? Скромничал? А в душе возмнил себя героем? Мол, не буду унижаться?.. Давай-давай... По-моему, это просто-напросто трусость.

Морозов внимательно глядел на него. Говорить было нечего; он не понимал, чего добивается Зимин. По своему опыту он знал, что нет для руководителя ничего более страшного, чем нерешительность в ту минуту, когда надо действовать, потому что прощается многое — и несправедливость, и грубость, и ошибки, — прощается не от трусости или беззлобности, а оттого, что общее дело сильнее человеческих слабостей, оттого, что объединенные люди сами избавляют свою память от злых отметин, в противном случае им было бы невозможно объединиться; но нерешительности не прощают — она плодит бессилие и опустошает душу.

И сейчас Морозов ощущал, как мечется Зимин, как тот опасно неуверен в себе.

Чем бы ни закончилось нынешнее разбирательство, было ясно, что на шахте наступают черные дни.

— А ты, Тимохин, хорош гусь,— сожалеюще сказал Зимин.— На чем скользишь? На ровном месте скользишь! Теперь сам на себя обижайся.

— Сергей Максимович! — воскликнул Тимохин.

Зимин остановил его движением руки.

— Василий Иванович,— попросил он Пелехова,— пометьте у себя: Тимохина и Морозова строго предупредить в приказе.

— А формулировка? — кадровик наклонился над книгой и уперся в страницу ручкой.

— Вы спите? — съязвил Зимин.— Кажется, ситуация предельно ясная.

— Значит, за отсутствие на работе без уважительных причин,— сказал с удовлетворением Пелехов.— Попросту за прогул.

— Так и пишите! — приказал Зимин.— Что еще?

Пелехов задумчиво глядел на него.

— Ну что еще? — воскликнул Зимин.— Удивляюсь, как можно спать с открытыми глазами!

— А формулировка на Морозова? — спросил Пелехов.— Он не прогуливал. Я так понимаю, нужна убедительная формулировка.

— А при чем здесь Морозов? — охнул Зимин.— С Морозовым мы уже всё выяснили. Откуда вы взяли, что Морозов... Нет, Василий Иванович...— И Зимин махнул рукой и засмеялся.

Глядя, как хорошо и славно он смеется, нельзя было не улыбнуться. Но это был короткий смех, вырвавшийся у измученного человека.

Дубоватый служака Пелехов тоже улыбнулся. На его гладком лбу появились бледные пятна.

В столе начальника шахты под коробкой с леденцами лежало заявление Бессмертенко: «Прошу уволить меня от занимаемой должности по причине тяжелой болезни инфаркта миокарда».

Некем было закрывать брешь, которая открывалась на втором участке с уходом Бессмертенко. «Где мои тридцать лет?» — спросил себя Зимин. Некем было закрыть брешь. Тимохин? Оказался набитым дураком. Еще можно было попробовать поставить его начальником второго, только вряд ли выйдет что-либо путное. Зимин не станет подавать своим инженерам лишний повод для упреков в беспринципности. «Где мои тридцать?»

Других кандидатов не было. Следовало их срочно най-

ти. Это занимало Зими́на даже больше, чем невыполнение плана. С планом было ясней ясного, чудес не бывает.

«Я сам возьму второй! — решил он. — Тут некому доверить. Потом все образуется само собой».

Он заглянул в свое прошлое. Его охватило предчувствие большого дела, и дремлющее честолюбие забилося, рождая химерические надежды и рисуя в воображении картины аврала, победы и награждения.

Пятиминутка продолжалась. Разбирательства окончились, за ними последовала перепалка начальника третьего участка Аверьянцева с Грековым. Белокурый крупный Аверьянцев встал, хотя это не было принято на подобных собраниях, и, отчетливо произнося каждое слово и подчеркивая свое самообладание, в которое трудно было поверить, сказал, что у него нет резцов для комбайна, и если Греков с ним не поделится, то он не ручается за плановую добычу.

Греков вскинул голову и дерзко улыбнулся. Все знали, что победитовые резцы — дефицит и что Аверьянцев ничего не получит.

— Игорь, я тебя по-человечески прошу поделиться! — сдержанно рявкнул Аверьянцев. — Ты только за август трижды выписывал резцы, а мою заявку похерили со страшной силой. Чем ты лучше нас?

— Я бы с удовольствием, Андрюша, — ответил Греков. — Да нету. Сам сижу, как мартышка с голым задом. — Он развел руками. Его горбоносое лицо осветилось ласковым снисходительным выражением. Греков как бы говорил: «Хочешь скандалить — продолжай. Ты знаешь, чем это кончится. Я не лучше тебя, а ты не хуже других. Но я удачливый, вот где собака зарыта. Кто-то ведь должен быть первым».

Аверьянцев покачал головой и с угрозой вздохнул.

Тимохин наклонился к Морозову:

— Ну спасибо тебе, Костя. Еще вспомнишь этот денек!

— Сам виноват, — буркнул Морозов.

— С тобой все ясно, — сказал Тимохин. — Только не забывайся: твои игры в красивые дела уже кончились.

Он имел в виду развал клуба «Ихтиандр» и тот тупик бесцельности, в котором оказался Константин.

Морозов же после такого обобщения вспомнил, что злополучный мотор отправлял в шахту Тимохин, но прикрыл

глаза и усмехнулся своему желанию ответить пакостью на пакость.

— Сергей Максимович! — сказал Аверьянцев. — Вот вы смотрите на меня и думаете, какой же Аверьянцев склочный мужик. А мне за шахту обидно! У Грекова все, у меня — ничего. Весь дефицит, порожняк, ну все на свете! А у других? Мы что, сироты казанские?

Морозов видел, что Аверьянцев прижимал Зимина к стенке. Грековский участок считался лучшим и обслуживался в первую очередь, до сих пор на это правило никто открыто не покушался: Греков дружил с Зиминим.

Среди своих коллег, горных инженеров, Морозов выделял начальника третьего участка Аверьянцева. Аверьянцев работал на шахте с восемнадцати лет, начинал электрослесарем, выстрадал шесть лет вечернего института, и не было у него других интересов, кроме производственных. Его послужной список сиял благодарностями, полученными за рационализацию. Аверьянцев был надежным товарищем и работником. Обязательность — первая черта порядочного человека — определяла, пожалуй, всю его натуру. Но еще было в Аверьянцева главное, что поднимало его выше простого службиста.

Воспитанный во времена, когда обществом руководили идеи быстрых преобразований, Аверьянцев считал, что хорошие порядки в производстве найдут хороших работников, что это случится очень скоро, и, действуя в духе своих умонастроений, оставил бригадирство в крепкой бригаде, взяв отстающую. Он достиг с ней сверхплановых рубежей, потом стал начальником участка, но годы прошли, одни идеи сменились другими, а ожидаемые чудеса не свершились.

И во второй раз звали Аверьянцева принять бригаду на новой шахте, где нешумно готовились поставить рекорд добычи и искали надежного работника, который бы оказался достойным будущей гремящей славы. И Аверьянцев отказался, хотя понимал, что отказывается больше, чем от обычного перехода. «*Aquila non captat muscas!*» — ответил он на переговорах одной из трех латинских поговорок, забывшись к нему в бессистемном чтении разных книг. Он перевел ее тут же: «Орел не ловит мух!», попрощался, пожелав собеседникам удачи.

Не найдя в действительности того, что он желал найти,

Аверьянцев был скептиком. Но одежды скептика все же были ему тесны и служили только тогда, когда он общался с начальством. А в шахте он оставался энергичен, оборотист и часто для быстрого внедрения своих рацей платил слесарям в механических мастерских из своего кармана, не тратя времени на принятую процедуру заявок. Веря только в свои силы и не желая вникать в то, что делается там, докуда его силы не доставали, Аверьянцев естественно пришел к такому образу действий, который, как предполагал Морозов, сделал его неуязвимым для разочарований.

...— Вчера последний резец поставил! — продолжал Аверьянцев. — На складе говорят: были, забрал Греков. Зарвался ты, Игорек, вот что я тебе скажу! Вы, Сергей Максимович, хоть и делите нас на любимчиков и козлов отпущения, а все ж знайте — терпение кончится. Пойду в райком партии, пусть они дадут мне резцы для комбайна!

Зимин слушал, кивал, поглядывал на Грекова. А тот постепенно накалялся, добродушная улыбочка пропала. «Пусть пооборвут тебе перья, — мелькнуло у Зимина. — Будешь знать свое место!» Он не был так глуп, чтобы сейчас спорить с Аверьянцевым и этим восстанавливать остальных против себя. Нет, пусть Игорек искупается в кипятке правды-матушки, сукин он сын, а не Игорек... Дурно, очень дурно отзывался в тресте Игорь Греков о своем друге Зимине, но нашлись доброты и злорадно доложили: мол, знайте и ушами не хлопайте...

— Игорь Антонович, что за отношение к делу? — удивленно спросил Зимин. — Немедленно передайте Аверьянцеву комплект резцов!

— Не понял! — с вызовом ответил Греков. — Как можно дать то, чего нет?

— Ну хорошо, — кивнул Зимин. — На нет и суда нет. — Он снял трубку и попросил телефонистку соединить с грековским участком, и тут Морозов догадался, что начальник шахты сию минуту проверит, сменялись ли вчера на комбайне резцы?

Греков с мрачной сосредоточенностью ждал. Он решил доиграть до конца, но его положение было глупое.

Аверьянцев недоверчиво глядел на Зимина.

И Зимин пожалел своего любимца. Он опустил трубку и сказал:



— В общем, поделись, Игорь Антонович. Пора тебе мудреть.

Греков засмеялся:

— Ну так и быть.

— Слышал? — спросил Зимин Аверьянцева.

— Спасибо, Сергей Максимович, — радостно вымолвил тот.

— Ладно. Ему скажи спасибо, — Зимин поморщился.

Не в его натуре было спускать угрозы, а ведь Аверьянцев грозил пойти в райком.

— Спасибо, Игорь! — сказал Аверьянцев. — Ты настоящий товарищ.

— Вот и хорошо, — кивнул Зимин. — А то уж собрался в глотку вцепиться лучшему другу.

Он шутил, но большой охоты шутить в нем не замечалось. И Морозов подумал, что Зимин не забыл угрозу и ответит на нее позже, не сегодня и, может быть, не завтра; на сегодня нервотрепки было достаточно...

Действительно, планерка продолжалась спокойно.

После совещания Морозов задержался в кабинете. Халдеев подошел к нему и с треском раскрыл рамы.

— Я поехал в трест, — сказал ему Зимин.

Морозов стоял перед столом, но Сергей Максимович его не замечал.

— Дорога предъявляет счет за простой вагонов, — скучно проговорил Халдеев.

— Что тебе? В отпуск? — спросил Зимин Морозова. — Я уезжаю.

— Снова штраф, — продолжал Халдеев.

— Работать надо, вот и не будет штрафов! — бросил Зимин.

— У меня есть предложение, — сказал Морозов.

— Да? — заинтересованно спросил Халдеев. По-видимому, он был бы рад услышать что-нибудь дельное, а бессмысленные зиминские попреки приводили его в безысходность.

— Надо назначить Лебеденко начальником нашего участка, — продолжал Морозов. — Это самая реальная...

— У тебя все? — перебил Зимин. — Господи, занимайся своим делом! Без тебя решим, кого назначить. Или ты умнее всех?

Морозов подождал, когда Зимин выговорит свое возмущение по поводу превышения им, Морозовым, своих

служебных полномочий, превышать которые было оскорбительным для начальника.

— А почему Лебедеенко? — вымолвил Халдеев. — Интересно узнать ход мысли.

— Да он боится, что любой другой вдруг начнет с ним сводить счеты! — Зимин усмехнулся. — Не бойся, Морозов. Надо быть выше личных счетов.

— Вы дурно думаете обо мне! — возразил Морозов. — Тот, кто дурно думает о людях, первый же страдает от этого. Мое предложение — Лебедеенко. Он будет настоящим хозяином. Лучше, чем кто-либо другой.

— Даже лучше тебя? — спросил Зимин с удивлением, как будто сейчас ему пришло в голову, что ведь и Морозова, в конце концов, можно назначить начальником второго участка.

— Если вы иронизируете, то мне трудно отвечать вам тем же, — сказал Морозов. — Двусмысленностей я не говорю. У вас нет других претендентов, кроме нас троих. Даже двоих, — я, как вы понимаете, отпадаю.

— Самоотвод? — Зимин качнул головой в сторону Халдеева. — Загадка природы в лице скромного помнач-участка. По-моему, он нам хочет показать свой гордый шахтерский характер... А не будешь жалеть, Константин? — Зимин шагнул к Морозову и хорошо улыбнулся ему.

— О чем жалеть? — спросил Морозов.

— Ну хитрец! — Зимин постучал ладонью по его спине. — Мы еще подумаем над твоим предложением...

— Всегда можно обосновать выдвижение рабочего, — заметил Халдеев. — Был бы смысл.

— Ничего, ничего! — сказал Зимин. — Скоро и тебя будем выдвигать, Костя. Ты не торопи события.

Морозов только пожал плечами в ответ на неожиданную приманку. Едва ли она была искренней. Скорее всего, Зимин маневрировал, не имея окончательного решения. Но могло быть и по-другому: учинив свое мелкое злодейство, начальник шахты теперь засовестился... Как бы там ни было на самом деле, Морозов почувствовал, что почти прощает этого суетливого, слабого, то раздраженного, то добродушного человека.

Он вышел из кабинета. В приемной секретарша печатала на пишущей машинке. Не отрываясь от работы, она оживилась, но взглянув на вышедшего, безразлично отвернулась.

Морозов направился в нарядную своего участка. Очевидная неудача с Лебеденко его не огорчила. «Зачем же я за него просил?» — удивился Морозов. Зная характер Зимины, он мог предполагать, что любое предложение, идущее от подчиненного, да еще под горячую руку, непременно будет отвергнуто. Правда, Константин почему-то раньше не подумал об этой детали. Его забывчивость говорила о том, что он сам относился к своему предложению несерьезно. И как только пришла эта мысль, Морозов понял, что несколько минут назад он невольно выбросил бригадира Лебеденко из числа претендентов. Остался Тимохин, но тот, прежде тихий и исполнительный трудяга, за время болезни Бессмертенко превратился в прогульщика, а на сегодняшней планерке это всплыло наружу. Значит, Тимохин тоже выпал. А кто же тогда? Морозов?

И Морозову ничего другого не осталось, как признаться, что сейчас он устранил обоих кандидатов в начальники «2-го уч.», и устранил без всякого умысла, без надежды на личное продвижение, а просто сослепу.

Он остановился у перил и закурил, не зная, что делать дальше. Он редко влипал в подобные переделки, где его озадачивала неизвестность.

Но ничего нельзя было решить наперед, надо было ждать.

Морозов вспомнил о больном комбайнере Ткаченко, об обещанном магарыче, и тут он знал, что нужно делать.

...Тимохин был не один. Напротив его стола сидели Лебеденко и Митеня, юный горный мастер.

«Михалыч уже здесь, — подумал Морозов о бригадире. — Денег ждет».

Они о чем-то толковали, а появление Константина превратило их беседу. Митеня виновато и одновременно нахально таращился на Тимохина, словно осознавал свои грехи, а от чужих открещивался.

Лебеденко, положив ногу на ногу, солидно сидел на стуле. Он был одет по-домашнему — в сандалетах без носков и в линялой синей тенниске. В эту смену он отдыхал.

— Ты направил комбайнера на медкомиссию? — спросил Морозов у Лебеденко.

— Я? — не понял бригадир.

— Ты говорил, у Ткаченко силикоз...

— Когда говорил? — обиженно протянул Лебеденко. — Разве я врач, чтобы такое говорить! Пусть начальство

решает, вот вы с Виктором Федоровичем. А я никого на медкомиссию не направлял и направлять не собирался. Сейчас мне комбайнер во как нужен!

— Силикоз? — спросил Тимохин у Морозова.

— Кажется...

— Так! Одно к одному, — Тимохин явно показывал, что презирает Морозова. — Лебеденко, ты бригадир?! — взорвался он и налился кровью. — Что же ты молчишь, если у тебя силикоз? Боишься? Чужими руками удобнее. Ты хороший, а я дерьмо, так? Совесть надо иметь, Николай Михалыч. Совесть! Если тебе доверяют, не бей друзей под дых. Знаешь, есть такие деятели...

— Сами направляйте, — повторил бригадир. — Я не врач.

— Тебе нужен приказ? — спросил Тимохин. — Пошли своего больного в медпункт. Скажи, я распорядился... Теперь подумай, кем его заменим.

— Виктор Федорович, подождать бы надо, — сказал Митеня. — Ткаченко никто не заменит как надо.

— У тебя все? — спросил Тимохин.

Морозов даже не поверил, что тот может таким тоном спрашивать. Ведь это был подлинно зиминский тон. Недавно Зимин язвил им Морозова.

— Я хочу как лучше, — Митеня умолк. В его юном, еще нежестком лице что-то напряглось.

Лебеденко вздохнул, глядя на него, и махнул рукой:

— Замену всегда настроим. Кердоду поставлю.

Похоже, он назвал балагура, чтобы подчеркнуть ничтожность любых замен и чтобы этот мальчишка, горный мастер, не закатил, чего доброго, истерики.

— Давай Кердоду. Не возражаю, — бросил Тимохин.

— А! Не возражаете? — как бы даже обрадовался Лебеденко. — Будет вам Кердода!

«Ну держитесь, я вам наработаю!» — именно этот смысл был слышен в его словах. Он вскочил. Его, наверное, довели до ручки.

— Успокойся, Михалыч, — бросил Тимохин. — К Ткаченко надо быть гуманнее.

— Я спокоен! — сказал Лебеденко. — Гуманисты!.. А если у него действительно силикоз? Кто будет его прятать?

— Это уже моя забота, — сказал Тимохин. — Устроим.

— Устройте? — усмехнулся Лебеденко. — А вот вчера

Морозов обещал полсотни на звено, где они? А вчера работа была — будь здоров!

От больного комбайнера он неожиданно кинулся выручать свой магарыч; этот напор был трудноотразим, и бригадиру, казалось, остается только протянуть руку за деньгами.

По-видимому, так бы и вышло, если бы с утра на планерке не рухнули большие шансы Тимохина. Поэтому, услышав имя своего незабываемого друга Морозова, Тимохин потянулся и стал смотреть на Константина.

Он был трусоват, при Бессмертенко держался ниже травы, но за последние два месяца с ним случилось чудо преобразования. Это был живой грешник — и хитрый, и самолюбивый, и своенравный, и еще черт знает какой, только уж не прежний тихоня.

— Да, обещал полсотни, — ответил Морозов. — Вчера это было нужно.

— Да, да, — кивнул Тимохин. — Было нужно...

Лебеденко с шумом стал набирать в легкие воздух. «А ведь Тимохин не даст! — догадался Морозов. — Не хочется ему давать».

Лебеденко выдохнул, повернулся к Морозову и спросил:

— Ну так как решили?

— Чапай думает, — сказал Константин. — Или даст, или откажет... Давай подождем.

— Ну давай, — согласился бригадир. — Мне некуда спешить, я отдыхаю.

Он сел, снова положил ногу на ногу и скрестил на груди руки.

— Что, Федорыч? — спросил через секунду Лебеденко по-приятельски простодушно. — Вижу, сегодня мне не светит? Может, есть какая-то тонкая причина? Или ты прогулял наши кровные? Так сознайся. Я тогда подожду.

Едва ли он не понимал, что утром произошло у Зимины. Скорее всего, понимал и разыгрывал новое действие своей борьбы за магарыч. Натиск уступил место проны, Лебеденко как будто приглашал Тимохина посмеяться, пошутить над его любовью к деньгам. От шутки ничего дурного не станется, обиды большой не будет, но зато после шутки отказать тяжелее.

Тимохин не принял его игры.

— Ты о чем? — он пожал плечами. — Какая там тонкая

причина? Раз Морозов тебе обещал, ты с ним и разговаривай... А у меня нынче денег нету.

— Фу ты! — в досаде воскликнул Лебеденко. — Сами только что про совесть вспоминали, а тут из-за копейки своего же позорите. Так можно не только со мной или с Морозовым поругаться. Так все мужики не поймут. А уголь-то, между прочим, они рубят. И силикоз вам-то не больно грозит... Нет, Виктор Федорович, так у нас не пойдет!

В начале своей тирады Лебеденко поднялся и, когда замолчал, протянул над столом перед лицом Тимохина раскрытую ладонь.

— Убери от носа, — Тимохин отвел его руку и кивнул Морозову: — Вот к чему ты привел. Развращаешь народ... «Тяжелый день»! А когда были легкие? Выкручивайся как знаешь. У меня нет.

Не успел Морозов подумать, что Тимохин переводит на него гнев Лебеденко, как бригадир уже повернулся к Морозову.

— Константин Петрович! — заревел он. — Где ваше слово? Я не вижу! Только Бессмертенко ушел, как вы начинаете хреновиной заниматься. Не пойдет!

Тимохин заинтересованно следил за Лебеденко, и у него дернулся кадык.

— Не пойдет, Михалыч, — согласился Морозов. — Я сам знаю, что не пойдет... — Он посмотрел на Тимохина. — Ну и тип же ты!

— Прошу без оскорблений! — Тимохин ударил кулаком по столу. — Лучше объясни человеку, что обманул его, что твое обещание гроша ломаного не стоит... Молчишь? Нечего сказать?

— Э-эх! — вымолвил Лебеденко. — При Бессмертенко так бы не получилось.

Митеня, до сих пор молчавший и не принимавший ничьей стороны, вдруг прикрикнул на Лебеденко, чтобы тот успокоился, и Лебеденко, который не принимал всерьез горного мастера, развел руками и издевательски поклонился ему.

— Да вы подождите! — сказал Митеня. — Я знаю, у Виктора Федоровича должны остаться деньги. Я закрывал те наряды. Прекрасно помню.

Митеня доверчиво смотрел на Тимохина. Тот раздраженно усмехнулся:

— Что ты мелешь? Он «помнит». Бессмертенко пере-

дачи возили? А за воскресные смены кто платил? Много вы помните! Лучше бы своим делом занимались. Кто вчера мотор потерял?

Митеня не растерялся. За вчерашнее он уже поплатился, теперь бояться было нечего.

— У вас нету, у меня есть! — засмеялся горный мастер с отчаянным удальством. И, вынув из записной книжки тоненькую слипшуюся пачку новеньких десятирублевков, протянул Морозову: — Берите, Константин Петрович! Он радостно совал деньги Морозову.

Лебеденко отвернулся, словно ничего не заметил.

Морозов взял деньги.

— Что? — спросил он Тимохина. — Разговор окончен?.. Михалыч, я обещал, я плачу.

— Дешевая самодеятельность, — бросил Тимохин. — Оч-чень благородно!

Лебеденко пожал плечами, спрятал деньги и сказал Тимохину:

— Теперь с нами в расчете, а своим задолжали. Хотите — отдавайте, хотите — нет. Ваше дело. Все же лучше бы отдать. А то себе дороже.

Вроде ничего обидного он не сказал, но Тимохин стал обеими руками тихо постукивать по столу, потом нагнулся, выдвинул ящик, взял связку ключей, поглядел на них и бросил обратно. Он был растерян.

— Спасибо, Константин Петрович, — кивнул Морозову Лебеденко и вышел. На Митеню он так и не взглянул.

— Заигрываете с гегемоном? — слабо улыбнулся Тимохин. — Все равно я за вашу глупость платить не стану.

— Что ты заладил? — спросил Морозов. Он был рад вмешательству Митени, и то, что ему предстояло потерять свои деньги, как будто облегчило его положение. Бог с ними.

Тимохин досадливо поглядел на Митеню:

— Выйди-ка.

Горный мастер встал и ушел.

Тимохин поднялся и защелкнул замок на двери. Потом подошел к окну. Поглядел на улицу. И что-то думал.

— Значит, берешь отпуск?

— Беру отпуск, — сказал Морозов.

— Это правильно.

Тимохин вернулся к столу, нащупал в ящике связку ключей, отпер сейф.

— Так-так,— проговорил он,— надо бы выпить за твой отпуск.

На столе появилась початая бутылка коньяка с блеклой этикеткой и два стакана. Тимохин налил по полстакана.

«Бессмертенко тоже держал коньяк»,— как-то вскользь заметил Морозов.

Выпили не чокаясь. Тимохин молча прибрал, закрыл сейф.

— Я на тебя как на брата...— криво улыбнулся он.— И вроде делить нечего... Не верится! Нет, не могу поверить,— Костя Морозов предаст меня. Бред! Сколько были вместе. Терпели от старика. И не мог меня прикрыть!

Морозов видел, что Тимохин действительно ничего не понимает. Что было толку объяснять!

— Тебе нужно прикрытие? — спросил Морозов.— Я сегодня просил Зимина назначить начальником участка Лебеденко. Знай это.

— Ты последователен... А что Зимин?

— Сказал, будто я боюсь, что назначат тебя.

— Странно,— вымолвил Тимохин.— Ты решил вредить мне. Странно... Не похоже на тебя. Чего ты хочешь?

— Чего? — Морозов с улыбкой смотрел в глаза Тимохина.

— Да, чего? — Глаза Тимохина влажно заблестели, словно к ним подступили слезы. Эти круглые темные глаза выражали боль, досаду, и еще что-то беззащитное.

— Не лезь в начальники, вот чего! — грубовато сказал Морозов.— Тогда из тебя прет жуткий Зимин. Пока тебя не поставили и. о., ты был нормальный. И работал, и крутился... Потом вдруг сделался барином.

— Значит, ты хочешь начальником? — спросил Тимохин.— Зачем тебе? Ты же всегда говорил, что на шахте долго не удержишься?.. Да тебя и не поставят.

— Не в этом дело. Я сам не хочу.

— Все хотят! Только одни открыто, а другие исподтишка.

— Я до второй смены свободен,— новым, сухим тоном сказал Морозов.— Пойду...

— погоди. Я к тебе еще не могу так относиться, как ты ко мне. Возьми эти полсотни. Черт с ним! Я от злости.

Тимохин снова отпер сейф.

Морозов взял деньги. Тимохин глядел на него, как



будто ждал, что сейчас Морозов скажет ему: «Старик, все в порядке! Мы друзья по-прежнему».

— Ну что, благодарить тебя? — улыбнулся Морозов. — Спасибо!

— Да ничего, иди, — тоже улыбнулся Тимохин. — Попробуем по-человечески... — И не слишком уверенно добавил: — Как получится.

#### IV

Зимин привез в трест личное дело Тимохина и представление его на новую должность.

Трест принял Зимина равнодушно.

Среди трех явлений жизни — Зимина, Тимохина и шахты — в тресте вызывало интерес только последнее.

Звезда Зимина едва светилась. У Тимохина ее просто не было.

После третьего кабинета Зимин почувствовал, что от него остается одна кожа, обтягивающая пустоту.

Предстояла последняя встреча — Рымкевич.

И Зимин разъярился. Он вылетел в коридор и помчался вниз, к выходу. Там ждала машина. К черту Рымкевича! После!..

Зимин взмок. Что он мог сделать, кроме побега? Тот, кто бывал в производственных переделках, тот знает, что все это в конце концов не так уж страшно.

Зимин же, зная это прекрасно, убегал. Боялся. Удивительный страх быть погубленным в этом доме, быть свергнутым с той высоты, которая делала его неуязвимым по отношению к большинству, завладел Зиминим. Это был приступ безнадежности. Если бы он продлился, Зимину наверняка пришлось бы тяжелее; тогда бы он стал докапываться до глубины и понял бы, что перестал верить в свое счастье. Но страх прошел, как только Зимин выбрался на улицу. Может быть, потому и прошел, чтобы не быть объясненным.

Сентябрьское небо и быстрые облака — вот что он увидел прежде всего. Сентябрь, конец месяца, план, Рымкевич — Зимин отмахнулся от них и глубоко вздохнул.

Черные машины жарко сияли перед подъездом. Шоферы с наглыми разбойничьими лицами, сыграв в беседке очередную доминошную партию, звенели серебром.

«Что творится? — охнул Зимин. — Ну и пиратские у них рожи! — Он мотнул головой. — Я, видать, сдвинулся. Это ж нормальные ребята».

Действительно, шоферы держались так, как всегда. Приглядевшись, и найдя своего Борю, Зимин одумался и перестроился.

— Сейчас поедем,— предупредил он.— Подожди минутку.

И вернулся в трест. И снова был кабинет, но уже другой, просторнее прежних, с ковром и телевизором. Прежде чем попасть сюда, Зимин потомился в приемной, задержанный секретаршей. Ее звали Ирой, а он назвал — Верой и заплатился. Зимин плохо запоминал ненужные имена.

— Какие цветы вы любите? — потом сообразил спросить он.

Девушка взглянула на этого маленького широкоплечевого человека и невежливо засмеялась.

Она не разбиралась в званиях и чинах посетителей. Они сами раскрывались ей. Уверенных в себе она не решалась задерживать, робкие сами натыкались на запрет, а загнанные, с темными лицами производственники всегда были как-то смешно угнетены в этой комнате, словно милый старичок Валентин Алексеевич Рымкевич казался им лютым зверем. Секретарша неожиданно поняла сладость власти и с детской непосредственностью стала гордиться собой.

— Чего ты зубы скалишь? — вдруг оглушил ее посетитель.— Насажали крашенных кукол!

Этот низенький крепыш был сумасшедшим. Девушка растерялась. То, что ее называли крашеной, было обидно: на самом деле у нее были естественные русые волосы. Ее власть рухнула. Секретарша превратилась в напроказившую девчонку, которую неожиданно наказали и которая, зная, что наказали справедливо, все же изумлена.

— Смотри мне! — буркнул Зимин.

Путь к руководству был свободен и загадочно прост. Зимин толкнул мягкую дверь.

Рымкевич стоял спиной к дверям на пороге примыкающей к кабинету небольшой комнаты отдыха, где только что он выпил полстакана ледяного «боржоми» и умылся.

Яйцевидная лысая розовая голова Рымкевича освещалась солнцем. Похоже было, что старик кейфовал.

Зимин окликнул его. Рымкевич вздрогнул всем телом.

— Фу, черт,— через силу улыбнулся он.— Напугал...

— Что? — спросил Зимин.

— Что-что! — передразнил Рымкевич. — Я бы на твоём месте не лез людям на глаза, а сидел бы в шахте.

— Я... — начал Зимин.

— В шахте! — высоким негрозным фальцетом крикнул Рымкевич. — В твоей отстающей позорной шахте! С утра по кабинетам ходят только безупречные деятели. Ты не из таковых.

Он насупился, сел за стол и, отделенный от посетителя этим мощным сооружением, проворчал:

— Ходит и народ пугает.

«Шутит?» — подумал Зимин, криво улыбнулся:

— Вы меня сегодня уже критиковали. Мы принимаем меры. Хочу доложить конкретно.

— Не надо. Доложишь, когда сделаешь план.

Зимин сделал шаг к стулу, но Рымкевич не пригласил сесть.

— Хочу посоветоваться, — сказал Зимин. — Выдвигаем молодежь на решающие участки производства. Вместо Бессмертенко. Помните, у него второй инфаркт?

— Помню, — неуверенно ответил Рымкевич. Наверное, не помнил.

— Есть у меня парень. Заместитель начальника добычного участка, Тимохин Виктор Федорович. Член партии. Анкета в порядке.

— Сколько ему?

— Тридцать два. Золотые годы.

— Дай-ка анкету.

Зимин распахнул корешки папки, наскоро пробежал глазами и подал Рымкевичу.

— Вот, Валентин Алексеевич...

Рымкевич взглянул на фотографию Тимохина, пришпиленную к краю бумажного листа канцелярской скрепкой.

— Лысый, — недовольно сказал он. — Это не золотые годы.

Зимин промолчал, ждал более серьезных замечаний.

— Потянет? — спросил Рымкевич.

— Уже тянет. Два месяца и. о. Проникся и справляется.

— А как Халдеев? — вспомнил Рымкевич. — Тоже проникся?

— У него, как вам сказать... период сложностей.

— Не сочиняй. Он толковый специалист. Недаром к тебе послали, пусть укрепляет. Будешь его шпынять — накажем.

— Нет, Валентин Алексеевич! — поправился Зимин. — У Халдеева в том смысле сложности, что он всю проблему хочет охватить. Глубокий человек. А на это ведь время требуется.

— Ага, ну конечно, — кивнул Рымкевич. — А то я подумал... Ты чего стоишь? Садись.

Зимин присел на край стула, подался грудью вперед к столу.

— Значит, Тимохин, говоришь? — произнес хозяин задумчиво. — В принципе не возражаю... Не возражаю... Скажи вот что. Кто у тебя в резерве на выдвижение? Может, кто-то... — Рымкевич постучал указательным пальцем по фотографии. — Скучная физиономия. Хочется на твоей позорно отстающей шахте видеть... орла! Понимаешь?

— Тимохин — это надежный работник, — сказал Зимин.

— Ну допустим, Тимохин. А кто еще?

Зимин стал перебирать в уме, кого бы подсунуть старику, чтобы тот наверняка зарубил.

— Морозов, пожалуй, двадцать девять лет. Помначальника.

— Анкета у тебя?

— Нету, Валентин Алексеевич, — вздохнул Зимин. — Честно говоря, из него когда-нибудь выйдет сильный руководитель, но сперва надо обмять. Мальчишества много.

— Морозов... Морозов, — вспоминал Рымкевич. — Как зовут?

— Константин.

— А отчество?

— Петрович.

— Сын Петра Григорьевича Морозова? — с непонятым напряжением произнес старик.

Зимин не знал, чей сын Морозов, на всякий случай кивнул. Из вопроса он понял только то, что у Морозова есть в тресте своя рука. Он обозлился. Зимин презирал протекции. Ему приходилось часто пользоваться знакомствами и связями, и он всегда прибегал к ним, стараясь сам себя убедить, что без них не проживешь. У него в молодости не было никаких рук, связей и блатов. Он шел самостоятельно.

Рымкевич не глядел на него.

— Так я и знал! — воскликнул старик негромко. — Настигнут... Рано или поздно настигнут... Он мне ничего

не передавал? — Рымкевич колюче взглянул на посетителя.

Зимин пожал плечами и подумал: «Из ума выживает. Кто ему Морозов?»

Рымкевич поднял руки к вискам, сжал голову. Внешние углы глаз поднялись. Лицо стало татарским, страшным. Тотчас Рымкевич опустил руки.

— Ставь Морозова, — решил он. Поглядел тяжело, ждал сопротивления.

— Можно Морозова, Валентин Алексеевич, — покорно произнес Зимин. И подпустил горькой иронии: — Желание начальства — закон для подчиненного.

— Не блажи! — приказал Рымкевич.

— Я за производство болею! — с сердцем бросил Зимин. — Вы еще свою секретаршу туда поставьте.

Это была дерзость. Но Зимин не испугался: Рымкевич не доверял его выбору, и тут нельзя было уступать.

— Не блажи! — повторил Рымкевич. — Ставь Морозова.

— Я-то поставлю...

— Вот ставь! Привози представление... Мальчишества в тебе много, Сергей Максимович. Дергаешься по пустякам. — Рымкевич захлопнул папку. — Договорились?

Ему вряд ли нужно было согласие Зимина. За долгое время своей жизни Рымкевич участвовал в служебных повышениях многих и разных людей. Он знал законы этой шахматной игры, где уживались героизм и бессмыслица: сам возвышался, летел вниз, снова карабкался по сужающейся лестнице и на излете карьеры остыл к некогда увлекавшей его борьбе. Для дела почти всегда было безразлично, какой человек поднимался на первую ступеньку карьеры: слабые все равно отсеивались, а крепкие росли вверх. Поэтому Рымкевич никогда не вмешивался в кадровые передвижения, отдавал инициативу начальникам шахт. Только однажды он указал Зимину на Халдеева, и Зимин, не поняв хода, взял к себе нового главного инженера. Халдеев был поставлен впрок, как запасной козырь. Если Рымкевича вдруг попрекнули бы отсталой и позорной шахтой, у него был бы ответ — предвидел, есть готовая замена.

Вообще-то передвижения и новые назначения он считал молодой глупостью и одобрял их тогда, когда вступали в силу неотразимые доводы болезни, смерти или некоторые исключительные обстоятельства.

Однако мудрое правило «все должно идти естественным образом» сейчас нарушалось. Кто был Морозов Рымкевичу? Один из сотен безвестных юношей, опрометчиво выучившийся на горного инженера, чтобы отдаться во власть суровых геологических стихий. Может быть, он вполне заурядный парень. Скорее всего, наивно порядочный, не боящийся спорить с начальником шахты, а тот злопамятен и ведет счет обидам своего самолюбия. Но до тридцати лет человек еще не успевает испачкаться в житейской грязи, он еще славный дурачок. О таком вот Иванушке-дурачке Рымкевич читает сказки своей внучке Вике. Пока Иванушка не занимает в сказочном царстве никакой должности, он симпатичный малый, а попробуй придумать, каким он сделался, когда женился на царевне и стал управлять царством? Об этом нету сказки. Откуда ей взяться? Рымкевич и Вика принялись сочинять, и вышло: что бы ни придумал Иванушка-царь, а когда приказ по руководящей цепочке дойдет до исполнителя, то никакого толку в себе не содержит. Многие молодые Иванушки ропщут, сами хотят испытать свои руководящие качества, а Иванушка-царь их держит в узде, чтобы не блажили. Тем временем жена-царица, соскучившись во дворце, наставляет супругу рога... Вика не поняла насчет рогов, но закричала полемически: «Ты, дед, не умеешь сказок придумывать! У тебя не сказка, а неправда!»

Что с нее взять? У деда уж в десятый раз трава на могиле вырастет, когда Вика, может, и согласится с его сказкой. А может, не надо? Пусть так. Она женщина. Ее надо уметь жалеть и прощать...

Вот Зимина некому пожалеть, от него веет горькой забитостью. Он был Рымкевичу как болезненный ребенок для матери. Старик вытянул его много лет назад, когда тот был одним из хороших мальчиков. Вроде Морозова. Или даже лучше. А кем Зимин стал? Кем?..

Такое же ждет Морозова, потому что чем выше, тем холоднее. Он будет дальше видеть, станет опытнее и, пока не погаснет жар честолюбия, не поймет, почему пропали друзья и почему родные дети выросли чужими. Но потом все поймет.

Тем не менее, представляя будущее Морозова, Рымкевич твердо знал, что лучшей жизни, чем нарисована в его воображении, не существует. Остальное — бессмысленно. Дети все равно вырастут, жена состарится, здорье уйдет... Лучшего выбора, увы, нет. Ведь почему под-

нимаются по сужающейся лестнице карьеры? Из-за власти? Из-за гордыни? Из-за денег?.. Неправда! Поднимаются, желая стать независимыми, готовые заплатить за это самым дорогим, что есть у человека, — молодостью. И платят.

Свобода! Свобода! Кого не обманывала она...

Рымкевич встал и, сказав Зимину: «Погоди, я сейчас», скрылся в комнате отдыха. Он почувствовал, что надо уйти, чтобы избавиться от страшного соблазна рассказать о том, как он погубил отца Морозова.

Оставшись один, Зимин расслабился, откинулся на спинку стула.

«Как же я его не раскусил? — удивленно подумал он о Константине Морозове. — Он неспроста сегодня подставил под мой удар Тимохина. Умный. Устранил конкурента моими руками. А я дурак. Самодур. Сразу издаю приказ... А вот и не выйдет! Все равно Тимохина в начальники предложу».

Зимин понял, что проведет ловкого молодого человека и спутает его расчеты. В отсутствие Рымкевича он забыл, что ему приказано подготовить документы для выдвижения Морозова. С ним такое бывало. Иногда он вдруг отключался и как будто взлетал.

Зимин бросил взгляд на угол стола, где лежала кипа газет. Он протянул к ним руку. Ему попалась местная газета, в ней была статья о рекордной добыче на шахте чужого треста. Красный карандаш Рымкевича раздавил бумагу под строкой, в которой стояла замечательная цифра. Сердце Зимина сильно погнало кровь к голове. Он не верил газете. Что угодно можно написать, любые гремящие цифры и беззаветные слова. Не проведешь!

«Почему мне не везет? — думал Зимин. — Я умею работать. Сила при мне. Людей чувствую. Мой Греков не хуже всяких рекордсменов. Дать ему все лучшее, народ подобрать, и выдаст потрясающую цифру. Но я делю несчастные резцы, как в голодовку... Удачи нет! Без удачи я пропаду, и никто не узнает, зачем был произведен на свет божий».

И Зимин стал мечтать. Вдруг Рымкевич согласится, что тоже можно попробовать что-нибудь замечательное? Где началась история рекорда? На шахте, которую прозвали «помойницей». Но потом там появился Стаханов.

Это очень кстати припомнилось Зимину. Он поглядел на дверь маленькой комнаты. Скорей бы выходил!

Когда Рымкевич появился в кабинете, он увидел, как на него бежит Зимин, тычет какой-то газетой.

— Валентин Алексеевич! — ликующе кричал Зимин. — Разве ваша работа не достойна Звезды Героя?!

— Ты еще здесь? — удивился Рымкевич. — Чего хочешь?

Он решил, что Зимин, уступив ему Морозова, намерен взять за это какую-то плату. Рымкевич уклонился от Зимина и стал за письменный стол.

Зимин на ходу повернулся, поднял над головой газету.

— Колет чужой рекорд! — сказал он энергично. — Но я не понимаю! Я ничего не понимаю! Они могут, а мы не можем? Ерунда! Мы тоже можем, Валентин Алексеевич!

— У тебя что-нибудь конкретное? — спросил Рымкевич.

— Я реалист, не подумайте наоборот. — И Зимин сказал о «помойнице». — Дайте мне возможность, я сделаю чудо.

Он взлетел и с высоты видел знамена и паграды, кинохронику и тысячетрубный военный оркестр. Есть на свете удача и счастье! Ради чего живем? Дорогие товарищи, я такой же простой шахтер, как и вы. У меня нет секретов, просто я всегда хотел узнать, ради чего живу? Я учился и рос, как все. Потом стал во главе участка. У меня красавица жена и здоровые дети. Есть квартира, есть уют в доме. Зачем, спрашивается, мне куда-то лезть? Но бросают меня на самую отстающую шахту. Вот где я отчаялся! А потом...

— Эх, Сергей Максимович! — сказал Рымкевич. — Не ты первый охотник, не ты последний. Думаешь, не помню, какие у тебя геологические условия? Сегодня давит, завтра жмет, а послезавтра заваливает. В газетах про тебя не напечатают. Разве что раскритикуют да предложат снять с работы... Оставь свои фантазии.

Зимин опустил голову. Не хотелось глядеть на Рымкевича. Нужно было уйти. Поганый старикашка даже слушать не пожелал! Так что дерзай, Зимин, сопи в носовые завертки, жди, когда придет в трест новый человек. На Зимина нашло чугунное равнодушие, каким у русского чиновного человека часто завершается встреча с начальством.

— Пойду, — сказал он.

— Обиделся? — воскликнул Рымкевич. — Ах ты боже мой... Ну что с тобой делать?



Сквозь игривую фальшь его тона слышалось смущение.

— Пора остепениться... Сколько я тебя знаю? Лет двенадцать... Нет, даже пятнадцать. Ого, пятнадцать! Понял? Пятнадцать лет! А ты все еще... Сергей Максимович, я тебя всегда поддержу, ты же знаешь. Много крови из-за тебя мне перепортили. Ведь тебя давно можно было определить куда-нибудь замом или в этом роде, а я не даю.

— Ну и дайте! — Зимин сверкнул глазами и настроился бежать прочь.

А Рымкевичу действительно было его жалко. Такое чувство родилось, наверное, оттого, что снова вспомнилась история Петра Григорьевича Морозова.

— Есть такие люди, которым никак нельзя идти впереди других, — вдруг произнес Рымкевич. — И себя и людей погубят. А ты тоже из этой окаянной породы!

Нет, не то он хотел сказать. Хотел предупредить беду, а не знал какую. Зимин стоял перед столом, и его лицо стало, точно у слабоумного, недоверчивое, злое и щемяще изумленное. Рымкевич махнул рукой: сгинь...

Перед войной семья Григория Петровича вернулась в Старобельск, но без Петра. Он работал радистом при угольном комбинате, уже учился заочно в радиоинституте, и его будущее зависело только от него самого. В нем была капля легкой оптимистической крови его покойного деда, могила которого к тому времени уже исчезла вместе с монастырем на берегу реки Айдар.

Петр беспечально простился с родными. Живые пространства радиоэфира, слышимые им с ранних лет отрочества, как будто внушили ему ощущение его особой предназначенности. Голоса невидимой земли: музыка, сводки о добытом угле, о полевых работах, слабая пульсация дальних станций — это прошло сквозь его сердце, рано отстранив Петра от людей. Он был идеальным технарем, если такое слово применимо к малообразованному талантливому юноше.

Впоследствии жизнь наставит ему синяков и шишек и научит замечать, чем живут остальные. А пока у него прекрасная пора. Он верит в себя. Его руки изъедены соляной кислотой и покрыты беловатыми ожогами от паяльника. По вечерам он создает из ламп, конденсаторов, катушек и сопротивлений, из этих холодных предметов — гворящее существо.

Константин представлял отца — высокого, худого, широкоплечего парня в синем кителе: вот он идет ночью по безлюдной улице, над поселком светит луна, блестят окна маленьких домов и фарфоровые чашечки на столбах, где-то поют девушки, пахнет дымком летней кухни, и, наверное, отцу становится без причины грустно; это сладкая молодая грусть — предощущение счастья, но все-таки он одинок. Иногда его потянет к гуляющим молодым шахтерам, и он пьет с ними самогон, потом все идут к девушкам. В нем просыпается нрав деда. Однажды отца и гуляющую с ним девушку, которой он рассказывает что-нибудь о радио, встречают в темном переулке несколько человек. Он не теряется, спокойно предупреждает: «Буду стрелять». Он встряхивает полупустым спичечным коробком, раздастся сухой щелчок, как будто крутанули барабан револьвера. И отца оставляют в покое. Девушка прижимается к его руке, и он чувствует ее сильную грудь... Должно быть, он был любим, рядом с ним шла удача. Константину всегда так казалось, когда он смотрел на довоенную фотокарточку. На ней был смеющийся парень в простой одежде, со значком отличника социалистического соревнования. Этот человек вовремя родился. Он знал, как нужно жить, и то, что он делал, было ему интересно. Петр сидит в центре группы молодых людей, а перед ними на столе лежит какой-то закрытый железный ящик, который, по видимому, является главным героем фотоснимка. У людей серьезные насупленные лица, отразившие скованность перед аппаратом. Они есть и как будто их даже нет, — только один Петр Морозов, или, как, возможно, его уже тогда стали величать, Петр Григорьевич. Он смеется. Через секунду он встанет, повернется спиной к фотографу и займется своими легкими талантливыми делами. Он еще не мужчина, а юноша, почти мальчик в ясном солнечном утре. Те, с насупленными бровями, знают жизнь гораздо больше.

Отец навсегда остался неприспособленным к будничным конфликтам и в первое же мгновение стремился спрятаться от них в любой интересной работе. Ему не приходило в голову, что он совершает предательство по отношению к своей семье.

Сначала Константин предполагал, что в неудачно сложившейся жизни отца виновата война; ему было стыдно думать по-другому, он уходил от правды почти бессознательно. Однако в действительности причина была иной,

Как случается с людьми его типа, Петр Морозов, доверившись своему дару, ко многому относился безответственно. Война-то задела его лишь косвенно. У него была броня, и он эвакуировался в Казахстан, в Карагандинский угольный бассейн, где работал механиком и потом начальником участка. Он просто отклонился от избранного пути, и эта жертва была настолько ничтожна по сравнению с увиденным после освобождения Донбасса, когда стали расчищать шахтные стволы, забитые человеческими трупами, что Петр Григорьевич никогда не говорил о ней. Он остался живым. Попади он на фронт, едва ли ему выпал бы шанс уцелеть. Это он с ужасом постиг, пройдя через тяжелую тоску эвакуации и вернувшись домой.

Ни в Караганде, ни здесь у Петра Григорьевича не было ничего крепко привязывающего его к жизни. Кроме работы,— так думал Константин. Из главных сил, природно действующих на человека: любви, страха смерти, чувства голода и потребности в высокой оценке ближних,— как предполагал Константин, на отца в ту пору действовала лишь потребность в уважении людей, ибо прежние романтические ориентиры были теперь утрачены им. Война жестко указала ему на единственно возможный для него, обыденный путь. Это был путь миллионов людей, живших на войне и около войны для своей основной задачи.

И внешне Петр Григорьевич был таким, каким были миллионы этих людей. Он оказался сильным и самоотверженным солдатом восстановления. К нему можно было отнести слова грамоты более чем двадцатилетней давности: «Неустрашимому бойцу Авангарда Пролетарской армии частей Особого Назначения».

Константину недавно случилось столкнуться лоб в лоб с шахтной аварией, и тогда образ затопленной, обрушенной шахты с мертвыми машинами и несгибаемыми людьми встал перед ним, и он на миг превратился в Петра Григорьевича Морозова.

Тяжело и в то же время просто — быть мужественным, когда ты солдат. Может быть, многое в судьбе Петра Григорьевича сошлось бы иначе, если бы ему встретилась женщина, подобная его матери Александре Павловне. Но он выбрал совсем другую.

Мать Константина была дочерью ответственного работника, главного инженера угольного комбината Виталия Ивановича Шестакова, действенного твердого человека,

преждевременно изношенного работой и застарелым страхом. Причину страха Константин узнал много лет спустя после смерти деда. Шестаков был сыном горного инженера, закончил гимназию и зимой девятнадцатого года был принудительно мобилизован в денкинскую добровольческую армию в чине прапорщика. Где он воевал и что при этом испытывал — теперь не узнать. Шел ли он с белыми частями в Киев, или прорывался к Царицыну на соединение с Колчаком, или двигался на Москву? Где бы ни был, но потом оказался в Новороссийске, откуда с простреленной шеей уплыл на переполненном пароходе в болгарский порт Варну. Из Варны Шестаков вернулся в Россию пешком. Сейчас уже невозможно представить, как Шестаков прошел этот путь. И так ли это было: в офицерской шинели со споротыми погонами, без документов, в грязных бинтах он шел, не боясь ни ареста, ни смерти? Константин не застал на белом свете деда по материнской линии и редко о нем думал. Из рассказов матери следовало, что Виталий Иванович скрыл свое белогвардейское прошлое, закончил Днепропетровский горный институт, где обрел несколько друзей, один из которых стал министром угольной промышленности страны, и потом работал на шахтах, часто переезжая с места на место. По-видимому, его угнетали страх и раскаяние. Чем выше он поднимался по службе, тем тяжелее ему было. И эта тяжесть легла на его дочь Полину. Из-за переездов она много раз попадала в новые детские компании, где оказывалась в жалкой роли гадкого утенка и, едва пробившись с последней ступеньки жестокой детской иерархии на предпоследнюю, была вынуждена снова менять школу и город. В результате у Полины не было ни друзей, ни родины, той маленькой родной территории, которую некогда именовали землей отцов. Она выросла красивой и опустошенной, как прямой колос с выжженными суховеем зернами. Напрасно было надеяться, что она способна защитить семью от невзгод.

Виталий Иванович вскоре после замужества дочери умер в Москве от рака легких, не дожив пяти месяцев до рождения внука Константина, которому он оставил туманную и печальную легенду о своей судьбе.

Константин унаследовал от него седловидный нос с горбинкой и тяжеловатые веки. Прожив почти тридцать лет, внук ни разу не почувствовал потребности представить себя на месте Виталия Ивановича, то есть даже не

представить, а оживить собою прошлое, вообразив себя на его месте, как он это делал, думая об отце и о деде по морозовской линии. Дед Шестаков ему не давался.

Наверное, Константин был первым в роду, попытавшимся определить свое место в долгой семейной цепи рождений, работ и смертей. Морозовский род был молодым: его традиции только-только сложились, и раньше ни у кого не было желания осмыслить прошлое, потому что прошлое еще не созрело, было только настоящее и будущее. И лишь в Константине Морозове несколько десятков лет неосознанной истории стали выкристаллизовываться в закономерность.

У Шестаковых, наоборот, традиция технической интеллигенции угасла вместе с последним представителем рода. Виталий Иванович, передав внуку две черты портретного сходства, как будто не оставил никакого другого наследства. Иногда в Константине проявлялась неожиданная необъяснимая усталость. Может быть, она пробилась от него...

Когда Петр Григорьевич Морозов женился на Полине Шестаковой, он был счастлив так, как может быть счастлив влюбленный. Другими словами, он был совершенно слеп. Полине едва исполнилось восемнадцать лет. Она была красива — высокий прямой лоб, серо-голубые веселые глаза, чувственный рот; о чем еще мог мечтать одинокий молодой мужчина, работавший в подземном мраке многими часами, а то двумя и тремя сутками подряд? Понятно, он не долго выбирал невесту. Да и не было в разрушенном городе большого выбора: одни невесты еще находились в эвакуации, другие не вернулись из Германии, откуда мало кто вернулся.

Полина была готова принять все взгляды мужа, прислониться к нему и прожить век под его рукой. Ее следовало вести за собой, стать твердым руководителем ее изломанного характера и простой души. Но случилось совсем не так. Петр Григорьевич добровольно уступил жене первенство в семье, как то бывает между мужчиной и женщиной, еще ничем не связанными, кроме любовных отношений.

С его стороны не было никакой борьбы. Он не намеревался управлять семейной машиной и повторял метод, уже испытанный его отцом Григорием Петровичем. Жена стала главной в семье.

Пока шла суровая работа восстановления, он не пы-

тался продолжить учебу в радиоинституте. Он отложил ее до лучших дней. Когда в числе сорока четырех тысяч человек Петра Григорьевича наградили скромной медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса», было кем-то подсчитано, что каждый из них работал за одиннадцать человек. Петр Григорьевич получил еще одну награду — орден. Его избрали парторгом шахты. Шахтеры его уважали, но, по-видимому, это было уважение к хорошему стойкому работнику, и не больше.

До рождения сына Петр Григорьевич по-прежнему принадлежал некоему целому, что представляло собой страну, войну и работу. Казалось, он постиг внутренний закон, который давал ему свободу и которому он добровольно подчинялся. В наследственной цепочке, переданной ему отцом, Григорием Петровичем, было бессмертное ощущение этого закона.

Первое воспоминание Константина относится к двухлетнему возрасту: он чем-то болен, болезнь почти миновала, и он сидит в кровати, входит большой человек в темно-синей шинели, кто-то говорит: «Петр приехал!» Еще он помнит вечер на вокзале, проходящие вагоны вызвали ужас... По тому, что было с ним потом, Константин предполагал, что эти смутные черно-белые образы относятся к первой серьезной ссоре матери с отцом, когда она забрала Константина и ушла. В дальнейшем они расходились и сходились часто и всегда страшно для Константина. Самые яркие воспоминания детства — это его мучения, когда он испытывал чувство вины перед родителями. Вот уже сколько лет прошло, а вспоминать больно...

Для матери оказалась непосильной роль хозяйки дома. Ей было одиноко. Отец по вечерам учился в индустриальном институте, она была целый день с малолетним Костей. Петр Григорьевич не замечал, как она уставала. Ее раздражение передавалось ему, оба не разговаривали друг с другом, могли молчать по нескольку дней. Обычно они мирились ночью — и утром радовали сына улыбками и разговором. Они представляли свою семейную жизнь праздничной вечеринкой в складчину, где, попирав, можно наглухо закрыть за собой дверь, не заботясь о том, кто за ней остался. Уходя рано утром на шахту, Петр Григорьевич весь день жил своей работой. Выходных он не имел; если уходил куда-либо в гости, то оставлял телефонный номер, по которому его можно было сразу вызвать. Он ис-

крепне считал, что никакой другой жизни быть не может ни для него, ни для жены.

А она, став матерью, видела в муже только любовника. Но в ней быстро проявился практический лукавый ум.

Внешне это была хорошая молодая семья...

Петр Григорьевич определился в горном деле и к радио не вернулся. Как ни странно, именно жена убедила его простым доводом: «Где работать радиоинженеру в Донбассе?» Она хотела, чтобы он стал большим ответственным работником.

Им выделили просторную двухкомнатную квартиру в старом восстановленном четырехэтажном доме. Коридор тянулся от входной двери метров на тридцать, а от него по левую сторону находились все помещения. Зимой Константин катался по коридору на маленьком велосипеде. На кухне стояли большая бесполезная печь и газовая плита. Окна выходили на огороженный высоким забором двор, в котором была кочегарка с черной трубой и по обе стороны — длинные выбеленные сараи. Раньше в них хранили уголь, но теперь они служили как погреба и кладовки. Весной одорукий комендант организовал воскресник, и Петр Григорьевич вместе с другими жильцами сажал клены. Летом во дворе соорудили фонтан с круглым водоемом, в центре которого поставили фигуру мальчика с рыбой в руках. (Сейчас, когда уже нет на свете ни Петра Григорьевича, ни многих других людей, бывших некогда в нынешнем возрасте Константина, клены все крепко стоят на месте посадки и будут, наверное, стоять и после смерти Константина.)

У нового дома была странная география. За двором шли огороды, где сажали картошку, помидоры, огурцы, лук. До центральной городской улицы отсюда было метров семьсот — восемьсот, но казалось, что дом стоит на самой окраине. За огородами начинались усадьбы поселка Семеновки, давно вошедшего в городские пределы и посылавшего своих мальчишек во главе с корейцем Муном в пабеги на восстановленный дом. Семеновские стреляли из рогаток, швыряли камнями и выкрикивали оскорбительные слова: «очкастые» и «профессура». А с Семеновкой враждовала Гладковка, соседний с ней поселок. Говорили, что там воюют с самопалами.

К тому времени, когда Константин пошел в школу, вражда сама собой заглохла. Огороды уже исчезли, на их месте появились высокие дома из белого силикатного кир-

пича. Город вытеснял Семеновку. На его окончательную победу понадобилось лет пятнадцать, но уже тогда над поселковыми садами и голубятнями нависла тень новостроек.

В доме жили горные инженеры. Почти все они выросли в шахтерских поселках, в маленьких домах с приусадебными участками, скрытыми за плетеным тыном и кустами смородины; теперь они трогательно гордились своим горожанством, и в детях прямо отражалось отцовское провинциальное честолюбие. Домашние разговоры взрослых, в которых постоянно упоминались зарплата, цены Сенного рынка, наличие в магазинах муки или сахара, часто сопровождалось кивком на жизнь соседей и, при этом многое незаметно запало в детское сознание, чтобы потом войти в мальчишескую игру. Константин не был привязан к заботам отца и матери, а если его брали в магазин, чтобы, отстояв тягучую очередь, получить лишний килограмм продуктов, то он не мог испытывать удовлетворения, потому что просто не понимал своей роли; как раз наоборот, он чувствовал насилие. И уж конечно ничего похожего на радости наблюдения за ростом какой-нибудь луковицы или постижения причин богатого медосбора, какие часто бывали у его отца, Константину не пришлось пережить. Он был горожанином второго поколения. У них во дворе родилась интересная забава, с которой, может быть, и пошло ясное представление о ценностях будущего, — дети вели строгий контроль родительским заслугам. То была непрекращаемая игра с единственной целью: доказать, что твой отец лучше других. Но как можно было доказать доброту, храбрость или ум? Все должны были казаться одинаково достойными людьми.

Сколько было мальчиков, столько же должно было быть хороших родителей, — но этот принцип убил бы игру, его отбросили. Требовалось единое измерение. Даже военные заслуги бывшего летчика Сагайдака, имевшего к тому же пистолет, или страшноватый протез однорукого коменданта Бровченко, которым он однажды огрел своего Вовку, не могли играть главной роли. Не все отцы воевали, а главное, война была в прошлом. Шла совсем другая жизнь.

Константин не помнит, чтобы кому-то пришло на ум высказать такие соображения. Нет, без споров и сумятицы все во дворе взвешивали своих отцов только сегодняшними заслугами. Это было просто: должность, зарплата, награды и т. д.



Петра Григорьевича сначала оценили очень высоко, он разделил первое и второе место в тщеславной игре. Его соперником был отец Шурки Комиссарова, который недавно перешел работать в научный институт и, как говорил Шурка, скоро должен был стать кандидатом наук. На весах долго стояло равновесие: большой заработок Морозова уравновешивала безопасная, чистая служба Комиссарова, ордена были у обоих, отсутствие инженерного диплома уравновешивалось партийной выборной работой... И тут Константин заявил, что несколько раз отец Шурки приходил к ним домой и просил, чтобы ему разрешили поговорить по телефону. Телефон хорошо лег на весы,— все согласилось, что Комиссаров проиграл... От стыда он убежал.

Испортило победу новое пальто Константина, перешитое матерью из женского. Оно было зеленого цвета, застегивалось на левую сторону и сохранило неизгладимые следы своей первоначальной предназначенности. При виде его уныние и робость охватили Константина, он не захотел выходить в нем во двор, чем обидел мать. В конце концов Константину пришлось надеть эту зеленую хламиду, и после у него было ощущение, что его провели голого на глазах всего двора. «Девичье!» — определил Шурка Комиссаров.

То, что отличалось от обычного, вызывало у мальчиков радостное щенячье желание преследовать и дразнить. Дразнили толстуху Свету Сагайдак, а ее брат Валерка заливался громче других. Дразнили Алика Трушкова за то, что его мать татарка. Стучали в дверь кочегарки, били стекла...

В детстве Константин дрался везде, куда бы ни попал в первый раз,— во дворе, в детском саду или в школе. В самый торжественный и полный радостной неизвестности день, когда мать привела его в школу и оставила там, Костя разбил нос второкласснику,— теперь не вспомнишь, за что? Одно можно сказать без ошибки: Константин боялся стать хуже других и работал кулаками, чтобы утвердить себя. Этот маленький индивидуалист неожиданно проявил характер, не побоявшись прослыть трусом. Как-то днем к матери зашла соседка по лестничной площадке тетя Зина Трушкова, тонкая черноволосая татарка, и, выйдя с матерью на балкон, она увидела, как внизу дерутся ее сын Алик и Валерка Сагайдак. Алик был щуплый, а Валерка чуть покрупнее. И, не долго думая, мать от-

правила Костю в помощь Алику. Он вышел из подъезда, с минуту смотрел на ребят, и Валерка с Аликом прекратили размахивать руками, ожидая его вмешательства. Но он молча вернулся домой. Его тут же обвинили в трусости. Он не понимал, почему он должен бить своего товарища Валерку? Костя спрятался от упреков матери в кладовку. Ему было больно и обидно за мать, и он из гордости ничего не объяснил. Наверное, тогда Константин впервые ощутил свое личное право выбирать...

Еще до школы отец взял его в шахту. Во время долгого спуска сын ждал, что клеть вот-вот оборвется. Вцепившись в руку отца, он едва не скулил от страха. Глубокая яма, в которую они летели, наводила на мысль о смерти; что могло быть ужаснее, чем вечное отсутствие на земле? Так ощущал Константин первое погружение в недра. Потом они вышли из клетки в таинственном сумраке рудничного двора. Было тихо. Стояли электровозы и вагонетки. Рядом журчала вода. Висевшие на стенах большие фонари светили ярко, но их свет рассеивался, как рассеивается ночью свет автомобильных фар. На земле, стенах и на сводах лежали скрещенные тени. Только один серый цвет был ясно различим. Лицо отца тоже серо глядело из-под козырька каски.

Петр Григорьевич, отцепив от электровоза вагонетки, повез Константина куда-то вдаль по наклонному штреку. Он управлял рукояткой реостата, не давая электровозу разогнаться, и они медленно проезжали мимо фонарей, насосных камер, мрачных ответвлений, в которых не светило ни огонька. Из-за стука колес нельзя было разговаривать. Петр Григорьевич поворачивался и смотрел, как сын преодолевает страх.

Может быть, в тот день Полина куда-то ушла из дома или не ночевала, что, к сожалению, несколько раз было в этой семье.

Как бывало иногда горько и бедственно! Петр Григорьевич ходил по комнате, молчал и смотрел в окно. Ему надо было ехать на шахту, и он не решался оставить Константина. Неделию назад соседский мальчик Валерка Сагайдак вынес из дома отцовский пистолет, и случайно в квартире Морозовых был смертельно ранен Шурка Комиссаров. Пуля пробила шею и одну из сонных артерий. Оцепеневшие ребята стояли над Шуркой, боясь позвать на помощь, и он истек кровью.

Нет, не мог Петр Григорьевич оставлять сына...

Можно было бы отвести Костю к сестре, которая, выйдя замуж за Анищенко, жила в этом же доме. Но Полина рассорилась со всей родней Петра Григорьевича и в горячке сообщила куда-то письмом, что муж Нади сотрудничал с немецкими оккупантами.

На самом же деле Анищенко не успел эвакуироваться и, чтобы прокормиться, был вынужден работать слесарем. Он утаил свое образование, не поступился совестью, он был порядочный человек, и впоследствии, когда Петр Григорьевич попал в беду, помог ему. Но в то время между двумя семьями связь оборвалась...

Наверное, в том, что Константин рано увидел шахту, участвовали эти три события: отсутствие матери, выстрел, письмо. Теперь Константину чудится, что в раннем подземном путешествии была особая цель: отец предчувствовал свою катастрофу, только она растянулась на много лет и продолжалась даже после его кончины. Петр Григорьевич показал сыну место бедствий.

Но тогда Костя вынес из своего путешествия по шахте нечто совсем другое, что позволило ему еще больше гордиться отцом.

Очень долго перед ним стоял образ уходящего во мрак могучего человека.

Отец был добрым бесстрашным гигантом, — это горькая легенда детства, впоследствии разрушенная самим же Петром Григорьевичем...

«18 восточная лава длиной 140 метров отрабатывает пласт в направлении от уклона до восточной границы шахтного поля. Отработка производится с оставлением надштрековых целиков размером 20 метров по восстанию. Выданные печи проходят через каждые 60—70 метров. Выше откаточного штрека проходят передовые просеки».

Серые страницы папиросной бумаги, плохо различимые слова, давно списанный в архив рапорт... Кто был там, на «восемнадцатом востоке» — кто из Морозовых? Почему Константину обжигали глаза эти сухие строчки допесения?

«Вентиляционный штрек проходится вслед за лавой. Над просеками и вентиляционным штреком выкладываются бытовые полосы.

Выемка угля производится комбайном. Доставка угля по лаве осуществляется изгибающимся конвейером... Для

монтажа комбайна в нижней части лавы проходится нижняя ниша буровзрывным способом.

Взрывание также осуществляется в верхнем уступе...

Вслед за выемкой угля комбайном производится передвижка конвейера и посадка кровли в лаве.

### *Категория и характер аварии*

Авария I категории. Характер аварии — взрыв и горение метана в выработанном пространстве.

### *Обстоятельства аварии*

Наряд на работу в третью смену в 18 восточной лаве проводил начальник участка тов. Морозов.

Содержание наряда: прорубить шпуры в нижней нише и верхнем уступе и после взрывания убрать уголь; произвести выемку угля комбайном 60 метров до верхней части лавы; передвинуть транспортер, закрепить лаву, спустить комбайн в нижнюю нишу и смонтировать; забутить нижнюю бутовую полосу и нагрузить 20 вагонов угля.

Рапорт обжигал Константина. Вот людям предстояла обычная и, конечно, тяжелая работа. Был вечер. Костя еще бегал с мальчишками во дворе, отец спускался в шахту с бригадой. И ни тогда, ни сейчас Константин ничего не мог предотвратить.

«Для выполнения наряда по выемке верхнего уступа были направлены бригадир рабочих очистного забоя (РОЗ) Коваленко и РОЗ Шагулямов.

Они пробурили в верхнем уступе, согласно паспорту буровзрывных работ, 9 шпуров, из которых 7 по нижней части пласта и 2 шпура по верхней печке».

Вот они крепко держат рвущееся из рук электросверло. Сыплются черные искры угля. Поблизости находится отец. А Костя, наверное, уже со двора пошел домой.

Константин видел, как отец выводит людей из лавы, где готовится взрывание, и потом, сняв с плеча интерферометр, проверяет состав атмосферы. В лаве жарко. Отец без куртки, в белой нательной рубаше с распахнутой грудью. Ниже бутовой полосы выделяется много метана.

«Для интенсивного проветривания бутовой полосы был поставлен парус из вентиляционной трубы для доведения содержания газа метана ниже бутовой полосы до требуемых норм по правилам безопасности».

Наверное, отец ворчит и торопит людей. Не дай бог, сегодня не сделают план.

«После замера газа метана мастер-взрывник тов. Сорочинский приступил к зарядке шпуров. Заряд — аммонал ПЖВ-20... В шпуры № 1, 2, 3, 4, 5, 6 было заложено по 0,3 кг и в шпуры № 7, 8, 9 по 0,6 кг. Электродетонаторы — ЭДЗПМ и ЭДКЗПМ... По окончании зарядки были произведены замеры газа метана в вышеуказанных точках.

Взрывание было произведено в 21 час 20 мин. В 21 час 35 мин. при проверке места взрывания было обнаружено, что ниже бутовой полосы горит метан.

Тов. Морозов командовал принести огнетушители и растянуть оросительный шланг от комбайна до места горения. В 21 час 35 мин. сообщено главному инженеру шахтоуправления тов. Рымкевичу В. А. о возникшей аварии. Тов. Рымкевич вызвал на шахту горноспасателей».

Петр Григорьевич действует спокойно, без страха. Самоспасатель висит вместе с курткой где-то на штреке, но пока можно обойтись без самоспасателя. Дорога минута. Надо сбить огонь, пока уголь не запылал как в печи... Константин по своему опыту знал, что в тот миг у отца не было ни прошлого, ни будущего и он не мог думать о постороннем.

«К моменту приезда ВГСЧ в 21 час 51 мин., — бесстрастно сообщал рапорт, — тов. Морозов сообщил, что пламенное горение метана ликвидировано. Для обследования участка было послано отделение оперативного взвода во главе с помкомандира взвода тов. Попковым. Обследовав участок, тов. Попков сообщил в 23 часа 10 мин., что никаких признаков горения метана не обнаружено и можно возобновить работы».

Попков представлялся Константину маленьким, коренастым, с кривым носом. Выслушав Петра Григорьевича, он не верит ни единому слову: мол, знаем, как вы проветривали, гнали небось как угорелые ради плана, черт бы вас подрал! Но помкомандира доволен. Кажется, пронесло. Производственники не растерялись. Попков ползает возле нижней бутовой полосы, припихивается, щупает землю, проверяет интерферометром воздух. Через три минуты его толстая защитная куртка становится черной от воды. «Не спеша на тот свет, хлопец», — советует он на прощание Петру Григорьевичу. «Теперь спокойно можешь дрыхнуть», — отвечает отец.

«В 0 час. 25 мин. было вновь обнаружено пламя в выработанном пространстве ниже бутовой полосы.

В 0 час. 30 мин. главный инженер тов. Рымкевич дал команду на вывод людей с участка и из шахты и повторно сообщил ВГСЧ об аварии».

Видно, горело так сильно, что уже было невозможно подступить к огню.

Как это назвать катастрофой? Пока это авария. Константин помнил, что семейная беда связывалась не с пожаром, а с главным инженером Рымкевичем, который почему-то недолюбливал Петра Григорьевича.

«В 5.10 было произведено обследование аварийного участка...»

Утром отец позвонил домой и сказал, что сегодня не придет. В течение пяти дней он был дома только один раз. Его глаза воспалились и отвыкли от дневного света, а брови и ресницы обгорели. На шестой день отец вернулся. Тогда-то, исчерпав все средства борьбы, полностью затопили водой весь восемнадцатый горизонт. В огне погиб один горноспасатель.

«Статистические данные: потери продукции — 7000 тонн угля, убытки — 700 тысяч рублей...»

#### *Заключение комиссии, расследовавшей аварию:*

Аналогичных аварий на данном участке ранее не было. Установить причину воспламенения метана не удалось.

Наиболее вероятные причины:

1. Выгорание ВВ (взрывчатого вещества).
2. Недостаточная внутренняя забойка шпуров.
3. Заводской дефект электродетонатора, что привело к образованию «жучка» и его вылету в раскаленном виде в выработанное пространство...

Исходя из вышеизложенного, комиссия считает наиболее вероятной причиной аварии заводской дефект электродетонатора...»

Петр Григорьевич невиновен, понял из рапорта Константин.

Катастрофа произошла уже после аварии, когда главный инженер Рымкевич на производственном совещании назвал Морозова «создателем безответственности, которая столь печально завершилась».

Чего хотел Рымкевич, еще никто не знал. Возможно, он сорвался в досаде на то, что передовой участок обречен на остановку? Именно так решил Петр Григорьевич и

ошибся. Рымкевич не унимался: объявив ему строгий выговор, стал добиваться новой комиссии.

Теперь уже нельзя узнать, почему он выживал Петра Григорьевича. Петра Григорьевича нет на свете. А Рымкевич живет в этом городе, работает в тресте, но ведь и он не признается.

Главное не в Рымкевиче. Пусть любые причины двигали им — зависть к Морозову, боязнь за свою карьеру, служебная ссора или патологическая ненависть... Что из того?

...Прочитав рапорт горноспасателей, Константин испытал тот же стыд, с каким много лет назад он уезжал из города.

При всей своей внутренней силе отец оказался нестойким. Он был слабее Рымкевича, потому что его нравственный закон пренебрегал защитой. А в защите нуждалась семья Петра Григорьевича.

И он ее предал из-за гордости. Он не думал, что отъезд похож на бегство и признание себя виновным.

Петр Григорьевич вернулся к своим родителям-пенсионерам в районный город Старобельск.

Он был конченный человек. Тогда еще никто не понимал этого.

В первое время Петр Григорьевич писал рассказы. Они были очень скучны, но в них действовали счастливые люди и не было зла.

Бабушка Александра Павловна первой почувала беду, когда после очередного редакционного отказа застала Петра Григорьевича со слезами на глазах.

От первого спуска Константина в шахту до переезда в Старобельск прошло около десяти лет.

Второй раз он попал под землю во время практики — то была щемящая встреча с детскими образами.

Став горным инженером, он быстро потерял счет своим мрачным путешествиям.

...Петр Григорьевич работал инженером в сельской строительной организации. Полина оставила его, уехала в Гуково и снова вышла замуж. Обоим шел пятый десяток, каждый из них был несчастлив и в душе признавал, что лучше, чем было, уже никогда не будет. Им понадобилось прожить вместе целую жизнь, чтобы убедиться в том, что они чужие люди.

Но кто имел право их судить? Константин?

Нынешним летом Павлович, товарищ Константина по клубу «Ихтиандр», за полминуты определил на счетной машине «Касио-биолатор» совместимость биологических ритмов Петра Григорьевича и Полины. Павлович не знал, что Морозов задумал рассчитать отца с матерью, и объявил результат со своей обычной развязностью:

— Совпадение физических ритмов — девяносто один процент, эмоциональное — семьдесят пять, интеллектуальное — три процента... При этом думать не обязательно.

Что ж, все было поразительно верно. Действительно, их брак держался только на чувственной основе, со временем стал невыносимой каторгой.

И вдруг Константину еделалось стыдно, как будто он увидел мать и отца в постели.

Он родился от их брака. Каким бы жалким ни был этот союз, с него нельзя было срывать покров тайны.

И он понял, что нет, никто теперь их не может судить, они принадлежат своей молодости, а не нашему времени.

Вот так, прожив почти три десятка лет, Константин вступил в пору мужества и первых глубоких раздумий...

Он был интеллигентом во втором поколении. Как и большинство его друзей, надеялся на быстрый успех и знал, по крайней мере теоретически, что нужно делать для успеха.

Но на шахте, где Морозов работал горным мастером, он увидел, что может добиться самостоятельности очень не скоро, лет через десять. В первый год он понял, почему отец возражал против шахты. Работа была дурно организована. Она требовала выносливости, упорства и минимума инженерных знаний. Морозов был разочарован.

Прошло лето, он взял отпуск и поехал со знакомыми в Крым. У них был акваланг, и они кочевали по побережью, заряжая от случая к случаю баллоны сжатым воздухом, но чаще приходилось и просто нырять в маске. Возле Нового Света они раскопали на дне обломки греческих амфор и привезли домой чемодан черепков. Они ощутили таинственное воздействие скрытого от людей подводного мира.

Отпуск закончился, Морозову пришлось вернуться к шахтерским делам и ждать следующего лета. Но теперь он глядел в будущее сквозь узкое горлышко древней амфоры! На уме была археология, затонувшие галеры, кла-



ды. Хозяин аквалапга, врач Павлович, отвез в киевский институт археологии черный чемодан с черепками и неожиданно получил приглашение участвовать в подводной археологической экспедиции. Павлович выделялся горячностью, буйным воображением и решительностью. (В нем текла кровь сербов — переселенцев, осевших в Донбассе в прошлом веке.) Наверное, он загипнотизировал научных сотрудников своими рассказами о сокровищах крымского шельфа. Через несколько месяцев археологи, однако, трезво решили не тратить денег, но порожденные их предложением иллюзии все еще разжигали воображение и молодое честолюбие, и Павлович с группой друзей, среди которых был Морозов, ступил на долгий и многотрудный самодельный путь. Так появился клуб подводных исследований «Ихтиандр».

Летом они выехали на западную окраину Крыма, на полуостров Тарханкут, отмеченный в морских лотциях крепкими осенними штормами. У них был старый компрессор и пять аквалапгов, добытых Павловичем в спортивном клубе медицинского института.

Но это была игра, и они быстро поняли, что у них нет настоящей цели. А какая была нужна цель? Почему их тянуло к неземным высотам?

Ответ должен был вобрать в себя многое — желание сменить обстановку или уйти от действительности, поиски приключений и острых ощущений, узы мужского товарищества, самопознание, самолюбие, сенсуализм, да разве мало причин, заставляющих человека делать именно этот шаг, а не какой-то другой и ведущих его либо к славе, либо к поражению?

В то время Павлович любил цитировать древних философов и говорил, что благо везде и повсюду зависит от двух условий: правильно определить цель и найти к ней дорогу. Он и предложил цель.

Они еще не были в состоянии соперничать с могучим поколением отцов и, как вода, обходя препятствия, устремились в неизведанное пространство.

## ▼

Константин поехал домой на троллейбусе и по дороге глядел в окно. За бетонным корпусом стадиона, напоминавшим верхушку огромной шахматной ладьи, над узким длинным прудом по пологой возвышенности поднимались

дома. Три лика как будто глядели с холма, три времени и три пространства сцеплялись между собой этими домами. Грубая прочность довоенных построек, величественный холод зданий пятидесятых годов, утилитарная простота современных домов — вот такими были черты города. Других не было.

«Может быть, и мы сами не слишком разнообразны, — подумал Морозов. — Тебя в лицо не подстеречь...»

Эта фраза выстрелила откуда-то из темных полей памяти и поразила его. Она некогда стояла в каком-то стихотворении, а стихотворение, наверное, было связано с Верой, с юностью, с чем-то ушедшим. Потому и выстрелила.

Он силился вспомнить: что за странные слова? **ТЕБЯ В ЛИЦО НЕ ПОДСТЕРЕЧЬ...**

...Константину восемнадцать лет, он одинок, мечтателен и находится в том состоянии, когда легко влюбляется. В институте учиться скучно. Дни тянутся медленно. Кажется, учебе не будет конца. Юношеская тоска охватывает Константина, и какой-то голос шепчет: «Бросай институт. Ты не такой, как все. У тебя своя дорога». Он сторонится товарищей. Их желания и развлечения кажутся вульгарными. И он отказывается от их вечеринок, от плодового вина и презрительно глядит, как быстро разгораются и гаснут любовные связи. Он отвечает товарищам, что все это ему знакомо, и ему верят. Ложь защищает его. Он крепок, почти каждый вечер занимается гантельной гимнастикой, но ложь защищает его лучше силы. Его считают опытным человеком. А он, как мальчишка, ищет встреч с Верой, звонит ей, ходит к университету.

«Тебя в лицо не подстеречь, оно то девичье, то сычье... Уродует косноязычье с нуждою скрещенную речь. Не Украина и не Русь, боюсь, Донбасс, тебя боюсь...»

Константин услышал это непонятное стихотворение на одном вечере, куда он пришел в надежде встретить Веру.

Морозов отмахивался от стихов, но они, вдруг вспомнившись, вертелись на языке. Он смотрел в окно троллейбуса на свой родной город, убогий и прекрасный, и думал о встрече с Верой. Он не представлял, какой будет встреча, и не рисовал себе ее. Морозов не знал, что с ней было за эти годы, замужем она или нет, однако это как раз его и не заботило: главное, он чувствовал, что непременно встретит ее.

Он вышел из троллейбуса. Неподалеку находился Ве-

рин дом, пятиэтажный, серого кирпича, с красной железной крышей, обычный в этом районе дом, с магазинами и кулинарией на первом этаже, с детским садиком во дворе,— Морозов вновь испытал давнее и чуть приглушенное ощущение тревоги. Это ощущение всегда сопутствовало его свиданиям.

Он вспомнил, как они целовались, как Вера хватала его за руку и отталкивала, шепча: «Не надо, не надо больше!» В ее словах звучала такая твердость, что они сразу отодвигались друг от друга, охваченные неприязнью, но вскоре снова целовались, и она убирала с его лица свои волосы, трогала его лоб, подбородок, нос и глаза, и у нее были нежные щекочущие пальцы. Раздавался телефонный звонок. Ее мать ледяным голосом говорила: «Костя, уже два часа ночи». Он клал трубку, а Вера собиралась, закалывала волосы и, когда он подходил к ней, испуганно говорила: «Опять я поздно... Она не спит. Завтра не будет со мной разговаривать. Мы бессовестные, правда?»

Но ей не хотелось уходить, ее голос выдавал это.

Морозов шел провожать. Редко кто попадался им навстречу. Проезжал троллейбус, увозя за собой пятно света. Уличные фонари отражались в темных окнах. Звук шагов разносился далеко. Пройдя три квартала, они долго и горько прощались у Вериного подъезда. «Я залезу к тебе в окно»,— говорил он. «Давай»,— играла она. «Я серьезно»,— добавлял он. Она целовала его и убегала.

Но однажды поздним январским вечером, скорее не вечером, а ночью, когда уже укладываются спать, а свет еще не гасят, дочитывая последние страницы или договаривая последние фразы, Морозов подошел к ее дому, подождал, оглядываясь и никого не видя вокруг, и забрался по пожарной лестнице на третий этаж. В кухне было темно. Он ступил на заснеженный карниз, держась левой рукой за боковину лестницы и осторожно продвигая правую ногу по узкому выступу, несколько секунд не решался оторваться от единственной надежной опоры. До Вериного окна было метра два. Там горела настольная лампа, от ее света поблескивал снег на карнизе. Константин был в ссоре с Верой. Ему казалось, что если она сейчас увидит его, то все уладится. Он добрался до окна. Вера сидела на постели и застегивала ворот ночной рубашки. Сквозь розоватый батист просвечивали, темнея, груди. Держась за планку оконной рамы, Константин осторожно стукнул в стекло. Сейчас Вера поднимет голову, узнает его, улыбнет-

ся... Вера вскрикнула от неожиданности. Она узнала его, прижала руки к горлу. Через несколько секунд, воскликнув «Дурак!», выскочила из комнаты.

Константин обиделся, но, не желая вдобавок ко всему попасться на глаза ее матери, заторопился вниз.

Вот что вспомнилось Морозову возле этого дома.

Они познакомились в маленьком городе Старобельске, куда родители Морозова уехали после аварии на шахте.

Старобельск стоял на реке Айдаре и был тихим районным центром с песчаными улицами, частными домами, садами и огородами. Здесь не было ни шахт, ни заводов, а жители были обыкновенными мещанами, но не в современном, а в первичном смысле этого слова, то есть обитателями местечка.

Отец, мать и бабушка Морозова, оглушенные несчастьем, не обращали на Константина внимания. Дед же Григорий редко бывал в своем печальном доме. Он уже вышел на пенсию, но был избран председателем ревизионной комиссии на общественных началах, его время от времени звали проверять деятельность магазинов райпотребсоюза. Больше всего дед занимался пасекой, состоявшей из двенадцати больших ульев, и жил на ней, в просторном курене, километрах в двадцати от Старобельска.

Константин был свободен. Ему уже исполнилось шестнадцать лет, он брился один раз в неделю и считал себя взрослым.

Когда тридцатилетний мужчина вспоминает юность, ему обычно кажется, что он был счастлив и глуп. Настоящее сильно искажает прошлое, и, может быть, поэтому прошлое все время изменяется и живет.

На самом же деле Константин не был ни глупым, ни счастливым. Он понимал, что отец уже никогда не поднимется, что механизм прежней жизни разбит, а новый еще не налажен.

Выходило так, что на близких Константин теперь не мог рассчитывать, а главное, того ощущения родины, той маленькой личной родины, которая питает человека, у него нет. Разве хуторской куриный Старобельск мог за-

менить родной город! Не мог. Не о чем тут было рассуждать.

Константин мечтал закончить здешнюю школу и сразу уезжать обратно, чтобы учиться в институте.

Тогда он и познакомился с Верой.

Она сидела на берегу Айдара, метров за сто от лагуны, где обычно купались ребята и дачники. На противоположной стороне реки поднимались вверх меловые обрывы с оврагами, заросшими колючими кустами. Узкая прибрежная полоса была завалена меловыми камнями.

Вера сидела на купальной простыне и читала книгу. Константин захотел разглядеть ее ближе, подошел и остановился, как будто разглядывая другой берег. Вера не замечала его, и он, рассмотрев ее, вернулся к товарищам.

— Ну как, хорошенькая? — спросили его.

— Так себе, — сказал он пренебрежительно.

Он с ней познакомился, а она еще не знала об этом, приходила на свое место каждый день, купалась и читала свою книгу.

Вера была не так себе, она была красивая. Константин это понял позже, когда влюбился. Тогда же она была просто темно-русая девушка с пропорциональными чертами лица, по-видимому, высокомерная и гордая, потому что сторонилась всех. Не перемолвившись с ней ни словом, он осуждал ее за то, что она сидит вдали от всех и читает единственную на всем берегу книгу. Однако этим-то она и привлекала. Слова, взгляды, движения ее тела, в котором уже было что-то от взрослой женщины, это он увидит потом, а прежде всего была одинокая девушка в голубом купальнике, сидевшая с книгой на зеленом лугу.

— Девушка, вы приезжая? — спросил Константин.

— А вы, очевидно, местный, — ответила Вера.

«Местный» прозвучало как «дикий»... Он не знал, что нужно дальше говорить.

— У меня тут дед с бабкой.

— У меня тоже, — сказала она и наклонилась над книжкой.

Константин стоял, думал, что бы еще спросить? И почувствовал, что не настроен разговаривать в том пошлом нахальном тоне, который был принят у его товарищей.

«Ну и балда же я!» — решил Константин, разбежался и прыгнул в воду.

В тот день он к Vere больше не подходил. Его тянуло

поглядеть, что она делает и не смотрит ли на него, но он не глядел.

Его компания, братья Шевчуки и тайно враждовавший с ними Валерка Петров, играла в догонялки. Они брызгались в воде, гоготали и ловко ныряли. Порой на брызгах вспыхивал радужный мостик. При случае Петров шутя придерживал под водой кого-нибудь из братьев, они же потом объединялись и топили Петрова. В любую минуту могло дойти до потасовки, однако затем, наверное, стало бы скучно, и поэтому все обходилось мирно. Их вражда была вызвана соперничеством родителей. И Шевчуки и Петровы жили в одном большом, разделенном на две части кирпичном доме. Шевчуки въехали недавно, а Петровы, надеявшиеся расширить свое жилье за счет долго пустовавшей соседской половины, своего не добились, и новые соседи им не понравились.

Братья были скромными, простодушными ребятами. Сперва они не понимали подковырок Валерки Петрова. Тот спрашивал у них:

— Правда, Алан, вам из колхозов продукты бесплатно привозят?

Старший, Алан, страшно стеснялся своего имени, составленного из первых слогов родительских имен — Александра и Анны. Петров живо понял это. Но, спрашивая о продуктах, он к тому же намекал на нечестность Александра Васильевича Шевчука.

Потом у Петрова случилась трагедия: Александр Васильевич пришел к ним домой и показал какие-то квитанции, а Иван Антонович Петров сконфузился, покраснел и стал извиняться и ругать сына. Валерка был выпорот в присутствии гостя, и его возмущенный вопль слышали во дворе.

После этого Валерка держал язык за зубами и не вдавался в тонкости жизни, о которых он узнавал от своего сурового папаша.

Константин был для соседей новым человеком, они хотели с ним подружиться. Совсем неожиданно он сделался главным в этой компании.

Они лежали на прибрежной траве. Алан (его называли Аликком) глядел носом в песчаную прогалину и разгребал ладонью песок. Ему попалась медная монета, такая старая, что нельзя было разобрать надпись. С одного края она стерлась, словно ее прикладывали к точилу. Петров

выхватил монету, побежал к воде и стал тереть мокрым песком. Вся компания смотрела на него.

Потом Петров показал монету Константину и сказал: — Старинная. Тысяча семьсот третий год.

Алан протянул было руку, но медная монета попала к Морозову.

К тому времени Вера уже ушла. Солнце наклонялось на западную сторону, к белому крутому берегу. Константин засобирался домой, а за ним и остальные. Быстро оделись, сели на велосипеды и поехали. Братья, ехавшие на одном велосипеде, отставали. Константин обогнал Петрова и вырвался вперед. Широкая тропа вела через огороды. Цвели высокие подсолнухи.

Увидев Веру, Константин затормозил. Она шла босиком, в одной руке была пластиковая сумка, а в другой сандалии. К загорелым ногам прилип песок и травинки.

Он медленно подъехал к ней, и она оглянулась.

— Подвезти? — спросил он прежним нахальным тоном.

Она бросила взгляд на Шевчуков и Петрова, которые были близко и улыбались дурацкими улыбками.

— Они ничего тебе не сделают, — сказал Константин, — это местные ребята.

— А я вас не боюсь.

Они стояли друг против друга. Между ног Константина был велосипед, одна нога стояла на педали. Вера упорно смотрела на него, ждала, когда приставала уедет.

Ребята медленно прокатили мимо, оглядели Веру и остановились шагах в десяти. Петров и Алан были в той же позе, что и Морозов, а младший Вовка топтался рядом с братом. Они таращились на Веру по-прежнему.

Константин сделал вид, что не замечает приятелей. Он был бы рад уехать с ними, бросить эту девчонку, но ему было стыдно проявить слабость.

— Костя! — крикнул Петров. — Что ты там?

Морозов махнул рукой: мол, проваливайте, ради бога!

Ребята постояли и поехали.

Вера насмешливо приподняла уголки рта, ничего не сказала и пошла дальше.

Константин покатил велосипед следом за ней. Он думал: «Вот я дурак, она смеется надо мной, и ребята будут смеяться».

И, думая так, шагал за Верой, пока она не обернулась.

— Ты еще здесь? Послушай, это же смешно! Я не хочу с тобой знакомиться.

Она снова остановилась. Тропа была пустынна, и терпко пахло молодыми подсолнухами.

А что было дальше, Морозов не помнит. Проводил ли Веру до ее дома, то ли вспыхнул и уехал, но с тех пор начались их встречи.

В памяти осталась монета, принадлежавшая, может быть, казаку-булавинцу, гулявшему по Айдару со своим атаманом. И монета, и рассказ о Булавине, и объяснение слова Айдар (по-татарски «передовой всадник»), и то, что Старобельск лежит на земле половецкого Поля,— все эти случайные знания вдруг связались у Константина в некую поэму, которую Вера однажды выслушала.

Она не перебивала его. Ее молчание было признаком либо незнания, либо поощрения. Ее темпо-голубые глаза уже смотрели на него с любопытством, как будто она спрашивала: «Что же будет дальше?»

## VI

Вечером к Морозову должна была прийти Людмила, но он позвонил в отделение «Интуриста», где она работала переводчицей, и сказал ей, что весь вечер будет занят. Конечно, Людмила спросила, чем же он будет занят весь вечер, и выделила эти слова — весь вечер. «Ерундой, ты не поймешь,— ответил Константин.— Буду сидеть и думать».

Людмила вроде поняла и, помолчав в трубку, засмеялась: «А замуж за тебя все равно не пойду!» Порой на нее налетал кураж, она подчеркивала свое свободное положение и гордилась своей современностью. Впрочем, о женитьбе Морозов никогда не заикался, а Людмила иногда задирала его — была у нее подобная шутка. Рано или поздно они должны были расстаться, и Морозову было тяжело об этом думать, потому что он знал, что он с самого начала поступал с ней неблагородно. Насчет благородства или неблагородства Морозов судил по каким-то отвлеченным нормам, а современная жизнь несла в себе совсем иные, которым он и следовал.

Людмила была университетской подругой Веры, собственно, даже не подругой, так как душевной близости между ними не могло быть из-за разности характеров и взглядов; а была между ними близость людей одного круга, та,



которая позволяет и не принимая человека всерьез, внешне поддерживать с ним очень дружеские отношения.

Людмила была крупная, длинноногая блондинка, на нее оглядывались мужчины, и ей это приходилось по душе. Если ей кто-нибудь нравился, то она дурманила этому человеку голову, прибегая к самым обыкновенным женским уловкам: улыбалась, вздыхала, невзначай касалась его руки — словом, оригинальности в ней было мало, но при всем при том, не будучи красавицей, она слыла неотразимой и, не обладая особенными способностями, считалась поразительно глубокой.

Надо добавить, что подруги таковой ее не считали и относились к ней снисходительно, не понимая, что можно найти в этой слишком крупной фигуре, в широкоскулом лице с пористой суховатой кожей, в широко поставленных неярких серых глазах. Но подруги Людмилы, и Вера среди них первая, увлекались своими фанемами, морфемами и прочими премудростями чужестранного языка, состязались друг с другом в интеллекте, а их представления о любви не шли дальше поцелуев и разговоров о новом фильме.

Намного раньше своих подруг Людмила ощутила себя женщиной. Непостижимым образом они чувствовали, как она отличается от них, что, если она захочет, их юношеские кавалеры сойдут с ума от любви к ней.

Когда Морозов ждал Веру после лекций возле университетского корпуса № 5, он искал ее взглядом в каждой девичьей фигуре, показывавшейся на голом широком крыльце, и, не находя, начинал ждать снова, но с появлением Людмилы он не отводил от нее глаз. Как она шла!

Потом, через несколько лет, когда эта женщина стала ему близкой, он понял, каким чудом он обладает. Выше любви ничего для нее не существовало. Людмила знала, что в ней заключена какая-то загадка. Морозов влюбленно спрашивал ее: «Почему ты такая?» — она принимала это за игру. Но затем стыдливо (ее стыдливость была неожиданна) сказала однажды, что у Тютчева есть необыкновенное стихотворение, и сразу прочитала его:

Люблю глаза твои, мой друг,  
С игрой их пламенно-чудесной,  
Когда их приподымешь вдруг  
И, словно молнией небесной,  
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованья:  
Глаза, потушенные ниц  
В минуты страстного лобзанья,  
И сквозь опущенных ресниц  
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Прочитав, беззащитно посмотрела на Морозова, словно выдав ему большую тайну, боялась осуждения.

И на самом деле, она завидовала сдержанным, спокойным своим подружкам. А они, должно быть, завидовали Людмиле.

Все это было в первой половине шестидесятых годов и как быстро прошло! И нет уже ни той странной девичьей группы, разъехались и вышли замуж строгие любительницы Блейка и Китса, и уже некому осуждать Людмилу — грустно знать, что юность миновала...

Прошлым летом Морозов последний раз поехал в лагерь подводных исследований на Черное море, и там был у него роман с восемнадцатилетней студенткой из университета, она тоже учила английский, читала Китса; и много вспомнилось Морозову в той веселой девочке, любившей ранним утром прыгать со скакалкой на берегу, когда все делали традиционную гимнастику. Она жила в лагере всего неделю, Морозов успел влюбиться и охладеть. Студентка говорила, что сейчас в мире происходит сексуальная революция и что она революционерка. И она почему-то стала скучна Морозову... Морозов понял, как были прекрасны целомудренные (мучительно-чопорные, как ему прежде казалось) его отношения с Верой.

Но так мы устроены, что часто делаем то, что не считаем нужным, и не живем так, как хотели бы жить; вернувшись домой, Морозов сошелся с Людмилой.

Он обрел некий суррогат воспоминаний, раскаяния и сожаления, которым легко заполнилась пустота в его душе. К осени стало ясно, что долголетние надежды на легализацию подводных исследований окончательно развеяны. «Ихтиандр» раскололся на группировки. Один за другим последовали отказы из Киева, Москвы и Симферополя, в которых говорилось, что «ученый совет такого-то НИИ считает в настоящее время нецелесообразным формировать новую лабораторию на базе любительского клуба подводных исследований». Это было непостижимо. За «Ихтиандром» стояла слава первых в стране акванавтов, три подводных дома, построенные на энтузиазме, несколько экспериментов, выполненных по просьбе академических ин-

ституты, которые теперь отказались его принять всерьез... И вместе с тем это было закономерно: исследование океана стало государственной задачей, ушли под воду специальные лаборатории «Черномор», а пора любительского энтузиазма закончилась.

Для Морозова связь с Людмилой означала то же самое: пора энтузиазма закончилась. Надо было жениться, завести детей и устраивать свою жизнь, как это делают все люди, видя в этом свое главное назначение. Но Морозову хотелось жить по-другому...

В тот вечер ему не удалось остаться в одиночестве. Позвонил корреспондент местной газеты Дятлов, всегда много писавший об «Ихтиандре», и попросил приехать в редакцию.

— Нет, не могу,— сказал Морозов.— Я больше не занимаюсь подводными делами, а кроме этого, тебя ничто не интересует.

— Мое дело не касается «Ихтиандра». Приезжай!

— Давай по телефону. У меня ужасное настроение. Боюсь, что из меня ты ничего не вытянешь...

— По телефону нельзя,— сказал корреспондент.

— Тогда как хочешь. Пока,— Морозов опустил трубку.

Он не отошел от телефона, потому что звонок должен был непременно повториться. Через полминуты Морозов действительно снова разговаривал с Дятловым.

— У тебя женщина?

— Да,— ответил Морозов.— Самая прекрасная на свете, тебе такая не снилась.

— Хорошо,— вздохнул Дятлов.— Я понял. Пока...

Морозова не интересовало, чего добивался от него корреспондент. Дятлов цеплялся за крохотные шансы сохранить клуб, но клуб был ему безразличен. Он был просто ловким газетным репортером, а «Ихтиандр» пробил ему путь в московские газеты и журналы, сделал автором киносценария и сулил, пожалуй, еще немало профессиональных успехов, если бы развивался дальше.

Морозов выдвинул ящик письменного стола, вытащил фотографическую карточку Веры и стал смотреть.

Ему всегда казалось, что Вера находится где-то рядом и что они еще непременно встретятся. Когда он находил в газете или журнале строку со своей фамилией, он вспоминал Веру. Он ждал, что она вернется, но с каждым годом ее образ растворялся в теплом сером свете, словно отодвигался в какие-то сумерки.

На фотографическом снимке Вере было восемнадцать лет. Она стояла на берегу Айдара.

Морозов взгляделся в ее лицо, в темные и белые пятна общего рисунка, за которыми угадывались живые черты юной гордой девушки. У нее был высокий лоб и припухлые скулы — верные признаки давнего смешения славянской и татарской крови; ясные веселые глаза и приподнятые летящие брови говорили о сильной и таинственной натуре... Наверное, на реке был ветер, растрепал волосы, облил сарафаном ноги и маленькую грудь, и поэтому снимок дышал каким-то очарованием свежести.

Сегодняшняя Вера с ее озабоченным женским выражением была другим человеком. Морозову стало горько, и он медленно разорвал фотографию пополам и, ощутив в тот же миг раскаяние, бросил на стол обе половинки снимка и встал из-за стола.

Он не хотел подчиняться воспоминаниям. Все еще было живым, гораздо живее его нынешнего существования. «Да-да! Живее!» — воскликнул про себя Морозов, словно с кем-то спорил. А с кем он мог спорить?

...В эту же минуту Костя шел вместе с Верой по песчанистой и зеленой улице Гаршина. Здесь стояли старые дома красного кирпича. Дворы скрывались за заборами и высокими зарослями черной смородины, выбивавшейся сквозь просветы в штaketнике. Вдоль улицы прорыли траншею для газовой магистрали. Возле домов лежали просмоленные железные трубы.

Прежде эта улица называлась Богучарской и давным-давно здесь жил русский писатель Всеволод Гаршин.

— Знаешь, почему Богучарская? — спрашивал Костя Веру. — Богу — чару. Поняла?

Он улыбался. Он знал Старобельск с раннего детства, а Вера проводила в городке первое лето. И, еще не подозревая о связях прошлого с будущим, еще ничего не зная о себе, Костя делился с Верой чужой жизнью, которую он видел, слышал и случайно знал. Больше ему нечем было делиться.

— Богу — чару? — переспрашивала Вера. — Значит, очаровывать бога?

— Очаровывать бога? — говорил Костя. — Нет! Подносить богу чару, вот что... А ее мог подносить лишь тот, у кого чистая совесть. Теперь поняла?

Ему было радостно и объяснять, и глядеть на нее, в ее

доверчивые ясные глаза, и слушать ее голос, и видеть, что ей с ним интересно.

Они искали дом писателя и не знали, для чего его ищут. Они договорились встретиться после обеда, когда жара начнет спадать, а без причины им встречаться было еще неудобно, вот и решили пойти на улицу Гаршина. То, что было им известно о писателе, соответствовало их состоянию смутных счастливых надежд. Гаршин был свободен и прекрасен. Костя и Вера быстро сделали из него идола, некоего тайного кумира, который объединял их. Они придумали свою легенду: жил в уездном Старобельске — уехал искать счастья в Петербург — учился в Горном институте — началась война с Турцией за освобождение болгарского народа, и ушел добровольцем на войну — написал несколько рассказов, Тургенев назвал его «надеждой русской литературы» — заболел тоской и покончил с собой.

Легенда напоминала портрет, выложенный детской рукой из пяти-шести камешков и при горячем воображении принимаемый именно за портрет, а не за какое-нибудь другое сооружение. Свобода, самоотверженность, успех, желание остаться самим собой и загадочная смерть — вот что почувствовали Костя и Вера в этой судьбе.

В доме Гаршина, одноэтажном длинном особняке, помещался интернат для глухонемых детей. На побеленной кирпичной стене блестела под стеклом табличка, сообщающая о характере этого невеселого учреждения. Во дворе висело на трех длинных веревках одинаковое детское белье. Несколько дощатых сараев и каменная уборная с целевидным окном стояли в глубине, а перед ними расстилалась утоптанная земляная площадка.

— Может, не здесь? — спросила Вера. — Нет мемориальной доски...

— Здесь, — ответил Костя. — Я знаю.

Они поднялись на деревянное крыльцо и попали в темный коридор, где пахло сырým деревом. Справа и слева на одном и том же расстоянии были двери, которые вели, должно быть, в классные комнаты. Впереди светлело окно. Стараясь не шуметь, Костя и Вера пошли вперед и в углу увидели старую печь, выложенную синими изразцами с желтым растительным орнаментом.

— С тех времен сохранилась, — сказал Костя.

— Как грустно! — сказала Вера. — Жил человек, и ничего не осталось.

— Но ведь сколько прошло! И революция, и войны, —

задумчиво произнес он, и вдруг его мысли сбило с наезженной колеи, в которую он привык укладывать события, он ощутил какую-то бесконечную пропасть жизни, которую объяснить было бессмысленно.— Как грустно! — повторил Костя слова Веры.— Как это могло случиться?

И они покинули этот дом, никого в нем не встретив. Молча шли по улице, испытывали странную вину друг перед другом.

Вера строго смотрела куда-то вдаль. Ее лицо было холодным и страстно-замкнутым.

Они дошли до окраины парка, миновали деревянную калитку. Отсюда было рукой подать до реки. Вода блестела сквозь деревья.

— Покатаемся на лодке? — спросил Костя.

Она не ответила, опущенные уголки ее рта приподнялись и снова опустились. Вера недоуменно поглядела на него, словно не понимала, что скрыто в его вопросе.

— Хочешь на лодке? — улыбнулся он.

— Зачем? — сказала она и нехотя согласилась: — Ну идем...

Ее тон как будто говорил: «Я не знаю, как защититься от твоей пошлости, ведь это пошло — найти дом Гаршина, а потом кататься на лодке...»

Он ее не понял тогда.

Вдоль мостков покачивались на мелкой воде голубые фанерные лодки. Молоденький солдатик с черными погонами артиллериста нес весла и уключины, а рядом с ним шла грудастая девица, расстегивая на ходу платье, под которым показался красный купальник. Непонятно почему, вид и солдатика и девицы был неприличен. Вера тихо сказала:

— Бесстыжая.

Костя задержал взгляд на бесстыжей, и что-то нестерпимо острое полоснуло в груди. Она спустилась в лодку, покачнулась и, схватившись одной рукой за борт, ловко села на скамейку, слегка расставив голые ноги.

Костя отвел глаза. Он подал в кассу тридцать копеек и попросил лодку на один час.

— Паспорт есть? Нужен залог, — сказал голос из кассы.

— Нет у меня паспорта, — ответил он.

— Без залога не имею права, — вымолвил кассир и отодвинул монеты.

Костя стал расстегивать ремешок на часах. Вера наклонилась к нему и сказала:

— Не надо кататься. Мне расхотелось.

— А-а,— протянул Костя.— Не надо так не надо!

— Нельзя, чтобы ничего не оставалось! — неожиданно сказала Вера.— Идем и напишем на стене: «Здесь жил Гаршин». Идем, Костя, а то будет нехорошо.

Она просительно улыбнулась, ее глаза снова были ясными и доверчивыми.

— Почему «нехорошо»? — буркнул Костя.

Вера взяла его за руку и потащила за собой.

Они бежали по парку, увлеченные новым замыслом, и больше не испытывали вины друг перед другом.

Вера была радостно возбуждена, а Костя, честно говоря, как-то позабыл про писателя и только радовался Вере.

— Цветы! — воскликнула она.— Мы должны положить цветы!

— Ночью где-нибудь украдем! — отозвался он.

— Подожди,— Вера остановилась.— Надо обязательно купить. Как ты не понимаешь?

— Какая разница? Базар уже закрылся, да и денег у нас нету,— простодушно сказал Костя.

Вера посмотрела на него долгим взглядом и освободила свою руку.

— Жалко, что без цветов,— вздохнула она.

Они дошли до интерната, взяли возле дощатых сараев кусок угля, и Костя вывел по фасаду метровыми буквами: «Здесь жил Гаршин».

— Плохо видно,— сказала Вера.

— Нормально видно,— ответил он.— Все равно дождем смоеет.

— Эх ты, реалист! — с досадой вымолвила она.— Так все рассуждают. Зачем мемориальную доску вешать, если от нее никакой пользы? Зачем цветы покупать, если все равно завянут? Зачем любить, если разлюбишь? Ты тоже такой?

— Такой,— кивнул Костя.— Именно такой!

— Не обижайся,— сказала Вера.— Мы еще не знаем друг друга. Наверное, ты хороший... Ты ведь будешь хорошим, правда?

— Я такой, как все.

— Нет, скажи, что ты будешь хорошим,— попросила она.

Казалось, она пыталась заглянуть в будущее, и, как ни удивительно, тогда это было возможным.

Костя почувствовал, что ей почему-то важно, чтобы он

ответил ей. Должно быть, с ее стороны это была игра и не игра, обычный разговор и желание понять Костю; ее просьба несла в себе мысль о будущем их обоих.

— Я самый плохой,— сказал Костя, глядя на свои испачканные углем и мелом руки.— А вот ты другая.

Она засмеялась, откинула голову и посмотрела вверх. Он тоже посмотрел. Небо было синее.

— Ты о чем подумала? — спросил он.

— Я скоро уезжаю. Мне не хочется уезжать.

— И не надо уезжать! — горячо сказал Костя.— Ты еще не знаешь, какой это прекрасный город. Здесь речка, воздух... Поедем к деду на пасеку, у меня дед — герой гражданской войны.— Он усмехнулся и махнул рукой.— А в общем, что это я?.. Уездный городок...

— Мне правда не хочется уезжать,— сказала Вера.

Они вдруг удивленно посмотрели друг на друга, не понимая, что произошло, и чувствуя, что что-то произошло.

— Не уезжай,— твердо повторил он.

— Я еще буду целую неделю,— сказала Вера.— А потом ты вернешься домой и позвонишь мне. А я буду ждать твоего звонка.

Произошло то, что теперь их уже связывало будущее, даже не связывало, а могло связать, но то, как они ощутили это, было тайной.

В тот миг Костя не вспомнил о печальных делах своей семьи, он оторвался от нее и был свободен.

«Мы не будем расставаться? — наверное, так говорили слова Веры.— Только ты и я на всем белом свете...»

Однако он не должен был забываться и, вспомнив все, ощутил ноющую боль в душе. Это был страх потери, впервые осознаваемый Костей.

— Я не вернусь, мы останемся здесь жить,— сказал он.

— Зачем? Жить в этом городишке? — удивилась Вера.

«А как же я?» — понял ее Костя.

— Не всем жить в больших городах,— ответил он.— Все мы уездные жители...

— Почему уездные?

— Ну районные, какая разница?

— Но я приеду в Старобельск только через год! — с упреком сказала Вера.— Почему ты раньше не сказал, что вы остаетесь?

— Сказал бы — ну и что?

— У вас несчастье? — вдруг догадалась Вера.

— Нет,— покачал головой Костя.— С чего ты взяла?



Просто отец решил, что мы переезжаем к его родителям.

Уголки ее рта опустились, она холодно поглядела на Костю.

Тогда он еще не знал ее странную особенность угадывать болезненные человеческие состояния; впоследствии он убедился в этом — она чувствовала любое отклонение от нормы. Однако удивительным было все же другое, то, что у нее самой было строгое представление об этой норме и она следовала ему тем тверже, чем сильнее убеждалась, что для большинства современных людей такая жизнь давно сделалась неприемлемой.

Вера посмотрела на черную надпись на стене интерната и сказала:

— Все это детская забава... Правда, Костя?

— Может, и забава,— неопределенно ответил он.— Прихоть скупающей на отдыхе девчонки... Ты это имела в виду?

— Нет, это не забава,— улыбнулась Вера.— Я не хочу, чтобы ты так думал.

— У отца на шахте люди погибли,— мрачно произнес Костя.— Был взрыв.

— Он виноват? — спросила Вера.

— Я виноват,— сказал он.— Ты с ужасом думаешь: сын убийцы! Ну что? Думаешь?

— Я не думаю так,— покачала головой Вера.— Кто бы ни был твой отец, а у тебя своя жизнь... Ты хороший, Костя. Ты должен знать, что ты хороший, и тогда всем с тобой будет хорошо.

— Но суд ему ничего не сделал, а он уехал! Если уехал, то на нем осталась вина... Я не знаю, как мне теперь к нему относиться.

Она взяла его за руку. Он отдернул руку. Вера подошла к нему и глядела на него. Она снова взяла его руку и бессознательным быстрым движением прижала ее к груди. Несколько секунд они смотрели друг на друга, ощущая чудо своего необычного одиночества на земле. У них не было ни опыта, ни примера, которому можно было следовать. Они не догадывались, что началась самая счастливая пора их жизни. А она началась.

Теперь им уже было неважно, куда и зачем идти, и они покинули двор гаршинского дома, не вспомнили, зачем были здесь. Дом, глухонемые дети, городок, несчастье семьи — все это осталось по ту сторону черты, за которую Костя и Вера сейчас перешагнули...

Потом Костя часто приходил сюда, смотрел на черную надпись на белой стене, видел гуляющих по двору молчаливых детей, сладостно и горько делалось ему. Девушка в сером льняном платье как будто бродила по размытой осенним дождем земле, шла по утопанному грязному снегу, стояла под апрельской капелью — и прижимала к груди его руку.

К лету надпись была едва заметна. От Веры приходили короткие письма, она писала, что сильно занята учебой, что будет поступать в университет; от ее строчек веяло смутной виной и забвением... Однажды, идя по этой улице, Костя увидел на стене свежую надпись масляной синей краской, — кто-то повторил: «Здесь жил Гаршин». У него сдавило горло. Течение времени бесстрастно отражалось в синих буквах.

Но до того дня было еще бесконечно далеко. Еще впереди была целая неделя. А дальше — что-то похожее на вечность.

Костя и Вера еще были очарованы своей тайной и почти не расставались.

Морозов не помнил, как прошла неделя. Всплывали в памяти какие-то обрывки картин, какая-то тихая кувшинковая поляна на реке, блеск воды и лугов, но было ли это на самом деле или же осело в мозгу значительно раньше, когда Морозов мальчишкой бегал по Старобельску, — теперь уже невозможно было разобрать. Запомнился беспричинный гнев отца и его пощечина: тогда Морозов вернулся домой после полупочи. И ненависть, и унижение, и жалость к нему — это тоже осталось. А вот Веры не было. Была только горькая и трезвая мысль, такая трезвая и ясная, что приводила в бешенство: этого больше не будет никогда.

И Морозов, подойдя к столу, осторожно взял половинки разорванной фотографии и вгляделся в детское, страшно далекое лицо...

Костя оставил Веру на мостках лодочной станции и пошел домой, чтобы взять еды. Она решила, что ей лучше не заходить к себе домой: там шли сборы, готовился прощальный ужин, ее бабушка и дедушка что-то приготовили к этому дню. А вот она, не раздумывая, сказала Косте, что никуда не пойдет.

Он должен был забежать домой на минуту и вернуться к ней.

Дома ничего не менялось. Дед уговаривал отца забыть свои печали и устраиваться на работу: он уже с кем-то переговорил, разведал, а знакомых у деда было множество, и назвал хорошую работу инженера-строителя. Но отец мрачно отмалчивался. Похоже, он не понимал, что ему говорят. Он стал писать стихи и рассказы, отсылал их в московские редакции и ждал, что его произведения напечатают. Мать и бабушка боялись советовать, зная вспыльчивую натуру Петра Григорьевича.

В семье, по-видимому, некому было задерживать Костю. По вечерам возвращались с работы соседи. Шевчук своей семьей поливал огород, где понемногу росло картошки, помидоров, огурцов, лука и клубники. У других обитателей двора не проявлялось интереса к земле. Перед вторым домом, в котором жили Морозовы и еще две одинокие женщины, находился пустырь, усеянный заботой природы. Вдоль могучих стен заброшенного зернохранилища, огораживавшего углом пустырь, росла темная крапива, ближе к середине перемешались сурепка, костер, овсюг, молочай, а на краю, как забор, стояла дружная крепость осота с фиолетовыми шариками цветов, в которых всегда искали пчелы. Никому не было дела до этого пустыря. Он бы еще долго жил заброшенно и дико, но бабушка решила в тот вечер его вскопать. Она взяла в сарае мотыгу и штыковую лопату и стала очищать землю. Наверно, бабушка работала здесь с обеда, так как кучи сорной травы уже привяли и источали душную сладкую вонь. Открылась мусорная земля, бабушка собирала в ведро камни и обломки кирпичей и складывала на дорожке.

Тогда бабушкины годы клонились к семидесяти. Она никого не звала участвовать в своей затее, зная, что сын и невестка заняты, а внука не хотелось обременять. Она взялась за пустырь, чтобы заглушить работой сердечную боль. Невестка освободила ее от кухонных забот и как будто освободила время, которое прежде уходило в глубокую воронку домашнего труда. Они с дедом решили возделывать пустырь только будущей весной, сейчас же сеять было поздно. Бабушка и сама не знала, почему взялась за него.

Константин увидел ее согнутую фигуру. Она опиралась одной рукой в колено, а второй расшатывала засеянный в земле кирпич. На бабушке было коричневое побелевшее на плечах платье, на голове свалывшийся желтый капроновый

платок, а на ногах войлочные туфли, обсыпанные то ли известкой, то ли мукой. Она одевалась всегда очень скромно, донашивала платья и кофты невестки... Бабушка вытащила кирпич, опустила в ведро и понесла ведро, кособоко шагая мелкими шажками. Жалость охватила Костю. Он подбежал к ней, отнял ведро и сердито сказал, как обычно говорят взрослеющие дети со стариками:

— Ты зачем носишь тяжести? Давай!

Бабушка погладила его по плечу и ласково, как маленькому, улыбнулась. И Костя принялся убирать камни. Она просила его:

— Я сама, Костик, не надо. Иди лучше полежи. Скоро ужинать начнем.

Он не слушал ее. Ему не хотелось ковыряться в земле, скучно было. «Немного повожусь и пойду к Вере», — думал Костя. Ему надо было успеть до ужина, иначе отец непременно придрался бы к нему. Почему придрался? Да кто его знает почему...

Пришел с работы толстый краснолицый сосед, Иван Антонович Петров, сказал начальственным добродушным баском:

— Частнособственнические инстинкты, а?

— Земля пропадает, — оправдываясь, ответила бабушка. — Сколько лет люди жили, а никто не догадался.

— Мы работаем, нам некогда в навозе ковыряться. — одернул ее Петров. — Ну ладно, — махнул рукой. — Бог в помощь, как говорится. Только все равно ничего не взойдет.

Он ушел. Костя поглядел на бабушку. Поджав губы, она обиженно смотрела в ту сторону, откуда только что рокотал начальственный голос.

— У тебя взойдет, не слушай этого дурака, — сказал Костя.

— Нельзя так о старших, — остановила она его. — Пусть говорит, а ты не суди его. Мы будем делать свое, а он сам поймет и устыдится.

Она почувствовала, что внук высокомерен, дерзок и готов судить. В нем текла кровь сумасшедшего деда Григория. Она не печалилась об Иване Антоновиче Петрове (кто ей был Петров? Так, мусорный человек). Бабушка подумала о своем сыне, которого ждал суд Константина. Она мало думала о себе, любила же думать и говорить о своих детях, вспоминала их шалости, игры, болезни, иногда подтрунивала над дедом, припоминая ему, как тот ревнов-

вал ее и хватался за револьвер. Тяжелый нрав был у Григория, много своей крови пролил ее старик, себя не щадил и человеческую жизнь не ценил, и она боялась, чтобы в ее детях не проросло его жестокое семя неуважения и даже презрения к жизни.

Вот и Костик становился мужчиной, отрывался от нее...

Костя навалил в ведро камней и побежал к выгребной яме. Бабушка перекрестила его вслед: «Господи, ты видишь, он хороший. Помнишь, как я его крестила? Петя из-за своей коммунистической преданности не позволял, а я святой воды принесла, окропила мальчика и «Отче наш» и «Живые помощи» прочитала... Поддержи его, господи!»

Другие соседи, одинокие и несчастные женщины, скептически расспрашивали бабушку о ее будущем садике, переглядывались друг с другом насмешливо. Одна из них, хромая портниха Женя, очень мечтала выйти замуж, но мужья жили у нее недели две-три. Она была низенькая, с широким курносом носом и пережженными перекисью водорода ломкими волосами. Женя просила бабушку гадать то на трефового, то на бубнового короля, и бабушка, жалея, обещала ей большое счастье.

Вторая соседка, Соколовская, была старая вдова, дети к ней не приезжали — она была ехидная, злая женщина, обзывала их неблагодарной сволочью, воровала из бабушкиного ящика газеты, но бабушка жалела и ее, только опасалась, что та однажды разозлит деда Григория и он поколотит ее.

Женя и Соколовская стояли на крыльце, каждая против своей двери, и громко разговаривали о том, что на пустыре будет расти, а что не будет.

— Клубники быть не может! — сказала Соколовская. — Какой-нибудь силос еще кое-как. Пока крапива снова не забьет.

— Можно лук посеять, — сказала Женя. — Разную травку. Петрушку, например. Очень хорошо весной покушать травки, в ней витамин цэ.

— Витамин цэ! — гневно вымолвила Соколовская. — Женечка, мы с тобой убогие слабые женщины! Разве не имеем права покушать разную травку? Хотя бы травку! Ведь эта земля принадлежит всем трем квартирам. Мы имеем полное право получить здесь свою грядочку. — И она с наглым и жалким выражением обратилась к бабушке: — Александра Павловна, а почему вы нас не спросили — может, мы тоже хотим возделывать свой клочок огорода? Надо

разделить участок на три равные доли. Женечке, вам и мне. Все должно быть справедливо. А то вы только-только получили здесь квартиру, а уже всё захватили!

Она оглянулась на Женю за поддержкой, и Женя вскинула свою пегую подвитую голову и виновато сказала:

— Александра Павловна, но это же справедливо...

— Давайте разделим,— согласилась бабушка.— Мне много не надо.

Соколовская усмехнулась. По-видимому, она не ждала легкой победы, и торжество справедливости не принесло ей радости. Она посмотрела на Костю выцветшими упорными глазами: ей требовались доказательства, что бабушка просто хочет ее обмануть. Но Костя этого не понял. Он схватил лопату и протянул нахальной тетке:

— Тогда поработайте с нами!

— Я сама знаю, что мне делать,— ответила Соколовская.— Захочу — буду возделывать в поте лица своего, захочу — пусть бурьян растет.

Костя растерялся, не умел разговаривать с такими людьми. Он только почувствовал, что Соколовской приятно его дразнить.

— Ах, стыдно! — грозно сказала бабушка.— Не трогайте Костику, а то я с вами поссорюсь.

— Я трогаю? — изумилась Соколовская.— Грех вам, Александра Павловна, на меня нападать. Я и так несчастная, одна на белом свете, помру — глаза некому закрыть...

Она толкнула свою дверь и ушла.

Женя тоже незаметно ушла.

— Эх, люди,— вздохнула бабушка.— Люди, люди...

Что-то горестное и даже виноватое почуялось в ее негромком голосе, словно бабушка корила себя саму. Косте тоже было не по себе после ухода соседок, но он-то их не прогонял, и бабушка их ничем не обидела, а вот что-то вышло не так, досадно вышло.

Странно Морозов был устроен в юности! Считал, что порок всегда должен быть наказан, добро должно победить, любовь — быть счастливой... Так устроены, должно быть, все, и один раньше, другой позже понимает, что юность была хороша именно этим. Костя работал вместе с бабушкой. Теперь он не мог ее оставить.

Мать вышла на крыльцо и, вытирая руки полотенцем, сказала:

— Заканчивайте. Умывайтесь и идите ужинать.

— Сейчас, доченька,— ответила бабушка.— Пошли, Костик.

Разница между безразлично-жестким тоном матери и ласковым тоном бабушки задела Костю. Ему хотелось заступиться за бабушку, объяснить маме, что она не замечает, как обижает и бабушку, и его самого, но... пора было к Вере.

— Мам, который час? — И Костя кинулся в дом.

Отец и дед уже сидели за столом. В большой чугунной сковородке дымились парком поджаренные вареники с творогом. В миске лежали разрезанные огурцы, крупная редиска и зеленый лук. На блюде поблескивали светло-коричневой корочкой ломтики сала. В двух стеклянных поллитровых банках были сметана и жидкий майский мед, в котором светлели крошки воска. Ужин состоял из того, что осталось от обеда и из постоянных запасов, приобретаемых на базаре раз в три дня.

— Как дела, сынок? — улыбнулся отец.

— Хорошо,— сказал Костя.

Больше ему нечего было сказать отцу. Он не забыл недавней пощечины и отцовского приказа приходить домой не позднее одиннадцати часов ночи. Отец не желал видеть в нем разумного взрослого человека. И Костя не разговаривал с ним, не отвечал на его заискивающие вопросы.

Костя взял с подоконника газету, подошел к столу и хмуро оглядел тарелки и миски. Прижимая к груди развернутую газету и поддерживая ее снизу, он стал набирать хлеб, сало, лук, редис, огурцы. Дед и отец молчали, и он торопился успеть до прихода женщин.

Дед был маленький, щуплый, заросший, как обычно, густой белой щетиной, под ногтями у него была черная земля, широкий нос пророс сизоватыми нитями жилок. Но все же его вид не наводил на мысль о стариковской немощи. Этому что-то сильно мешало. Тут дело было в остром выражении светло-серых глаз и твердых складках рта. Это был мужчина, а не старик.

Дед недовольно глядел на внука, разорывшего по неизвестной прихоти накрытый стол, и если не пресекал безобразия, то лишь потому, что рядом сидел отец Кости.

Петр же Григорьевич, который, по соображению деда, должен был держать своего сына на коротком поводе, ничего не замечал. Ему удобнее и спокойнее было, если он не обращал внимания на окружающие события.

Он был высокий, широкий в кости, сильный, но бабьего,

слабого характера человек. Он даже лицом походил на свою мать, но не унаследовал ни ее терпеливости, ни жалости к людям. От деда Григория ему досталась вспыльчивость, гордыня, своеволие. Дед Григорий жалел его, понимая, что не в натуре сына было выносить будничные невзгоды шахты и что гибель людей, в которой сын не был виноват, послужила только сигналом к бегству, а совсем не причиной. Дед понимал горное дело как военную службу, но его сын Петр туда не годился, был слишком мечтательный и любил раздумье. Ежели он был бы на войне, его бы убили очень скоро.

...Но если в сыне дед разбирался, то во внуке видел только дикий упрямый нрав, нелепо смешанный с девичьей мягкостью. Из Константина могло выйти что угодно.

Послышались тяжелые шаркающие шаги бабушки. Она поднялась на крыльцо. Звякнул железный стержень ручко-мойника, полилась в таз вода.

Однако прежде бабушки в комнату вошла мать и сразу заметила нарушение порядка.

— Костя, почему ты стоишь? — удивилась она. — Ты помыл руки? Зачем ты это набрал?

Ее голос выдавал застарелое беспокойство, обращенное, по-видимому, к Петру Григорьевичу, но муж молчал, и она воскликнула:

— Константин, сейчас же садись!

В минуты раздражения мать всегда называла его полным именем, подчеркивая накаленность события.

— Мам, меня ждет товарищ, — сказал Костя. — Я и так опаздываю.

— Кто этот товарищ? — спросила мать. — Тебя целыми днями нету дома, отцу ты безразличен... — Она бросила в мужа первый камень и замолчала, ожидая результата.

Петр Григорьевич поглядел на вошедшую бабушку и улыбнулся:

— Мама, без тебя у нас цыганский табор...

— Ба, меня ждет товарищ. Он голодный, — Костя подошел к бабушке, она должна была его понять.

— Позови его к нам, — сказала она.

— Позови, — повторил отец. — Хотя бы за ужином будешь дома.

— Наконец-то подал голос! — заметила мать.

— Он далеко. Мы договорились, что я пойду к нему, — сказал Костя бабушке. Ему не хотелось обращаться к отцу.

— Долго же мы собираемся, — проворчал дед. — Кто



хочет есть, пусть садится, а кто не хочет — не упрашиваем...

— Я пойду,— шепнул Костя бабушке.— Я не могу его позвать.

— Ну иди, Костик.

— Куда ты, Константин?! — воскликнула мать.— Садись ужинать! Через пять минут ступай на все четыре стороны...— Она повернулась к отцу: — Не понимаю, что происходит в этом доме? Кто глава семьи?

— Перестань,— сухо сказал отец.

— Ты хочешь, чтобы я махнула на сына рукой, как ты? — раздраженно спросила она.— Думаешь, твоя пощечина не ранила меня? Нет, так жить невозможно! Бедный Костя, бедный мой мальчик! — Мать со слезами на глазах обняла Костю и опустила голову ему на плечо.— Сломают тебе жизнь этим переездом, чувствую — ломают... Господи, что же делать!

Она была маленького роста, тогда еще совсем молодая, тридцати пяти лет от роду. Наверно, она, говоря о сыне, сетовала и на свою судьбу, нелепо распорядившуюся жить в Старобельске, к чему мать не была готова. Она не любила родителей мужа. Свекор был злой старик, а свекровь казалась насквозь фальшивой со своими ласковыми словечками и желаниями всем сделать добро. Привыкшая к самостоятельной жизни, к своей квартире, к своим подругам, таким же, как и она, женам горных инженеров, мать оказалась в чужом доме, где ее ждало глухое будущее. Переезд вырвал ее из привычного круга. В Старобельске она ничего не могла, не умела и не хотела. Здесь можно было умирать, но не жить. Здесь все было отвратительно, и прежде всего был отвратителен ее безвольный муж, пишущий никчемные рассказы, чтобы не замечать, что делается вокруг, не замечать ее страха, растерянности бабки и молчаливого презрения сына. Она не могла смириться с тем, что для нее уже все кончено. И она была постоянно раздражена, слезлива, неприятна, как всякий бестолково суеющий человек.

Обняв Костю, она не думала, что делает это для того, чтобы оторвать его от бабушки, а между тем обнимала сына именно для этого. Но что ей оставалось?

— Ну, мама,— укоризненно сказал Костя.— Никто мою жизнь не ломает. Я не маленький.

Он отстранился от нее. Он не мог понять, чего от него хотят, и чувствовал лишь одну несвободу, на которую его

обрекали родители своим жалким состоянием. Они порывались его жалеть, потом поучали, потом ссорились друг с другом; он был для них вещью в каком-то неподвижном мире мертвых вещей.

«Надо скорее бежать к Вере»,— промелькнуло у Кости.

— Иди сюда!— строго сказал ему отец.— Мать дело говорит: сперва поужинай.

— Меня ждет товарищ,— угрюмо произнес Костя.

— Ты попроси папу,— сказала бабушка.— Попроси, Костик. Он тебя отпустит.

Она подсказывала ему выход, и отец с надеждой улыбнулся, глядя на сына своими виноватыми глазами.

Костя молчал.

— Попроси, Костик,— повторила бабушка.

Возможность примирения уже витала в комнате, и все смотрели на Костю, объединенные наконец-то одним желанием.

Прерывисто жужжала севшая на липучку муха.

Костя медленно подошел к столу, сел и опустил на колени газетный сверток. «Крокодил!»— подумал он об отце.

Семья ужинала в молчании, лишь слышался стук вилок и гневное жевание деда.

«Она уже ушла,— сказал себе Костя.— Завтра она уезжает».

— Спасибо, я уже наелся,— тихо произнес он.

Мать вздохнула, выразительно поглядела на Петра Григорьевича и покачала головой.

— Ну иди,— поспешно сказала бабушка.

— Постой,— вымолвил отец.

— Ничего, иди-иди,— улынулась бабушка.— Я здесь главная.

— У Константина есть родители!— заметила мать.

Однако Костя не слышал остального разговора, он вылетел из комнаты.

Он испытывал унижение и тоску. Он жаждал освободиться от всех. От родителей, Старобельска, своей беспомощности.

Он мчался навстречу своей прекрасной несвободе по имени Вера, невысокой, сероглазой, в льняном платье с малиновой вышивкой на груди. Бежал, переходил на шаг, снова бежал, и по песчаной пыли, устилающей улицу, летела длинная легкая тень.

...В дверь позвонили. Морозов открыл не спрашивая, увидел Людмилу.

— К нам едет ревизор! — засмеялась она безмятежно, целуя его в щеку.— Сейчас поедем за город... Прекрасное общество, оригинальные люди, незачем тебе киснуть, связи, пора выходить в люди, где твой светлый костюм, не смотри на меня букой, не люблю, когда так смотришь...

Она захлопнула дверь и, не переставая говорить, повернула Морозова, подтолкнула его в спину и привела в комнату к платяному шкафу.

— Прими душ, уже успел? Умойся и причешись, внизу машина, ты какой-то сонный, я без тебя отказалась ехать, а тебе, я вижу, это безразлично, странный мужчина, на работе нормально?

Людмила выхватила из шкафа плечики с костюмом и кинула на спинку стула.

— Я никуда не поеду,— сказал Морозов.

— Бесстыдник, он не поедет! Это твой золотой шанс после «Ихтиандра»,— она расстегивала на нем рубашу, и от нее исходило что-то волнующее.

Морозов хотел оттолкнуть Людмилу, но она поймала его руку, расстегнула манжету и взялась за вторую.

— Все равно поедешь без меня,— сказал он.— Не будешь же меня силком тащить.

— И потащу! — ответила она.— Не сомневайся.

— Я не...— начал Морозов.

— Не поедешь? Уже слышала. Скажи что-нибудь новое. Брюки наденешь самостоятельно?.. О, это что за фотка? — Людмила заметила на столе разорванную фотографию, сложила половинки.— А, Верочка!.. Между прочим, она может быть на той даче.

— На какой даче?

— Той, куда мы собирались, бесстыдник окаянный! — Она оставила фотографию и, не обнаружив беспокойства и ревности, снова принялась подгонять своего милого: — Скорее, ждут, она приехала, у нее мать заболела.

— У кого заболела?

— У Верочки, у кого же еще, я встретила Сережу Литвина, она лежит у них в клинике с опухолью, говорят, доброкачественная.

Морозов внимательно смотрел на нее.

Вера в льняном платье с малиновой вышивкой на груди.

На Людмиле такое же простое льняное платье с крас-

ной вышивкой на груди, и Морозов внимательно глядел на нее, не понимая, почему маленькая разница в оттенках цвета угнетает его.

— Сказать, о чем ты думаешь? — спросила Людмила.

— Почему ты надела это платье?

— Платье как платье, лен в моде. Ну сказать, о чем ты думаешь?

— Скажи...

Она, конечно, не могла знать, во что тогда была одета Вера, но совпадение было нехорошее. Если оно и могло что-либо символизировать, то лишь то, что прошло много времени от прежнего до нынешнего Морозова.

— Ты думаешь, зачем к тебе привязалась одна особа, как от нее избавиться, верно? — Людмила погладила его по щеке своей длинной узкой ладонью, сладко пахнувшей французским мылом «Люкс», и легко шлепнула по его щеке. — У, бука Морозов! Я так и знала, что ты не поедешь!

— Не то настроение, Мила, — сказал Константин. — Не обижайся.

— Какие глупости! — легко вымолвила она. — погоди, я сейчас тебя быстренько просвещу, чтобы ты раз и навсегда понял, что есть современная жизнь. Я сейчас...

И Людмила вышла в коридор. Послышался щелчок замка ее сумочки. Она вернулась с книгой, завернутой в потертую белую бумагу, и вынула из нее листок.

— Главные мысли я перевела для тебя. Почитаешь, когда уйду. Поляк — умница, а название придумал скучнейшее. «Психопатология неврозов», как? Но зато какие чудесные мысли... Почитаешь!

Она положила листок на разорванную фотографию Веры.

— Не обижайся, — повторил Морозов.

— Если бы я на тебя обижалась, — вымолвила она и, не закончив фразы, пошла к выходу. — Я просто знала, что тебе сейчас очень весело. Ну, чао аморе.

В ее голосе смешались серьезность и шутовство, и нельзя было разобрать, что у нее на уме. Неяркие глаза смотрели как будто и насмешливо, и печально.

Людмила ушла, а Морозов остался. Ему хотелось ее вернуть.

— Кретин! — вдруг тихо сказал он. — Слабохарактерный кретин!

На одной из шахт области при проходке вертикального ствола шахтостроители вскрыли водоносный пласт, и ствол затопило. Они попытались обойтись своими силами, но безуспешно. Позвали горноспасателей — те не смогли работать под водой. И тогда какой-то инженер из шахтостроительного управления вспомнил, что читал в областной газете статьи об «Ихтиандре». Позвонили в редакцию, и Дятлов обещал связаться с клубом и помочь.

Он отложил в сторону дела из архива горноспасательного отряда, которыми хотел заняться вечером.

«Слава богу!» — сказал себе Дятлов, обдумывая неожиданно возникшую ситуацию. Своим быстрым практическим умом он угадывал, что в случае удачи «Ихтиандр» получит поддержку городских руководителей, и, может быть, именно эти спасательные работы сохранят клуб.

Дятлов, как всякий газетчик, хотел видеть в результате своих статей реально происходящие перемены, однако это желание сейчас мешало ему вспомнить прежнюю жизнь «Ихтиандра». Если бы он вспомнил, то удивился, почему в сухопутном городе клуб подводных исследований мог обеспечить свое существование, почему удалось добыть компрессор, медицинское оборудование, передвижную электростанцию, телевизионную установку, акваланги, чугунные чашки балласта и еще множество другого оборудования. Ведь паевых взносов подводников не хватило бы и на двадцатую часть всего этого! В том-то и дело, что город помогал «Ихтиандру». Металлургический завод, медицинский институт, горноспасательные части, шахты были невидимыми пайщиками этого самостоятельного предприятия. И если бы Дятлов связал историю «Ихтиандра» с ожидаемыми последствиями спасательных работ в затопленном стволе, он должен был прийти к грустному выводу, что большей поддержки уже нельзя получить.

Однако подобное умозаключение лишило бы Дятлова нравственной силы участвовать в «Ихтиандре», и тогда надо было бы признаться: «Все мои действия становятся бессмысленными». А он был упрям. Никто не мог отнять его «Ихтиандра».

Было восемь часов вечера. Он позвонил Морозову. Тот был занят какой-то ерундой, и это вызвало у Дятлова досаду. Он подумал, что ему, не дай бог, еще придется уговаривать, а раньше простой звонок из редакции вызы-

зал в клубе энтузиазм; раньше они были лучше, моложе и смелее... Они, как и Дятлов, были горожанами во втором поколении, с крепкой житейской хваткой, которая свела всех их вместе. Но Дятлов чувствовал по себе, что сейчас, после рубежа тридцатилетия, многие бросят подводные исследования. Почти все женились и завели детей. А жены с детьми были сильнее юного честолюбия. Он вспомнил о своей жене, беременной вторым ребенком и решившейся на аборт, вспомнил, как полуторогодовалая дочь Ленка охватывает его колени и лепечет: «Па-паа! Па-паа!», трогательно протягивая слово во всю длину своего короткого дыхания, и ему захотелось домой. Он выйдет из редакции через десять минут, успеет выкупить Ленку и посмотреть по телевизору программу «Время». Жена часто скучала. Он приходил поздно. Наверное, она ревновала. Год назад, когда Ленка была грудной, к жене пришла бывшая любовница Дятлова, попросила какую-то книгу, вроде бы забытую ею, и наговорила небылиц. Эта любовница, Надежда, высокая длинноволосая блондинка, была красивее жены Дятлова, и обе, по-видимому, поняли это. Надежда могла наговорить чего угодно. Это было в ее духе. Когда она узнала, что Дятлов решил жениться на другой, она от злости сожгла все его документы, которые нашла в письменном столе, — диплом Ростовского университета — заочное отделение факультета журналистики, — паспорт и партийный билет. Дятлов потом натерпелся стыда. После визита Надежды семейная жизнь расстроилась, а теперь жена не хотела рожать. Дятлов уговаривал ее, доводил до слез, но она не уступала. Конечно, здесь дело было не в Надежде и не в тяжести первых недель беременности. Жена стала замечать пяточок дятловской проплешинки, его домашнюю лень, воскресный небритый подбородок и еще много мелких подробностей, которые прежде ею не замечались. И он и она не думали о том, что остыли друг к другу. Их ночи были счастливы и горячи. Но иногда казалось, что их связывает только ребенок. Тогда Дятлова тянуло пойти куда-нибудь с женой, в кино или к знакомым, он говорил об этом, и она с улыбкой смотрела на него. Однако они никуда не ходили, так как не с кем было оставить дочь.

Он родился последним, шестым, ребенком у сорокапятилетней женщины, которая не знала ничего, кроме своих детей. Его не должно было быть на свете — слишком поздно постучался он в двери этого мира, в тот дом,

чь хозяева едва ли могли его услышать. Но мать сохранила своего шестого ребенка, «поскребыша», как дразнили его потом соседские дети. Она его любила сильнее, чем старших сыновей. В ее любви заключалось раскаяние за чуть было не совершенный аборт и печаль скорой разлуки. Дятлов рано стал сиротой. Старшие братья изо всех сил рвались из шахтерской упряжки, плохо завещанной отцом. Отец не желал, чтобы они повторяли его, но, не сумев научить, что делать, передал детям свое упорство переселенца и жизнестойкость подземного рабочего. Старшие братья исчезали из поселка, передавая Дятлова младшим. В ту пору он и затосковал по матери и полюбил ее образ, ощутив ее как человека.

Братья достигли своего — один стал военным, второй — юристом, остальные — инженерами, и он виделся с ними редко, не испытывая к ним родственной привязанности.

Дятлов вырос и потом жил независимо, свободно и разбросанно, не заботясь ни об одной живой душе. Он был защищен от ударов жизни, ибо ему не за кого было страшился, а он сам был здоров и всегда мог прокормить себя.

После рождения дочери он перестал быть свободным. Весной этого года, когда Ленка уже устойчиво ходила, жена отдала ее в ясли, чтобы снять с себя крепость мопотонного существования. Восемь дней Ленку отводили в ясли и оставляли ее в слезах, а на девятый день она заболела. Температура была выше сорока градусов, вызвали «неотложку». Врачиха посоветовала сделать клизму из жидкого анальгина и, не сказав больше ничего определенного, уехала. Ее спокойствие, будничная поспешность действовали успокаивающе. Ночью девочка спала тихо. Утром она тоже спала, лицо было темно-розовое, горячее. Ее не стали будить, и она не просыпалась до полудня. К врачам почему-то боялись обращаться. Надежда и тревога как будто слились в одно суеверное чувство. В редакции пятидесятилетняя машинистка Раиса Федоровна угадала диагноз: «Это воспаление легких. Они в яслях всегда простужаются». Он стал убеждать ее, что Ленка ходит в хорошие ясли, но, может быть убедив ее, не убедил себя и тотчас позвонил Павловичу. Тот привез детского врача. В течение часа Ленку забрали в больницу, одну, без матери, и унесли за стеклянные двери, а Дятлов с женой оказались в беспомощной тоске. Они уже

потеряли дочь: больница словно показала им простую модель того, как все может произойти. И Дятлов ощутил в душе открытую рану на том месте, которое с начальных юных лет всегда было закрыто. Через месяц девочка вернулась из больницы: когда ее опустили на пол, она шагнула, качнулась и упала. Потом она засмеялась, бедная, исколотая, исхудавшая Ленка, разучившаяся ходить; Дятлов смеялся вместе с ней.

Больше она не ходила в ясли. К лету жена снова стала говорить о яслях, но Дятлов воспротивился.

Вообще-то он любил жену сильнее, чем она его, и поэтому уступал чаще. Она воевала с действительностью, считая диким жить только ради исполнения материнских и супружеских обязанностей. Она была в его глазах революционеркой — инженер по образованию, журналист по профессии, интеллигентка по происхождению и спортсменка по натуре. (Она когда-то занималась спортивной гимнастикой.)

Жена превосходила Дятлова тем, что неопределенно называют современностью.

После Нового года она решила отдать Ленку в детский сад, на пятидневку. Она была решительнее мужа, а ему было трудно с ней сладить...

Наверное, точно так жили и знакомые Дятлова по клубу. Деталей он не знал, но знал, что в прошлогоднюю экспедицию поехали далеко не все, — значит, удержали семьи. А нынешним летом экспедиции не было. Что-то не вполне установившееся изменяло людей.

«Ничего! — сказал себе Дятлов. — Зато будет другая экспедиция!» Он позвонил на станцию «скорой помощи» и попросил врача Павловича.

— Павлович на выезде, — ответили ему. — Что передать?

Дятлов не стал объяснять. Он подумал, что ошибся, начав с Морозова. Надо было сразу найти Павловича: «Ихтиандр» был его детищем, и даже то, что потом Павловича сместили с председательского места, не могло заставить его бросить клуб. Это был властный, горячий и отчаянный человек. Он превосходил всех подводников честолюбием, физической смелостью, силой природы. В его присутствии отодвигались на второй план остальные руководители клуба, среди которых были люди умнее и тоньше его. Становился незаметным мягкосердечный интеллигентный Ипполитов, умолкал и без того немногословный



жестковатый Бут, замыкался толковый и яснореалистичный Морозов. Павлович, вначале объединивший всех, царствовал, однако, недолго. Потом, когда дело углубилось в инженерию и науку, они его свергли. Он был сильнее и энергичнее, а они были образованнее, и практичнее. Его время ушло, как всегда рано или поздно уходит время первопроходцев. Такие люди не засиживаются на одном месте, их что-то томит и влечет неизвестно куда, неизвестно к каким приключениям и миражам. А чудес больше не будет. «Ихтиандр» был последним, случайным окном в плотном расписании общественной жизни. И не трудно было понять, что Павлович, переболевший мотоциклетной ездой, парашютными прыжками, простым плаванием, с аквалангом и неожиданно ставший первым акванавтом, прикован к «Ихтиандру» крепче тех, кто сменил его. Он должен был вырвать из рук Дятлова организацию спасательных работ в затопленной шахте.

Снова наступал час Павловича.

Он попробовал читать донесения горноспасателей.

В комнате уже становилось темновато. Дятлов не включил свет, просто отстранил папки. Что ему было до них!

Впервые его слова могли привести в ход настоящее дело и настоящих людей. До сих пор дятловские информации, репортажи и статьи были работой бойкого, ловкого газетчика, хладнокровно описывающего разные события.

Добросовестный, средних способностей журналист, он восполнял недостаток фантазии буквальной точностью описаний, но ему было скучно. Он любил футбол и начинал как спортивный репортер, давал после матча свои пятьдесят строк в номер, а на следующий день — полный отчет. Он вел футбольные телерепортажи, быстро постигнув технику этого дела: следовало хорошо запомнить фамилии игроков и как можно чаще говорить, какая идет минута игры. Однако футболом он перестал заниматься, став заведующим отделом информации. Он писал обо всем, но ничто его сильно не привлекало. Уйти от заведования было непозволительно, — к тому времени Дятлов женился. Надо было обеспечивать высокий заработок, гнаться за гонораром, покупать в дом, ходить в гости к сослуживцам и принимать гостей у себя, — эти условия, как будто пикем не навязываемые, были неизбежностью. Повторяющиеся из месяца в месяц, из года в год, они превращали Дятлова в механизм.

Неожиданно его встряхнул «Ихтиандр».

Они были ненормальными, и поэтому Дятлов написал про них первую информашку, в которой почти все глаголы стояли в будущем времени. Он увидел горку черепков песчаного цвета, лежавших на столе рядом с фотографиями. Ему сказали, что это осколки древнегреческих амфор, найденные на дне Черного моря. На изогнутых черепках остались темные разветвленные отпечатки, похожие на рентгенограмму.

Ему рассказали и о подводных экспедициях Кусто, о затонувших кораблях, античных статуях, о подводной охоте... И он их понял. Они бежали от скуки. Но он не поверил, что они построят подводный дом и будут заниматься научными исследованиями. Дятлов написал об этом, не веря ни одной минуты, что это когда-нибудь случится.

Через год Павлович прожил в подводном доме трое суток. Информация ТАСС вызвала у Дятлова одновременно и радость и тоску. Ему казалось, что, если бы он поверил им раньше, его бы взяли с собой.

Спустя месяц подводники разыскали Дятлова и попросили написать статью. И он стал писать об «Ихтиандре». Только он. Постоянная тема сделала Дятлову имя в небольшом влиятельном кругу городской интеллигенции. Чем больше печаталось об «Ихтиандре» в столичных газетах и журналах, тем радушнее в городе относились к подводникам. Клуб повышал престиж области, как хорошая футбольная команда. А Дятлов раздувал ветер славы, распахивал двери приемных и ощущал морозно-волшебный вкус успеха. Все его хвалили, кроме подводников. Страшно, но они не видели в своей популярности большого толку. Он знал, что они мечтают о научных издании. Что ж, это было понятно: они надеялись.

А что Дятлову? Разве он был виноват в настороженности, а то и в безразличии научных институтов? Он писал тем ясным языком, который был понятен миллионам людей, писал о штормах и штиле, о красках заката и цвете подводного мира, о завтраках, о подробностях жизни, писал об организации экспериментов, о компрессоре «пятой категории годности», списанном в утиль и отремонтированном мрачноватым виртуозом Бутом, и так далее и тому подобное, что было в силах провинциального газетчика, но что специалисту, наверное, казалось базальным борзописанием.

Подводники оставили Дятлова за пределами своей дружбы. Он все равно тянулся к ним, как прежде — к спорту, потому что он ощущал себя рядом с ними человеком в полном порядке. То есть здоров, занимается хорошим делом и нужен.

Возможно, на него влияла душа этого громадного промышленного города, выросшего за несколько десятилетий, словно гигантское дерево с короткими корнями. Здесь оставалось много незримо грубого от первого поколения горожан, даже еще не горожан, а поселщиков, пришедших на край земли Войска Донского, чтобы остаться шахтерами и металлургами. Здесь изначально занимались опасным для жизни, вырабатывая привычку к беде. Здесь тосковали о потерянной родине, пили, с удовольствием пели простую песню: «А молодого коногона несут с пробитой головой».

Но все это передалось другим, не заросло могильной травой. Жизнь по-прежнему измерялась шахтерскими упряжками, ее вольные часы летели быстро, как увольнительная, и цена этих ненасытно коротких часов была высокая.

Город вырос быстрее, чем изменились люди. И хотя наука, медицина, просвещение, торговля брали своих служащих из молодого поколения горожан, они брали в основном начальных интеллигентов, сильный, предприимчивый и деловой народ, воспитанный на примере шахтерской упряжки.

А Дятлов в юности работал проходчиком. Может быть, поэтому ему еще труднее было ощущать свою пустую пошу.

Нынешней зимой у него появилась надежда получить настоящее дело. В январе Ипполитов и Морозов ездили в Ленинград на конференцию, куда их пригласили коллеги-профессионалы, уже обогнавшие «Ихтиандр». Они поехали отвоевывать крупницу признания, а вернулись ошалевшими. Там-то и зашел разговор, чтобы клуб перенесся в Севастополь и стал научной лабораторией.

Дятлов помнил, как Ипполитов пришел в редакцию, красноносый, холодный, в шапке с опущенными ушами, и смеялся, благодарил, а Дятлов, не понимая, за что его благодарят, кисло смотрел на ипполитовскую шапку с обрезанными завязочками и думал, зачем они обрезаны. И тогда Ипполитов сказал, что в Ленинграде директор издательства ему предложил написать историю «Ихти-

андра», сказал как о мелочи, как будто специально для Дятлова. Мол, хочешь — берись, а нет — забудь.

Юрий Ипполитов был редкий человек. Он рос маменькиным сыночком, умницей и слабаком. У него был врожденный порок митрального клапана. Болезнь развила его самолюбие и дала тихие часы досуга вместо веселых игр на воздухе. Ипполитов вырос высоким, широкоплечим и плоскогрудым. Школу закончил с золотой медалью, институт — с отличием, в двадцать восемь лет защитил кандидатскую диссертацию. Фамилия Ипполитова стояла десятой в ряду инженеров, выдвинутых на соискание Ленинской премии за разработку нового угольного комбайна. Однако премию получили первые восемь человек.

Но дело, конечно, было не в наградах и званиях. Газетчику ли Дятлову удивляться послужным спискам? Он знал и героев, и популярных спортсменов, и влиятельных чиновников — многих, кто был важнее Ипполитова. Только Ипполитов, в отличие от них, не лукавил. Он сохранил застенчивость и мягкость, свойственную болезненному юноше, и его манера держать себя вызвала при первом же знакомстве мысль о слабой натуре. К тому же Ипполитов не любил споров. Но он внутренне был настолько сильным и тактичным, что, видя несовершенство окружающей жизни, жил по-своему, никого не укоряя. Лишь однажды, до этого предложения писать книгу, Дятлов столкнулся в упор с ипполитовскими взглядами: осенью по традиции редакция направляла в Курскую область грузовик за картошкой, и Дятлов предложил нескольким подводникам заказать для них по два мешка картошки. Павлович и Бут тут же принесли деньги. Морозов спросил о цене, потом сослался на то, что он холостяк, и отмахнулся. А Ипполитов ответил, что ему ничего не надо, что он привык, как все, покупать в магазинах. Дятлов почувствовал высокомерие и гордыню, которые его унизили, хотя Ипполитов не произнес ни одного осуждающего слова. При встрече Ипполитов поблагодарил, виновато улыбнувшись и, видимо, испытывая неловкость, и попросил, чтобы Дятлов на него не обижался — он никогда не пользуется подобными вещами.

Этот случай можно было бы не запоминать, отнести на счет ипполитовского самолюбия и на том кончить. Однако он связывался с тем, что Ипполитов отдавал денег в клуб больше всех, у него случались публикации в научных журналах по теме горная автоматика, и его зарабо-

ток, как кандидата технических наук, превышал заработной платы остальных. К тому же Ипполитов занимал должность заведующего лабораторией в НИИ, мог готовить докторскую диссертацию. И не готовил. «Ихтиандр» был дороже. На его месте кто-то другой, например Павлович, не удержался бы от саморекламы... В общем, Ипполитов был хорошим человеком, — лучшего определения Дятлов не придумал.

И вот после ленинградской конференции Дятлов взялся за историю «Ихтиандра». Он уже видел книгу, слышал изумительный запах клея и краски, ощущал холодноватую ледериновую обложку с тисненными буквами своей фамилии. Его книга... Когда он умрет, она останется. И люди будут читать, мысленно произносить его имя, а кто-нибудь, может быть, захочет узнать, кто был автор?

Книга — это было настоящее дело!

Дятлов собрал все написанное им об «Ихтиандре» и по вечерам сидел в кухне или в ванной (в зависимости от того, спала ли малютка) и сочинял заново. Сначала шло быстро, хорошо. Но повторяющаяся изо дня в день работа, гудящая от редакционной беготни голова, а главное — сознание, что так будет непрерывно, долгие месяцы, ослабляли его волю. Он стал думать: а вдруг не получится? Я потрачу столько сил, а рукопись потом забракуют?..

Дятлов не привык к длительной работе. Он мог за ночь легко написать целый газетный подвал, зная, что завтра статья попадет в машбюро, потом — к ответственному секретарю, который зашлет ее в типографию, а там она станет на газетную полосу. Если что-то вышло не так, ему подскажут, поправят в гранках, но нужную статью непременно напечатают.

А у книги не было никаких гарантий. Неофициальное предложение, переданное из вторых рук, мог посчитать гарантией только энтузиаст, не смыслящий в издательских делах.

И Дятлов сгубил себя раздумьями. К брошенной работе он не вернулся, но стыд заставил его говорить в редакции, что все идет нормально. Лгать было легко. Он понял о себе все, что полагается понимать на четвертом десятке жизни. Он обыкновенный. Его очаровали чужие мечты, чужой успех и чужое дело, а сам он был и остался одиноким.

...В комнате совсем стемнело. Он включил настольную

лампу. В окне отразилась освещенная часть стола с перекидным календарем и ярко блестящим черным боком телефона.

Он позвонил на станцию «скорой». Номер был занят. В этот час туда было трудно пробиться. Он подумал, что снова опоздал к купанию Ленки, и, представив круглое, курносое лицо дочки, ее возню в ванной, хлопанье ладонями по воде, почувствовал тихую радость. Захотелось скорей идти домой, взглянуть, как она спит на спине с поднятыми выше головы руками.

Но Дятлов не хотел откладывать разговор с Павловичем. Сегодня он спасал клуб, спасал тех, кто никогда толком не считался с ним, кто видел в нем тусклого середнячка, кто бросил его, как только в нем отпала нужда... Он добьется спасательных работ в затопленном стволе. С той минуты, как к нему обратились шахтостроители, Дятлов решил действовать. У него было совсем немного личных решений, в которых бы он не был связан внешними обстоятельствами.

Наконец он дозволился. Павлович снова уехал на вызов. Дятлов оставил свой номер и сказал, что у него срочное дело. «Сейчас он мне позвонит, и пойду», — сказал про себя Дятлов, и ему было хорошо.

Он раскрыл окно. С улицы пахло холодноватой сыростью увядающих листьев. Через дорогу был сквер. Освещенный из окна, стоял клен с темной кроной, как будто окруженный светлым ореолом.

Донесся со стороны Сенного рынка трамвайный стук, кто-то легконогий пробежал вниз и остался в тени, словно пробежал заигравшийся допоздна ребенок, и сделалось тихо. За сквером яркой волной расходилось в вышину дыхание городского центра, отнимая у вечера огромный купол пространства и растворяясь где-то в фиолетово-зеленом небе.

Незримое сильное движение ощущалось в этой ранней ночной поре, когда день уже прошел и унес свою ледяную плановость, уступив теплоте зажженных окон, смутным ожиданиям и человеческой слабости. Было несколько часов до глухой ночи. В них чудился мираж юной, еще не прожитой жизни, которая вечно идет рядом с реальным существованием, прекрасно обманывая наше сердце. В такие часы кажется многое, словно в них заключен радостный утешитель. А пролетают они тысячами!

Сколько простоял Дятлов у окна, это неважно. Ему

стало зябко, и он закрыл рамы, посмотрел на телефон и сел к столу, взяв тонкую папку.

На папке был приклеен белый прямоугольник с напечатанным текстом:

*«Донесение о работе подразделений 4 ВГСО по ликвидации последствий внезапного выброса угля и газа на шахте №... треста... 14—21 мая 195... года».*

Он раскрыл папку и механически пробежал глазами по серым машинописным строчкам.

«14 мая 195... года в 15 часов 30 минут дежурным 1 взвода ВГСО т. Редько получено извещение по телефону от главного инженера шахты №... т. Рымкевича В. А., что в забое центрального бремсберга пласта Л8-I произошел выброс. На аварийном участке в зоне внезапного выброса находилось пять человек».

— Рымкевич? — спросил себя Дятлов. — Интересно... — Но, подумав, он решил, что в этом нет ничего интересного. То, что много лет назад управляющий работал вместе с отцом Морозова, никак, к сожалению, не связывалось с замыслом Дятлова. Вполне возможно, что Рымкевич и не вспомнит давней аварии, слишком много других событий наслоилось на нее, и она теперь живет только в этой картонной папке, потерявшей за давностью лет всякую ценность.

Дятлов вспомнил, как она легко и случайно досталась ему. Она лежала первой в высокой стопке таких же пыльных папок, загромождавшей целый угол архива горноспасательной части. Он готовил репортаж, ему хотелось прочитать документы, но день уже заканчивался, и сопровождающий Дятлова скучающий аполлон в темно-синей форме с двумя маленькими звездочками в петлицах предложил взять из стопы хоть сто донесений, все равно срок хранения истек и их не сегодня-завтра сожгут. И Дятлов стал владельцем трех папок.

Репортаж будет написан и забыт, потому что газета живет только один день. Дятлов порой ощущал, что участвует в бесконечной гонке за ускользающей целью и что у него нет прошлого. Должно быть, Морозов это чувствовал и держался с ним на расстоянии, вежливом, неблизком. Вообще это было естественно. Входящий в силу человек больше интересуется своим делом и отбрасывает все, что отвлекает от него, теряя при этом юношескую мягкость и приобретая жесткие мужские черты.

Наверное, по этой же причине Рымкевич не мог по-

мнить аварии — она его отвлекала от цели, и он ее забыл.

Дятлов перевернул страницу.

«Ведение горноспасательных работ. На шахту прибыли два отделения 1-го взвода с помощником командира 1-го взвода Т. Сундиковым, и в 15 часов 50 минут отделения получили задания.

Одновременно на шахту были вызваны еще три отделения оперативного и 2-го взводов.

К этому времени было известно, что выброс произошел в забое центрального бремсберга. Внезапным выбросом достигнуто пять человек: начальник участка Морозов и проходчик Музыка находились в районе лебедки центрального бремсберга на свежей струе, а местонахождение проходчиков Шамрая, Баранухина и Кишкина оставалось неизвестным...

К 12 часам 15 мая на аварийном участке были выполнены все подготовительные работы, а забой бремсберга проветрен и содержание метана не превышало 1—1,5 процента, силами рабочих шахты и отделениями ВГСЧ были начаты поисковые работы.

На 7 часов 50 минут 17 мая была убрана и выдана на поверхность 231 тонна угля и освобождено от выброса 60 погонных метров бремсберга.

На этом месте стояла породопогрузочная машина, развернутая к левой стенке бремсберга. В приемном лотке машины был обнаружен пострадавший Шамрай без признаков жизни. Он лежал вдоль лотка на правом боку, головой к бремсбергу, лицо обращено к правой стенке, левая рука вытянута в сторону, правая находилась под туловищем, ноги свисали с лотка машины, согнутые в коленях... Пострадавший был выдан из шахты в 10 часов 18 мая».

Читая, Дятлов почувствовал тошноту. Он не мог знать никого из несчастных, и если бы прочитал сухую строку об их гибели, то едва ли бы в нем что-нибудь шевельнулось, но его поразила противоположность между трагедией насильственной смерти и подробным деловитым перечислением ее обстоятельств, словно они были выше ужаса живо погребенных людей.

Дятлов стал читать дальше, охваченный тем жутким любопытством, которое рождает в человеке картина смерти.

«К 10 часам 15 мин. 20 мая было убрано 496 тонн уг-



ля, освобождено 70 погонных метров выработки и обнаружен пострадавший Баранухин без признаков жизни.

Он находился под левой стенкой между ножками рам в сидячем положении. Голова наклонена, правая рука заброшена над головой, левая опущена к почве выработки, ноги поджаты, левая нога поломана ниже колена, лицо побито мелким углем... Пострадавший выдан из шахты в 12 часов 20 мая.

К 17 часам 20 мая было отгружено 510 тонн угля, в 4 метрах ниже Баранухина был обнаружен пострадавший Кишкин без признаков жизни... Пострадавший выдан из шахты в 23 часа 30 мин. 20 мая.

...Горноспасательные работы были закончены в 8 часов 20 минут 21 мая, и отделениям ВГСЧ было разрешено отбыть в свои расположения.

Всего на ликвидацию аварии затрачено 1568 чел.-час., в том числе 416 чел.-час. работы велись в респираторах.

*Л. Трахтенберг,*  
командир 4 ВГСЧ».

К донесению прилагался список всех действий спасателей, план места аварии и выводы Трахтенберга.

Дятлов закрыл папку. Он вскользь подумал о том, как резко измеряется человеческая жизнь. Но мысль была очевидной, и он отпустил ее.

Ему не удалось связать в узелок эту аварию, Рымкевича, Костю Морозова и предстоящее дело. Потом он поговорил с Павловичем. Дело начало делать себя. Дятлов запер кабинет и пошел домой, мысленно разговаривая то с Павловичем, то с женой, которую он все-таки должен был убедить не делать аборта и оставить ребенка.

## VIII

В неоконченном дневнике Морозова была страница, посвященная любви и счастью. В подробностях подводных экспедиций сквозь стихию бесстрашия молодости чудится новый голос: «То, что составляет полное удовлетворение или счастье, завершают только любовь и чувство долга, ибо только в них отступают в сторону человеческие слабости...» Эта мысль больше никогда не повторилась. Он забыл ее...

Дятлов сообщил Морозову, что можно поправить де-

ла «Ихтиандра», поработав в затопленном стволе шахты. Пожимаясь и усмехаясь, он стоял перед Константином и говорил о шансах на широкую рекламу.

— Мне это не нравится,— перебил Морозов.— Никому из наших еще не приходило в голову пускать пыль в глаза. Это похоже на конец.

— Ты ручаешься за всех? — улыбнулся Дятлов.

— Во всяком случае, за наш совет.

— По-моему, ты ошибаешься.

— Я не ошибаюсь. Наше время ушло.

— Пессимист,— сказал Дятлов и стал смотреть на ноги идущей по бульвару девушки.— Ты своим-то хоть расскажи, что появились новые шансы.

— Ты и расскажешь.

— Я-то расскажу! — раздраженно ответил Дятлов.— Рассуждать легче всего! Обычно любят разглагольствовать трусы и лентяи.

— Ты не прав,— сказал Морозов.— Мы сто раз доказали, что мы не трусы и не лентяи.

\* \* \*

— Пожалуйста, позовите Веру.

— Ее нет.

— Она приехала?

— Она уехала к бабушке в Старобельск. А кто спрашивает? Это Борис?

— Нет, это не Борис. Это Морозов.

— А-а...

— До свидания, Семен Иванович. Надеюсь, у вас все в порядке?

Отец Веры озадаченно молчал. В пику своей жене он питал к Константину тайную симпатию и, услышав сейчас Морозова, не захотел холодно проститься. Но говорить им было не о чем. Коснувшись некоторых биографических подробностей («на шахте?», «не женился?» и т. д.), они с облегчением расстались. Морозов был настолько любезен, что забыл спросить: замужем ли Вера? Его могло извинить то обстоятельство, что звонил он с шахты.

А на шахте уже что-то происходило...

Отремонтировали электронное табло в диспетчерской, щелкали желтые спиральки цифр, грифельная доска — позор научно-технической революции — была спрятана за шкаф. В конце дня Зимин неожиданно пригласил к себе

домой некоторых инженеров. «Аляфуршетик»,— объяснил он, ничего на самом деле не объяснив.

— Вы что-то задумали,— сказал Богдановский.

Зимин широко улыбнулся, обнял улыбкой недоверчивого Богдановского.

— Как современный администратор, я жажду выпить с вами по рюмочке...

Кроме Богдановского в кабинете были Греков, Аверьянцев, Халдеев, Тимохин и Морозов. Еще был диспетчер Кияшко, настороженный вниманием начальника шахты. «Будет открывать бутылки»,— подумал о нем Морозов. Собственная роль в предстоящем вечере оставалась Константину непонятной.

— Это мальчишник? — спросил Греков с двусмысленной усмешкой.— Или требуется быть с женами?

Произнесенное им слово «требуется» обнаруживало то, что у всех вертелось на языке: никто не чувствовал принужденности. Обычно никому не приходило в голову, что к Зимину можно прийти в гости. Приглашение означало замаскированный приказ, и, если отбросить обрядные условности, приказ неприятный.

— Требуется быть веселым и по возможности забыть о делах,— ответил Зимин Грекову.— К черту! Будем цивилизованными людьми! А с женами поступайте как хотите...

— Будем цивилизованными людьми, Сергей Максимович! — выпалил Кияшко. И оглядел инженеров, точно призывая их сплотиться в монолитный коллектив.

— А ты знаешь, что такое цивилизованные люди? — спросил Аверьянцев.— Лично я не знаю.

Монолитом не пахло. Но что-то все равно должно было произойти, ведь Зимин не мог надеяться на дружную поддержку своих униженных и разочаровавшихся в нем подчиненных, а он на что-то надеялся.

— Цивилизованные люди — это цивилизованные люди,— просто сказал Кияшко.

— А Аверьянцев — это Аверьянцев,— в тон ему добавил Зимин.

Богдановский засмеялся, положил на плечо Кияшко толстую руку и с хорошо дозированным барством сдул со своих сочных губ:

— А Кияшко — это все-таки... хм...

Диспетчер освободился от его руки, встревоженно взглянул на Зимина, но на всякий случай тоже засмеял-

ся. Или он не захотел признаться, что понял, какую от-  
вели ему роль, или просто не дошло.

Во дворе, когда Греков отпирал дверцы «Жигулей», он  
сказал Морозову:

— Пора тебе продавать этот броневик.

Морозов сел в «Запорожец», опустил стекло и пома-  
хал рукой:

— До вечера, Греков.

«Жигули» плавно отъехали, сияя задним бампером.  
Морозов завел мотор и, слушая его рев, медленно снял  
ногу с педали акселератора. Тотчас же на щитке вспых-  
нула красная лампочка. Он снова прижал педаль, и лам-  
почка потухла. Надо было прогреть мотор на холостом  
ходу.

А грековская машина уже выехала со двора.

Морозов привык, что его «горбатый» «Запорожец» об-  
гоняют автомобили всех марок, но сейчас ему стало до-  
садно. Он захотел быстроходную хорошую машину и в  
эту минуту решил ее добыть. «Жигули» — символ удачи,—  
подумал Морозов вполне серьезно.— Красивая машина,  
красивая жена, красивый дом,—пора мне достичь хоть  
этого».

В последний момент он вставил снисходительное слов-  
цо «хоть».

Двигатель уже прогрелся. Можно было ехать. Моро-  
зов тронулся. У ворот его настиг чей-то крик. К нему бе-  
жал и размахивал руками горный мастер Митеня. «Тихо-  
ходная машина,—мелькнуло у Морозова.— Греков уже  
дома».

Он включил заднюю скорость и поехал обратно.

— Чего тебе? Пожар?

— Ткаченко! — резко сказал Митеня.

— Скажи ему, чтобы работал. Он здоров как бугай.

— Он был у врачей. Его отстранили. Ему вообще за-  
прещают работать в шахте.

— Ну еще поглядим! — зло сказал Морозов и вылез  
из машины.

Митеня выпятил челюсть и скорчил недоверчивую гри-  
масу. Он сомневался, что можно что-то изменить.

— Нужна замена Ткаченко,—сказал он.— Мне его  
жалко.

— А мне не жалко? — спросил Морозов.— Почему дол-  
жен решать именно я? Иди к Тимохину. Пусть он...

Митеня кивнул, в его ясных синих глазах ничего не

отразилось. Должно быть, ему не хотелось искать Тимохина и терять время.

— Тимохин у Зимина, — подсказал Морозов. — Будь другом, не поленись сбегать.

Митеня снова кивнул. Потом достал сигареты, закурил.

— Я ему уже говорил, — произнес он, пропуская дым через нос: — Он велел догонять вас. — Митеня вынул изо рта сигарету и показал ею на «Запорожец».

— Скажи, что не догнал! — Морозов сел и захлопнул дверь. — Не догнал! Понял?

— Значит, не догнал? — переспросил Митеня.

— Будь здоров, — сказал Морозов и тронулся с места.

Ревел двигатель. При выезде на улицу крепко трянуло, и «Запорожец» подпрыгнул, как большой железный жук.

«Ну что я могу сделать? — воскликнул про себя Морозов. — Силикоз неизлечим и не смертелен. В конце концов, большинство страдает неизлечимыми и несмертельными болезнями. Не надо строить из этого трагедии». Он чуть было не отнес себя к этому большинству со своими разочарованиями, потерей цели и нарождающимся цинизмом. «Я же собирался в отпуск, — отмахнувшись от Ткаченко, сказал себе Морозов. — Надо ехать в Старобельск. Да, сегодня же!»

Он повернул налево по Университетской улице, доехал до книжного магазина, и там у него появился план. Вечером он будет у Зимина, а ночью выедет в Старобельск. Триста километров он одолеет до утра. Только надо взять с собой термос с кофе.

Морозов взглянул на щиток приборов: бак был на три четверти пустой. В багажнике лежала полная десятилитровая канистра, но все равно нужно было где-нибудь заправиться. Карбюратор в «горбатом» переливал лишний бензин, на сотню километров приходилось как раз десять литров. И Морозов поехал заправляться.

Автозаправочную окружали тополя. Возле колонки с дорогим бензином, седьмой в очереди, стояла великолепная машина Грекова.

А возле колонки с дешевым бензином было пусто. Морозов выключил зажигание и пошел платить.

— Здравствуйте, — сказал он молодой заправщице, — мне тридцать «семьдесят шестого».

Она улыбнулась, обнажив темную расщелинку между

верхними зубами, и повернула испачканным пальцем один из белых дисков на панели.

— Двадцать «девяносто третьего»,— сказала рядом с Морозовым женщина в темных очках.

Он вернулся к «горбатому», открыл капот, вставил в бак дуло заправочного пистолета и свистнул заправщице. В колонке щелкнуло, в бак полился бензин.

Потом Морозов подошел к Грекову:

— Стоишь?

— Стою.

— А ты говорил...

— Надо ездить на хороших машинах, любить красавиц и жить так, чтоб чувствовать жизнь каждую минуту,— Греков вскинул голову и чуть сморщил свой породистый нос.

— Это я уже где-то слышал,— сказал Морозов.— Слова!

— Ну-ну, я могу денег одолжить, если не хватает. Я не жмот.

Греков взглянул на отъезжающий от колонки автомобиль, поставил одну ногу в салон и повторил:

— Если надо, могу одолжить.

— У нашего машиниста комбайна — силикоз,— сказал Морозов.— Что делать?

— Ищи замену,— легко ответил Греков.— Наверное, ты озабочен филантропией?

— Нет, не озабочен.

Сзади какой-то нетерпеливый водитель длинно загудел.

— Тогда погоди. Кажется, есть вариант.— Греков сел, отпустил ручной тормоз, «Жигули» сами медленно покатались к колонке.

— Могу устроить твоего парня,— сказал Греков, заправившись.— Есть у меня мастер-жестянщик на станции техобслуживания. Зимой он сбил какого-то мужика и с перепугу спрятался в психбольницу. Знаешь, у этого народа масса связей. Я ему зачем-то понадобился, выручил липовой характеристикой, денег дал... Мне вообще-то хотелось, чтоб его посадили. Но он выкрутился. Ну что? Можно к нему устроить хворого.

— Не знаю... Думаю, не пойдет. На этих станциях — делега на делеге.

— Пойдет! Они там зашибают дай боже...

— Ну ладно, попробуй, что ли.

— Не буду устраивать,— вдруг сказал Греков.— Противно обращаться к этому мастеру. Он мне, конечно, должен, да ну его к дьяволу!

Морозов пожал плечами. Греков — тоже. Обоим стало неловко.

Каждый сел в свою машину, и Морозов, дав полный газ, с ревом выехал со станции. «Сволочи! — подумал он неизвестно о ком.— Сволочи!» Он не мог бы объяснить, кого он имеет в виду, но только знал, что сам-то он наверняка относится к этим сволочам.

Вера ждала Костю на мостках лодочной станции, на том самом месте, где он оставил ее больше двух часов назад. Она смотрела на меловую гору, на которой солнце клонилось в прозрачную вечернюю дымку. По воде уже протягивалась сияющая огненная полоса.

Вера неподвижно стояла на краю дощатого настила. Что-то спокойное и твердое чувствовалось в ее маленькой фигуре, обращенной к тихой безлюдной дали, откуда некого было ждать. Завтра она должна была уехать из Старобельска. Сегодня они с Костей были вместе весь день, и она знала, что сегодня что-то произойдет. Она не могла знать, что именно, но жила в радостном и жутком ожидании, чего с ней прежде никогда не случалось. И думала она не о себе, не о нем, а о своей любви к нему. Да, она любила этого мальчика... Она любила! «Я уеду,— говорила Вера себе.— Через год я могу его забыть, потому что я не буду его видеть целый год, он станет совсем другим... И я тоже стану другой». Потом она возражала себе: «Пусть мы станем другими, но ведь это не исчезнет!»

Вера испытывала то необыкновенное чувство самоотверженности, которое было одновременно и жалость, и желание пожертвовать Косте всем, что у нее было, и надежда на счастье, которое вместе с тем не было ни одним из этих составных, а было ни на что не похожим.

Мать Веры не любила своего мужа и поэтому не смогла подготовить дочь к неожиданному чувству, вольно или невольно внушив ей лишь настороженность к мужчинам. Впоследствии пример матери не раз обдавал Веру ледяным холодом, и она не могла догадаться, что подавля-ет ее.

В тот вечер что-то должно было случиться. Костя

опаздывал, и она думала, что его опоздание как-то связано с несчастьем его отца. Другой, более простой причины не могло быть, но если бы она и была, то Вера приняла бы ее спокойно. Она чувствовала, что должна ждать, что в этом скрыт какой-то тайный смысл, и ей было хорошо ждать...

Костя шел по мосткам быстрыми шагами. Еще не повернувшись, она узнала его. «Что я ему скажу? — спросила она себя. — Надо сказать все!»

Костя же хотел рассказать ей о бабушке, которая наряжала землю, и боялся, что Вера не поймет, почему он опоздал. Но лучше правды не было объяснения. К тому же тогда Костя еще не научился лгать. Морозов постиг это искусство позднее, и Вера догадалась о его нечестности, которую она сама позволила ему и которую назвала «свободная любовь».

Вера повернулась, ее глаза были широко раскрыты, и она улыбалась хорошей родной улыбкой.

— Вот я наконец пришел, — сказал он свободно и как будто сказал этим и о своей бабушке, и о ее земле, и о своей помощи. «Я не мог прийти раньше, — говорили его слова. — Прости меня».

— Пришел? — спросила она.

Они обескураженно и радостно глядели друг на друга.

— Я ужин принес, — сказал он и развернул пакет с едой.

— А я совсем не голодная, — ответила Вера, но Костя пахмурился и вымолвил:

— Хоть немного съешь!

Она взяла огурец и ломоть хлеба, откусила от ломтя и зажмурилась:

— Какой вкусный хлеб...

— Ты проголодалась.

— Нет, я совсем не голодная. А вот огурец горький...

А ты почему не ешь?

— Ем, — сказал он. — Я на тебя засмотрелся.

— Я смешная? — спросила Вера. — Мелю языком что попало... Ты не слушай. Ты ешь. Какое тонюсенькое сало. И розовое. А я не люблю сала... Я люблю хлеб и огурцы. — Вера засмеялась, и, глядя на нее, засмеялся Костя.

— Я люблю...

— Я же говорю, что я смешная, — сказала она, по-прежнему смеясь. — Я сама не знаю, почему я такая. Сегодня мы будем самыми свободными людьми. Я тебя



совсем не стесняюсь. Странно, правда? Я тебя так мало знаю, а уже не стесняюсь. Это говорит о моей ветрености. А я и хочу быть ветреной и глупой, ты будешь строгим и умным, я ветреной и глупой. Согласен?

— Ты самая умная и красивая,— сказал Костя.

Вера была освещена тяжелым закатным солнцем, лучи пробивались сквозь русые пряди волос. Ее лицо было заметно оживлено.

— Скажи еще раз! — воскликнула она.

— Ты самая умная и красивая,— повторил Костя.

— Самая умная и красивая?

— Ты самая хорошая...

— И ты самый хороший,— сказала Вера.— Почему это раньше не приходило в голову? Нет, я глупая, мне только сегодня пришло, что ты самый хороший. Наверное, если бы я завтра не уезжала, мне бы это не пришло еще сто лет.

Сказав об отъезде, она замолчала, жалобно глядя на Костю. Он вздохнул и улыбнулся.

В парке заиграло радио, полилась веселая бездумная песня. Костя оглянулся и увидел, как двое мужчин за голубой кассой сосредоточенно раскрывают бутылку вина. Он завернул в газету оставшуюся еду и задумался.

— Пошли куда-нибудь, чтобы никто нас не видел! — решительно произнесла Вера.

Им некуда было пойти. (Когда Морозов стал хозяином родительской городской квартиры и у них появилась возможность уединиться, то в конце концов это, дав им внешнюю свободу от кого бы то ни было, толкнуло на путь слепой чувственности, который завершился разрывом.) А тогда у них был скромный крохотный Старобельск с рекой, двумя мостами, парком, где по вечерам играл оркестр и были танцы, с бывшим монастырем, тремя кинотеатрами,— словом, Косте даже не нужно было думать, что бы решить, куда им пойти.

— Идем! — сказала Вера.— Пойдем на танцы. Мне хочется, чтобы ты танцевал со мной. Станцуем один танец и пойдем дальше. Мы же свободные люди!

Костя сразу согласился. Он не умел танцевать, но сейчас ему казалось, что он сумеет. Пусть только заиграет музыка, и он обнимет Веру (он хотел ее обнять!) и полетит. Он летал во сне, и это ощущение было похоже на падение в светлую горячую бездну. В его мозгу пульсировал жаркий обжигающий свет и отдавался во всем теле.

Костя бросил затуманенный взгляд на другой берег реки, заросший густым лозняком, отыскал мост с фигурками мальчишек-рыбаков и ведущую в гору белую пыльную дорогу, по которой катился клубящийся шар автобуса, и вдруг он понял, что движется вслед за своим взглядом, движется над рекой, над противоположным берегом, над горой и дорогой, движется куда-то в степное безлюдье, размеренное огромными полями и узкими лесополосами, с укрытыми в балках селами, где в одном из сел стояла дедова пасека...

Сон продолжается мгновение. Это был даже не сон, а новая сказка, рожденная обжигающим светом взамен ясной гаршинской легенды, ибо та уже поблекла.

Костя поглядел на Веру, а она поглядела на него, и каждому из них показалось, что другой хочет что-то сказать, и они ждали, кто же скажет, но через минуту догадались, что могут бесконечно стоять, глядя друг на друга, и рассмеялись.

— Почему ты смеешься? — спросил он.

— А ты почему?

— Не знаю, Вера.

— И я не знаю, — сказала она. — Куда мы собирались?

— Не помню.

— И я не помню. Вообще-то я хотела танцевать, но это было так давно, что я уже расхотела.

Они пошли по краю мостков, заглядывая в прозрачную воду, в которой отражались их головы, потом поднялись по деревянной лестнице в парк, и распивающие вино мужчины проводили Веру задумчивыми тупыми взглядами.

На танцевальной площадке было мало людей и никто не танцевал. Играл магнитофон. За железными копиями ограды толпилась грозная компания юных хулиганов, настроенных, как всегда, антиобщественно. Сейчас, когда еще было светло, компания томилась за мирной беседой и изучала подходивший народ. Но уже в ее недрах собирались деньги на вино, и одурманенные своим ранним созреванием юные хулиганы готовились к рыцарским ристалищам.

Костя увидел своих соседей Петрова и братьев Шевчуков, одетых в белоснежные рубахи, и, не поддаваясь магнетизму, который исходил от компании, не стал подходить к ней.

— Костя! — крикнул Валерка Петров, скабрёзно усмеаясь. — Как дела? — Хотя он и не сказал ни одного гру-

бого слова, что-то крайне непристойное послышалось Косте в его вопросе. Какое дело Петрову кричать о том, что касалось лишь Кости и Веры?..

Костя гордо посмотрел на Петрова и не ответил балбесу.

Они подошли к будке, где продавали билеты. Рядом с будкой был проход в ограде, перегородженный железной цепью с отполированным частыми прикосновениями концом, и за цепью стоял человек неопределенного возраста.

Костя положил на подставку в окошке свой сверток, и, заглянув в окошко, узнал, сколько стоит билет. И отошел в смущении. Денег на два билета у него не было.

— У меня только полтинник,— постыдно объяснил он Вере.

Впервые он был унижен безденежьем. Она сказала ему:

— Моя мама говорит, что для счастья необходимы деньги,— и Костя уловил ее скрытое разочарование. Однако была ли на самом деле она разочарована, или он перенес на нее свое ощущение униженности? Эта мысль мелькнула и тотчас сгорела. Она была мелкой и пустой. Она лишь подчеркивала противоположность между тем, чем казался этот юноша в чужих глазах, и тем, чем он был в этот вечер. В общем, это была противоположность между скудной будничной жизнью, которая нас окружает, и между прекрасными минутами этой нелепо организованной жизни (подумал тридцатилетний горный инженер Морозов).

— Пошли, Костя,— позвала его Вера.— Все равно мы сегодня будем танцевать. Я еще не знаю где, но мы будем с тобой танцевать. Я очень хорошо это знаю.

Она словно увлекала его, вводила от реальности знакомых мест и условий, манила надеждой, от которой по телу прошел мороз. Костя летел...

В тот последний день накануне отъезда Веры Старобельск был тесен. Городок был создан для иных форм жизни, определенных и устоявшихся. Он походил на древний ковчег, где пассажиры и команда знали свои места и не задумывались над тем, куда они плывут. Плывут — и хорошо.

К вечеру все улицы становились сонными, редко-редко проезжал какой-то грузовик с обшарпанными бортами, поднимая пыль, и, как только его шум уходил вдаль, еще тише делалось на улицах. Только на центральной улице,

покрытой асфальтом, и на площади, где помещались городские учреждения, в вечерние часы было много молодых людей. Городок и для них был тесным и скучным, и здесь образовывались свои общества, группировки, здесь все знали друг друга и жили поисками развлечений. Но развлечения были установлены раз и навсегда, а хотелось чего-то нового, острого, запретного. И выходило так, что они тоже плыли куда-то, повторяя тех, от кого хотели отличаться.

Костя и Вера вышли из парка. Через несколько минут их догнала компания, в которой были Петров и братья, молча прошагала мимо и скрылась в гастрономическом магазине.

— Здесь! — сказала Вера.

Она глядела с напряженной скованной веселостью, Костя не понял ее. Вера показала на площадь перед Домом культуры, похожую на речную тихую заводь: на площади было малоллюдно.

— Да, танцевать будем здесь! — засмеялась Вера. — Ты уже забыл!

— Здесь?

— Здесь! Мы одни, никого вокруг нас нет, понимаешь?

Костя не понимал.

— Дай сюда, — сказала Вера и, выхватив у него сверток, побежала к уже закрытому газетному киоску, оставила сверток на прилавке.

— Все! — вымолвила она, вернувшись.

Костя застенчиво и обрадованно шел с Верой к центру площади. И действительно — за какие-то мгновения их короткого пути никого не стало вокруг, ни одной живой души не было в городке, только высокие пирамидальные тополя глухо шелестели, покачивались и трещали темными с беловатым подбоем листьями.

Вера остановилась и опустила руки на его плечи. Она ничего не говорила, ждала. Костя одеревенел и стоял дурак дураком и вдобавок глупо улыбался. Он чувствовал сквозь рубашку горячие руки Веры и больше ничего не чувствовал.

— Ну! — улыбнулась она. — Костя, где ты?

Он крепко охватил ее талию и закутился на месте, держа Веру на вытянутых руках.

— От-тана! — приговаривал Костя. — От-тана! Ота-па-па-па-на!

Это он напевал какой-то диковатый мотив.

— От-тана! От-тана! Ота-на-на-на! — Он ощущал, что он сильный и большой, а Вера — маленькая, незащищенная и дорогая. Она была женщина, а он — мужчина, — вот что он ощутил. И тогда жаркий обжигающий свет, пульсирующий в его мозге, вдруг отпустил.

Вера кружилась, откинув назад голову и широко глядя в небо. Ее рот был полуоткрыт в тихой глубокой улыбке, белые закрайки зубов чисто блестели, и ее взгляд, наверное, заглядывал туда, в полную неизвестность, в будущее, и видел, да, должно быть, что-то видел...

Они остановились, дышали шумно и сильно, еще не опомнились. Костя по-прежнему крепко держал Веру. Под его руками билась такая хрупкая, такая близкая жизнь, ближе которой у него не было. Как ему хотелось выразить то, что было у него на душе! Или сделать что-то необыкновенное — что?

— Эге, где они стоят! — раздался громкий голос.

Компания мирных хулиганов выстроилась на краю площади и с любопытством рассматривала Костю и Веру.

— Побежали! — весело шепнула Вера.

Костя и Вера пришли на автобусную станцию и сели в автобус. Автобус переехал через мост, пошел в гору, и Старобельск остался сзади. Красная башня монастырских ворот, зеленый купол церкви и тонкая вышка телевизионного ретранслятора поднимались над городом, на них держалось небо.

Город скрылся из виду.

Костя и Вера сидели на заднем сиденье, и, несмотря на присутствие еще трех теток и одного мужика в фетровой шляпе, им казалось, что они наконец одни. Пассажиры сидели впереди, затеяли разговор и назад не смотрели.

Автобус пронизывали длинные лучи вечернего солнца. Вера расстегивала ремешки на босоножках, подняла сначала левую ногу, потом правую и чуть наклонилась вперед, к своим коленям. Автобус тряхнуло. Вера прислонилась к Косте и улыбнулась:

— Держи меня!

Он обнял ее за плечи. Она держала ремешок, но что-то в пряжке заело.

— Ну что же там? — спросила она.

Костя присел перед Верой и поправил пряжку. Он посмотрел на ее ноги, на светлые волоски на загорелой

ноге, на белую полоску от ремешка босоножки, на жилку возле щиколотки. Он терял голову.

— Что ты? — спросила она.

— Ничего.

Он снова сел рядом с ней и обнял.

— Теперь можно не держать, — ласково сказала Вера и освободилась.

— Я буду держать тебя в узде, — улыбнулся он.

— И еще в ежовых рукавицах!

— В черном теле.

— Взаперти!

— В духовке.

— Меня в духовке? — спросила Вера. — Ты такой?

— У, ты еще не знаешь какой!

— Ну какой же?

— Хороший.

И вдруг оба замолчали. Сначала — на миг, на секунду, но вот прошла и минута и другая, и молчание стало давить.

«Что бы сказать? — думал Костя. — Как будто поссорились».

— Ты почему замолчала? — спросил он.

Вера смотрела в окно на скользящую по траве длинную и косую тень автобуса.

— Замолчала, и все.

— Но ведь так не бывает, — сказал он. — Всегда есть причина...

— Да нету никакой причины! — сердито вымолвила Вера. — Не обязательно причина...

Пассажиры разговаривали о ценах на поросят и свиней, мужичок в зеленой шляпе жаловался, что его за что-то оштрафовали. Костя снова перевел взгляд на Веру.

— Может, не надо? — спросила она.

— Что не надо?

— Ехать на эту пасеку. Уже поздно.

— Мы быстро, — сказал Костя. — Там дед такой шалаш поставил. С двумя кроватями.

— Мы вечером вернемся? — спросила Вера. — Мне еще собраться надо.

— Конечно, вернемся.

Она снова замолчала, но уже не так напряженно, как первый раз. И тень автобуса ее больше не интересовала. Костя догадался, что Вера думает о том, что будет, когда они останутся вдвоем. Она доверилась ему, и он ее пальцем

не тронет,— безоглядно решил Костя. Но, еще не зная на самом деле, чего стоит его храброе решение и как быстро оно забудется, он почувствовал странную тоску. Он не хотел оставаться прежним человеком, он хотел быть другим.

Последний год ребята в школе и во дворе говорили только об этом, приносили журналы с голыми женщинами, перефотографированные книги и соревновались в опыте. И все ввали. Понимали, что их ложь видна, но не могли удержаться. Косте нечего было сказать, он слушал, читал и смотрел. Он был не лучше остальных. Ему казалось, что все женщины, на которых он смотрит, знают, что приходит ему в голову, и он мучился, считая себя отвратительным.

Мог ли он теперь так думать о Вере? Нет, он был робок.

Автобус медленно ехал по проселочной дороге.

— Остановите! — крикнул Костя.

Скрипнули тормоза, автобус прокатил несколько метров и, плавно качнувшись, замер. Он взял за руку Веру и повел к открытой передней двери. Рука была горячая и сухая. Хлопали расстегнутые босоножки. Костя вышел, протянул руки Вере. Она засмеялась, падая ему навстречу. Ее лицо коснулось его лица.

— Вы остаетесь? — спросил шофер.

— Да, — ответил Костя. — Остаемся.

Автобус тронулся. На прощание к окну пристала физиономия зеленой шляпы — широкие скулы, круглый подбородок и вытянутый трубочкой нос.

И они остались. Кругом была нераспаханная степь, заросшая кустами старой полыни, кустиками осота и татарника и множеством разных цветов — мелкими ромашками, мышиным горошком, цикорием, васильками, клеверами — всем цветущим и растущим в южной степи.

Автобус исчез. Поднятая им пыль осела. Сойдя с дороги, Костя и Вера быстро потеряли ее из виду и оказались в диком поле. Ни столба, ни далекой постройки, ни другого какого-нибудь предмета, напоминающего о человеке, не было видно. Пахло горячей землей. Солнце было на последней трети своего пути к горизонту.

— Где мы? — спросила Вера.

— Это дикое поле. — сказал Костя. — Здесь половцы воевали с русскими... О Поле, Поле, кто тебя засеял русскими костями?

— Мы заблудились! — весело воскликнула она. — Сейчас палетят половцы и возьмут нас в плен.

— Я без них в плену, — ответил Костя и остановился, глядя на нее.

— У меня? — догадалась Вера.

— У тебя. — И он протянул ей руку.

— У меня? — Она тоже протянула свою руку.

— У тебя. — И они взялись за руки.

— Можно я тебя поцелую? — спросил Костя, приближаясь к Вере.

Она закрыла глаза, запрокинула голову, ее рот приоткрылся. Костя тоже зажмурился.

Вера прижалась к нему, их губы соприкоснулись и торопливо, неумело соединились. Вера выдернула ладонь, и ее руки сошлись у него на затылке. Костя не знал, что ему нужно делать. Он плотнее прижался губами к ее губам, ему стало больно, и Вера тихо застонала. Но эта боль и этот слабый стон не могли его остановить, а только распяляли, и что-то в нем говорило, что так все и должно быть.

Тяжело дыша и не глядя друг на друга, они остановились.

— Вера, я люблю тебя, — смущенно сказал он.

Тотчас его слова показались ему такими пошлыми и неоригинальными, что стало стыдно перед Верой. Но ничего другого в голове не было, никаких клятв и обещаний. Костя как будто сознавал их бесполезность. И, сказав, что он любит Веру, Костя снова ее поцеловал.

— Ну зачем? — говорила она, отворачиваясь. — Ну подожди...

А он целовал ее в шею, щеки, нос и глаза, твердил ее имя и ждал, что она тоже скажет: «Я люблю тебя».

— Ты сумасшедший! — сказала она, смеясь, и оттолкнула его.

Он бросился к ней. Она увернулась, отбежала и, запнувшись, глядела на него настороженно, а глаза были ласковыми.

Костя шагнул вперед, Вера вскрикнула и снова кинулась бежать. Потом оглянулась, увидела, что он остановился, и тоже остановилась.

— Не догонишь! — воскликнула она.

Он быстро догнал. Они стояли рядом, и их лица были близко. Они могли стоять сколько угодно времени; Костя больше не говорил о любви. Зачем было говорить? Она



была рядом, и он слышал, как она дышит, и видел, как она смотрит, и понимал, что она думает.

Вы помните свою первую? Ее глаза? Они глядят на вас оттуда, где уже никогда вас не будет.

Они пришли к цветущим кустам шиповника. Отсюда открылся одинокий тополь, такой высокий и красивый, каким может быть пирамидальный тополь в просторной степи и в чистом небе. И они направились к нему.

За топодем увидели пруд с утками. За прудом начался большой старый сад. В нем было много почерневших яблонь, одни уже высохли давно, а на других еще были живые ветки. Дорожки в саду заросли крапивой, она тоже цвела светло-фиолетовыми колокольцами. В глубине сада, за ивовым плетнем, на который лезли молодые огуречные усы, стоял просторный шалаш, покрытый сеном и двумя вылинявшими дождевиками. На одном из плащей блестела большая черная пуговица.

Они заглянули в шалаш, потом посмотрели друг на друга. Они все время занимались одним и тем же — смотрели друг на друга. И каждый раз смотрели неожиданно, словно не знали, что сейчас случится.

Было тихо, откуда-то спереди доносился лишь один размеренный звук — как будто забивали гвозди.

Она вошла в шалаш, потрогала свисающие с веревки пучки сохнувшей земляники, потрогала закопченный дымарь на столе и защитные сетки.

Костя взял палку и стал стучать по жердям и железным кроватям.

— Зачем ты стучишь? — спросила Вера.

Он ответил, что прогоняет змей, если только они здесь есть. И застучал снова.

Она остановилась и настороженно напрягла шею, но улыбнулась недоверчиво.

— Вот он! — крикнул Костя и швырнул палку в угол, где стоял четырехугольный ведерный бак.

Вера вскинула руки и, вся вытянувшись, замерла со вскинутыми руками. Он поднял палку, отодвинул бачок и сказал:

— Это Каменюка, не бойся.

— Какая каменюка? — Вера внимательно глядела в угол.

— Дед приручил старую крысу, — сказал Костя. — Она альбинос и, наверно, даже не крыса, а кука...

— Какая кука? — тотчас спросила Вера.

Костя заглянул под кровать и снизу кивнул:

— Вот...

Вера стала медленно приседать и наклонять голову. Он обнял ее колени и засмеялся, как ребенок, которому удалось перехитрить взрослого.

— Фу ты какой! — Вера отпрянула назад. Он покачнулся, но не разжал рук, и она, почувствовав, что он удержал равновесие, схватила его за виски и стала дергать и трясти.

Костя встал и поднял ее. Он услышал ее тело, которого касался лицом, оно жило, двигалось, волновалось, и это была другая, новая Вера.

— Ну, будешь еще? — спрашивала Вера, дергая его за волосы.

Он поглядел на застланную коричневым солдатским одеялом кровать и, развернувшись, сделал широкий шаг к ней.

Они снова целовались, и Костя на мгновение проваливался в какую-то бездну, не ощущая себя, а только сильные и засасывающие губы, волосы, какую-то одежду и руки, отрывающие его руки, — вот что ощущал, полностью растворившись в этой борьбе.

Потом она вздрогнула и замерла. Они опомнились, и им стало стыдно. Никакие слова не могли защитить от этого стыда.

Вера вышла в сад, потом вернулась и заговорила:

— Что же это? Что со мной? Это же не игра!

— Я люблю тебя, — хмуро сказал он.

— Да что ты все время повторяешь одно и то же? Люблю, люблю, люблю. Я тоже люблю тебя, только я молчу. — Она пожала одним плечом и снова шагнула к выходу.

И Костя понял, что она в чем-то упрекает его, и не мог разобрать, в чем же? Наверное, он был тороплив, груб и недержан, как животное. Он оскорбил ее.

— Прости меня, — произнес Костя. — Все так вышло...

— Но почему кажется, что все это игра? — не слушая, спросила она. — Обижаетесь? Не обижайся, ты очень хороший... Но я не могу. Я боюсь, что после этого... Это же грязно!

Из ее несвязных горячих слов Костя догадался только

об одном — Вера боится. Он захотел ее успокоить, однако испугался, что она подумает, будто он уговаривает. И не стал успокаивать. Сидел на кровати, упершись в колени, и молчал.

Вера еще что-то говорила о мужчинах, которые после этого теряют к женщине всякий интерес, но Костя все молчал и только думал, как пошло звучат ее слова, и сразу прощал ей и эти слова и что-то другое, чужое.

Потом Вера сказала:

— Моя мама...

В летних сумерках шалаша стало видно мать Веры. Она была в белом платье с высокими плечами и с высокой прямоугольной прической. И платье и прическа были очень странные. А сама мать Веры казалась молоденькой девушкой, лет семнадцати-восемнадцати.

Сперва было трудно различить, кто стоит рядом с ней. Приглядевшись, Костя увидел стриженного юношу в довоенной форме с одним кубиком на петлицах. Девушка — мать Веры поддерживала его. Лицо лейтенанта было бледно и неподвижно, как неживое.

— Верочка, это твой отец, — сказала мать. — Я люблю его. Он твой настоящий отец.

— Нет, я его никогда не видела! — ответила Вера. — Я знаю, кто мой отец.

— Твоего отца могу знать только я, — сказала мать. — Мы учились вместе. Он ушел на войну, а в сентябре его убили.

— Я люблю тебя, — проговорил лейтенант.

— Он мог быть моим отцом? — спросила Вера.

— Ты видишь его? Прощай.

Девушка в странном белом платье и юноша в довоенной гимнастерке исчезли.

Эта картина долго стояла перед глазами. Позже она могла бы прояснить что-то в самой Вере, но, как все влюбленные, Морозов был ограничен и не разбирался в том, что его не касалось. Ему было интересно, пока Вера говорила, но, избери она другую тему, например спорт или географию, Морозов заинтересовался бы еще больше. Потому что есть такие вещи, к которым уже нечего добавить и ничего нельзя изменить. Но вот в чем дело! Сколько он с Верой рассуждал о будущем и мечтал, вспомнить же было не о чем. А убитый лейтенант не забылся...

Она отвела его руку, и они вышли в сад. Под деревьями стояли темно-желтые ульи с плоскими и двускатными

крышами. Пчелы не летали, лишь две-три опоздавшие жужжали на летках, уходя домой от наступившего вечера.

Где-то по-прежнему стучали молотком. Пахло дымком невидимых летних кухонь. В ветках одной яблони фыркнул крыльями воробей.

— Если бы тебя убили, я бы ушла от всех в такой старый сад! — возбужденно сказала Вера.

Быстро темнело, как будто собиралась сильная гроза. Было тихо и безветренно. В безоблачном небе еще не ушло солнце. Сумерки покрывали только сад, а там, в вышине, таинственно и фантастично светился день.

Вера глубоко, прерывисто вздохнула.

— Ты меня правда любишь?

Она остановилась, вглядываясь ему в лицо. Глаза чуть-чуть вздрагивали, кусочек за кусочком ощупывали лоб, щеки, подбородок. Что она хотела увидеть?

— Правда любишь? — спросила Вера.

Ее руки коснулись его груди. Он взял ее руки.

— Я не могу представить тебя. Зажмурюсь — и тебя нет... — Вера слегка наклонилась, опираясь на его руки, и, то приближаясь, то отстраняясь, говорила: — Я не знаю, люблю тебя или не люблю. Сейчас мы поедем домой, да? Немножко побудем здесь и поедем... Мой хороший... Мой хороший... — Она несколько раз повторила эти два слова, повторила по-детски нежно. — Знаешь, когда мы состаримся, мы будем вспоминать друг друга, смешно, правда? Мы будем старыми?! У нас будут дети и внуки. И мы будем им говорить, что надо приходить домой не позже десяти вечера...

Вера грустно улыбалась. Кажется, она уже тогда предвидела расставание? Или на нее действовал предстоящий на завтра отъезд?

Костя возразил ей — ведь мы поженимся!

— Поженимся, — повторила она. — Поженимся... Потом ты меня разлюбишь и разведемся.

— Никогда тебя не разлюблю.

— Хороший мой... Откуда мы знаем, что станет с нами через год, пять лет, десять лет? Может, завтра мама разведется с отцом и мы уедем?.. Ну не хмурься, никуда мы не уедем.

Они долго говорили о будущем и целовались без страсти, с какой-то саднящей нежностью.

Потом Костя спросил:

— Если бы я погиб, ты бы смогла выйти замуж за другого?

Удивительный был у него оптимизм! Он не сомневался, что Вера ответит отрицательно, и, когда она сказала: «Наверное, не сразу... не знаю», — был поражен.

— Значит, все-таки выйдешь?! — воскликнул он. — Эх, ты...

— Я не знаю, — мягко ответила она. — Время так изменяет людей...

Вера была правдивее и умнее его, но то, что правда была холодной и слепой, убивало Костю.

— Время изменяет! — горячо повторил он. — Изменяет! Все знают. Но сейчас-то, сейчас кто тебя изменил?

— А зачем делать вид, что мы наивные дети?

— Тогда давай есть мед, — сказал Костя.

Она заплакала.

Он снял крышку улья, вытащил рамку с вощиной, по которой ползал десяток пчел. Вера отвернулась и держала руки у лица. Костя вырезал большой кусок вошины и положил в миску вместе с ножом. Жидкий мед вытекал из сот и расходился кольцом по дну миски.

— Давай попробуем меда, — сказал Костя. — И поедем.

Он поискал в шалаше хлеб. В противоположной от входа стороне стояла медогонка, высокая, железная бочка. На ней лежал завернутый в полотенце черствый хлеб и несколько мелких зеленых яблок.

Вера попросила воды. Костя зачерпнул кружкой в баке.

— Принеси мне свежей воды, — попросила она, отпив глоток.

Костя взял ведро и пошел к колодцу. Журавль с противовесом из больших ржавых шестерен находился в конце сада. Там начинался двор, стоял белый дом с хозяйственными пристройками. На крыше сарая старик в военной фуражке прибивал планки на черный смолянистый рубероид.

Костя набрал воды и пошел обратно.

Никого он не мог видеть, он чувствовал, что с ним случилось несчастье.

Вернувшись, он увидел лежащую на кровати Веру и ее платье, светящееся на спинке. И похолодел от страха и пастушней духоты. И все понял.

Костя стоял с полным ведром, не решаясь приблизиться к ней.

Она приподнялась, хрустнуло сено в наволочке. Вера села, и одеяло сползло с ее груди. Она не подхватила его. Ее незагорелые груди, казалось, сверкнули в темноте.

— Костя! — позвала она быстрым задыхающимся голосом.

Он целовал ее мокрое лицо, в чем-то клялся — она была в каком-то припадке...

Через год Морозов стал студентом, и любовь их продолжалась долго; в один из дней они решили пожениться, но у Веры случилась возможность поступить в Москве в аспирантуру, так они расстались, не подозревая, что расстаются.

## IX

Зимин ждал гостей к семи часам вечера. До этого срока оставалось сорок минут, он сидел на тахте в синем тренировочном костюме и вертел над шахматной доской пластмассового коня. Напротив сидел его сын Игорь, двенадцатилетний мальчик, похожий на Зимина. У него были такие же, как у отца, широкий рот и торчащий нос. Главное сходство заключалось не в общем рисунке, но скорее в одинаковых положениях и движениях головы, шеи, рук.

— Пойду-ка я сюда, — Зимин поставил коня на край доски.

— Сюда? — спросил Игорь.

Зимин взял коня обратно. Он играл хуже, и оба это знали. Игорь занимался в шахматной секции Дворца пионеров и в игре чувствовал свое большое преимущество перед отцом.

— Да не бойся! — воскликнул Игорь. — Можно и сюда, я просто так. А то вдруг через три года попросишь вернуться к этой позиции. Ставь на h5. Это плохой ход, но не проигрышный.

— Не спеши, гроссмейстер! Ты еще не выиграл, — Зимин небрежно поставил коня на поле h5. Он увидел, что может перевести ферзя на g3 и потом закатить (он загудел в нос усыпляющий мотивчик) мат!!

— Думай-думай, — он привстал, достал со стола коробку и бросил в рот леденец. — Женечка, иди посиди с нами! — позвал жену, которая готовила закуски на кухне.

Игорь пропустил мимо ушей все его слова и задумал длинную комбинацию. Если пожертвовать в центре две пешки, вскрыть большую диагональ для белопольного слона, отвлечь ферзя еще одной жертвой, тогда... тогда...

Игорь стал считать варианты. Он забирался в туманную высь, где под ногами все шаталось, где уже нельзя было точно рассчитывать, а можно было лишь довериться своему чувству игры. Оно говорило ему, что там, за пределом закономерности, откроется победа.

— Думай-думаи! — поторопил Зимин.

Но как-никак в этой комбинации таился риск, а проигрывать не хотелось. Игорь жил в шахматной игре сильным и храбрым человеком, она пробудила в нем сладчайший вкус к поединку и подарила иллюзию превосходства над большинством взрослых мужчин. Отец тоже принадлежал к этим мужчинам, так как не признавал, что слабее, и проигрывал раз за разом. Когда проигрыши стали ему привычны, он утратил интерес к игре с Игорем. И вместе с отказом от нее отдалился от Игоря. Теперь они играли редко, как бы в шутку. У них не стало общего дела.

— Собирайся, скоро семь! — сказала из кухни жена.

Игорь двинул королевскую пешку.

— Сейчас, — буркнул Зимин. — Успеет. Значит, пешечкой? А мы ее бьем. Вот так.

Он с улыбкой поглядел на сына, и тот улыбнулся точно такой же зеркальной улыбкой.

— Ты много говоришь, — вдруг сорвалось у Игоря.

— Я? Мы с тобой редко разговариваем.

— Такая у нас жизнь, — сказал Игорь. — Я думаю, ты не знаешь, о чем со мной говорить.

Зимин наклонился и провел ладонью по его голове взад и вперед.

— Ну, даешь! — произнес он удивленно. — Ты меня упрекаешь?

— Ничего не упрекаю, просто я это подумал.

— Но если ты так подумал, этого еще может и не быть в действительности, — сказал Зимин. — Согласен?

— Может и не быть.

— Пойми, у меня сейчас много работы... Много работы... Ты еще не знаешь... Твой ход?

— Да. Я тоже быю, — Игорь поднял ноги на тахту, сел по-турецки и ссутулился над доской.

«Должен быть выигрыш, — думал он. — Это комбинация в духе раннего Таля».

Через секунду шахматные фигуры как будто разбежались и утащили с собой доску, — мысли Игоря смешались. «Я же люблю его, — сказал про себя он. — А иногда совсем не люблю. Когда он становится...» — Игорь не мог

найти слова и не затруднялся искать. Сейчас отец был неуверенный в себе и одновременно уверенный, злой и одновременно добрый, спокойный и одновременно псих, искренний и одновременно фальшивый. В результате он был никакой, жалкий.

Игорь снова стал думать о шахматах. Зимин по-прежнему зудел свой мотивчик. Игорь считал и считал варианты, потом быстро протянул к доске худую руку и пожертвовал коня.

...Зимин знал, что Женя приготовила интересную забаву — объявить гостям их гороскопы. Она уже давно втянулась в эту игру, подружилась с какой-то чудной аспиранткой Жанной, которая увлекалась оккультными науками, ходила в темных очках, скрывающих ее веселые глаза. Если бы Зимин попытался установить время, когда его жена сблизилась с Жанной, то он бы понял, что это произошло после того, как был продан сеттер Чарли. Этот длинноухий, кофейно-пегий пес появился в доме после того, как Зимин однажды осенью по деловым соображениям ездил вместе с товарищами из треста на охоту; вернувшись, он сказал, что хорошо бы иметь ружье, и Женя подарила ему дорогую двустволку. Вскоре она купила и щенка. Она вообще настойчиво заботилась о развлечениях Зимина, и под ее влиянием он одно время даже коллекционировал марки. Но ружье и марки были забыты, а Чарли пришлось продать, так как от его шерсти у Зимина начался аллергический насморк.

Вот, пожалуй, когда у Жени появилось увлечение астрологией. О второй цепи причин Зимин ничего не знал, и то, что Женя, кроме него, любила еще одного человека, было ему неизвестно.

С тем, другим, она познакомилась в первые дни студенческой практики, на раскопках древнего города Любеча, на Днестре. Его звали Василий... Экспедиция, пробив шурфы и сделав раскопки, нашла город, в котором в 1097 году собрались русские князья, чтобы остановить междоусобные войны. Стояли легкие дни раннего июня. Цвел розовый шиповник. «Женя, Женя! — крикнул Василий. — Где ты? Смотри, что я для тебя нашел!» Его находки — серебряные серьги, колт и сосудик для благовоний — уже много лет хранятся в запасниках исторического музея, а Жене до сих пор слышится: «Женя, Женя! Где ты!» Ей тоже повезло найти горшок с гречневой кашей, и она вздрогнула от ощущения тысячи лет. Сняв окаменевшую корку, Женя



взяла щепоть каши и поднесла ко рту. Василий схватил ее за руку и остановил: «Это опасно».

Там, ночью, на Днепре, Женя впервые испытала естественную муку любви. Однако женщина в ней так и не проснулась. Василий оскорбил ее. «Я закончу аспирантуру и женюсь на тебе, — сказал я. — А раньше — не могу». — «Почему?» — удивилась она. «Так будет лучше», — рассудил он.

И через четыре месяца Женя вышла замуж за Сергея Зимина.

Василий нашел ее только прошлым летом. Он был женат, имел двух дочерей. Его научная карьера была прекрасной: он раскопал сенсационные скифские захоронения. «Давай бросим все! — с горькой надеждой произнес он, и Женя уловила, что от него пахнет коньяком. — Помнишь Андрея Волкова и Олю? А у них тоже ничего не вышло... Разъехались, завели семьи, детей». — «И что?» — спросила она. «Теперь они поженились. В любви добра не ищут. Наверное, только ради этого и надо жить... Я люблю одну тебя!» Но Женя заплакала и ничего не ответила.

Неужели этот тучный лысеющий мужчина с затравленным взглядом был тот, кого она любила и кого ждала?! Встреча с ним опустошила Женю.

«Смесь гордыни и трагической покорности то возносит вас на вершины, то швыряет в бездну», — прочитала она в гороскопе, переведенном аспиранткой Жанной из французского журнала. В тот момент это походило на правду.

Раздался звонок в дверь.

— Сергей, звонят, — крикнула Женя.

— Сейчас.

Звонок деликатно повторился.

— Сергей!

— Игорьек, открой-ка, — сказал Зимин.

Игорь пошел отпирать. На пороге стоял толстый мужчина в темно-синем костюме. Он был потный. Наверное, ему было жарко.

— Здорово, молодой человек! — весело сказал мужчина. — А я думал, ты уже вот такой вымахал. Помнишь меня?

Игорь молча глядел на него, он видел этого человека впервые.

— Кто там, Игорь? — слышался голос Зимина.

— Это я, Сергей Максимович! Кияшко!

Зимин вышел в коридор, кивнул головой.

— Заходи, Кияшко.

— Я не рано? — спросил Кияшко. — Понимаете, не рассчитал: такси сразу поймалось.

Выглянула Женя, румяная, в красном фартуке.

— Здравствуйте, — сказала она, — заходите. У нас тут все в дыму! — Она была привлекательна в своей здоровой статной полноте, подчеркнутой туго повязанным передником.

Кияшко шагнул к ней и протянул руку.

— А почему вы без жены? — спросила Женя.

— Она у меня домоседка, — небрежно ответил Кияшко.

— Сергей, развлекай гостя, а я.. — И она ушла на кухню.

Кияшко почувствовал, что своими словами о жене он не угодил хозяйке, но поправиться было поздно. Он вошел в комнату. Зимин усадил его на стул, а сам стал дальше играть с сыном. Жертву коня он, конечно, принял сразу, как только понял, что никаких прямых угроз нет.

— Феликс, как дела дома? — спросил он, чуть поворачиваясь к диспетчеру и не глядя на него.

— Спасибо, ничего, Сергей Максимович.

«Болтун!» — подумал Игорь, хотя Кияшко произнес всего несколько слов. Он совсем низко согнулся над доской.

— Не хочется играть! — Игорь ударил сомкнутыми пальцами по фигурам. — Не могу я так играть!

— Что за штучки? — спокойно и строго спросил Зимин. — Если проигрываешь, надо быть вдвойне выдержанным. Иди к матери на кухню.

Сын медленно, с резким стуком собирал фигуры. Он знал, что может заплакать.

— Сергей Максимович! — окликнул Кияшко с подъемом голоса. — А ведь знаете, неспроста вы нас пригласили сегодня.

Зимин отмахнулся.

Игорь взял шахматы и пошел в свою комнату.

— Я сказал: на кухню, помогать матери! — твердо произнес Зимин, но сын молча закрыл за собой дверь. — Вот сыночек, в гроб вгонит! Игорь, слышишь меня?.. Ну и молчи. Настоящие мужчины не отмачиваются за закрытой дверью.

Зимин поглядел на Кияшко, словно говоря: «Ну и глупый же у тебя вид, братец!» — и спросил:

— Что там на твоём галстуке написано?

Кияшко приподнял конец галстука.

— А что?

— Так... Ладно.

Зимин о чем-то задумался. Кияшко скрипел стулом, не решался что-нибудь сказать. Ровно в семь приехал Богдановский с женой. Их встречала Женя, потом вышел Зимин, уже успевший переодеться, за ним выглянул Кияшко. Появление Богдановских все изменило, и почему-то возникло ожидание праздника. Почему оно возникло, никто не мог понять. У трех мужчин не было никакого дела, а жена Богдановского, тоже Валентина, направилась на кухню, и все трое, стоя возле раздвинутого, но еще пустого стола, искали тему для разговора, того необязательного приятного разговора, который предшествует дружескому застолью. Вскоре они нашли такую тему. Кияшко скинул свой синий тяжелый пиджак и стал похож на двух других мужчин в легких сорочках.

— Ты видел такой галстук? — спросил Зимин Богдановского.

Игорь слышал их разговор. Он лежал на короткой детской тахте и читал книгу Роберта Джеймса Фишера, этого сумасбродного гениального шахматиста, ставшего гроссмейстером в шестнадцать лет на турнире в городе Партороже. У книги был эпиграф:

«На шахматной доске лжи или лицемерию нет места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива. Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест глаза лицемеру.

*Эммануил Ласкер».*

\* \* \*

— А я бегаю по утрам, — сказала Валентина. — Пятнадцать минут обязательно.

— И зимой? — спросила Женя.

Кухонная мебель была голубого цвета. На табуретке стояла кожаная коричневая сумочка Валентины. Женя резала над блюдом помидоры. В ее руках был нож с красной ручкой, с несколькими патяпутыми между проволочным каркасом тонкими параллельными струнами-лезвиями. Она водила по этому ножу помидором, и он быстро разделялся на дольки.

— И зимой тоже, — сказала Валентина. — Какой чудной нож. Такая легкость в теле... Как это сказать?..

— А мне было бы неудобно бегать, взрослая тетка, вдруг куда-то трусит.

— Радостное чувство в теле. Я помолодела лет на десять и любовь ощущаю по-другому. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Сергей любит всякие игрушки.— Женя кивнула на нож.— Достал кухонную машину, знаете,— мясорубка, хлебoreзка, кофемолка. Он ведь и дома руководит...

Женщины улыбнулись, их улыбки не были похожи. Женя пронизировала над слабостями близкого человека, а Валентина улыбалась как будто из бронированной щели. И Женя поняла, что та помнит, что Сергей — начальник ее мужа, Валентина Валентиновича.

— Женя, может, я помогу?

— Спасибо, Валя, помогать не надо. Мы их позовем, они все быстро отнесут. Сережа!

— Что? — не сразу ответил Зимин.

— Иди сюда!

— Сейчас,— тоже не сразу донесся голос.

— Это у вас, «сэссон»? — спросила Валентина.

— Наверное, «сэссон». Во всяком случае, намочили мне голову и стригли тупыми ножницами.

— Я не сказала бы, что уж очень красиво. И сколько стоит?

— Около четырех.

— У вас свой мастер?

— Да. Сережа! — снова позвала Женя и, заведя руки за спину, развязала тесемки фартука. Ее грудь приподнялась, и Валентина поглядела на кофточку Жени.

Морозов побрился и уложил в плоский черный портфель вещи для небольшого путешествия. Термос с кофе уже стоял на столе в прихожей. Оставалось присесть где-нибудь на краешке и минуту посидеть молча.

У него мелькнуло: сразу ехать, а Зимина с его аля-фуршетом послать в темное место. Что ни говори, заманчивая была мыслишка. В Старобельск доберется до полночи и выспится как следует до утра, а если пойдет в гости, тогда всю ночь придется мучить себя в дороге. Что он забыл у Зимина?

Морозов сейчас позвонит, скажет, что все-таки берет отпуск, как уговорились...

Но только он протянул руку, как телефон зазвонил, чем сильно озадачил. Морозов опустил руку на прохладное гладкое тело трубки и задумался, стоит ли ее поднять,

или в этом нет необходимости. Раз он собрался уезжать, то все звонки до единого будут стараться его удержать и сорвать поездку. Он был опутан цепями настоящего, они не отпускали. «Ведь никуда же не поеду! — насмешливо сказал себе Морозов. — Веры уже нет, Старобельска тоже нет, и тогдашнего давно уже не существует. Если я не поеду, это избавит меня от неприятностей и разочарований».

Телефон звонил в третий или в четвертый раз, потом словно подавился. Морозов отошел от него в растерянности. Дело было не в том, сильно ли изменились Старобельск и улица Гаршина, а в чем-то совсем другом.

Он не додумал этой мысли, телефон снова зазвенел, и теперь Морозов одолел свою мистическую робость.

— Мороз? Сейчас буду у тебя. Потрясающий шанс. Жди. Отбой.

Узнать голос друга было легко. «Что я говорил? — усмехнулся Морозов. — Началось».

Что-то началось, он в этом не сомневался. Павлович захочет куда-то его втянуть: «Это очень важно, Мороз! Не будь скотиной. От твоего решения зависит моя судьба».

Все люди, убеждающие других сделать что-то, обычно прибегают к одним и тем же выражениям. Но одни произносят их вслух, а другие только интеллигентно угрожают их применить. Павлович был прозван «экстремистом» за свою решительность.

Опять всплывал «Ихтиандр»... Странное дело, даже думать о клубе Морозов не хотел, и предстоящий разговор тяготил его. Он откажется от любых попыток тащить покойника с кладбища, как бы Павлович ни старался.

С открытого балкона донеслось татаканье мотоцикла. Морозов взглянул сверху на двор, у подъезда стояла красная «Ява», а могучий Павлович уже входил в двери подъезда.

Через мгновение он был в квартире Морозова, давил ему ладонь и, когда Морозов хотел захлопнуть дверь, остановил:

— Там Дятлов.

Тут появился запыхавшийся газетчик, и Морозов понял, что сейчас начнется атака в два голоса.

— Я уезжаю, — сказал он и показал на портфель. — Давайте выпьем кофе и через пять минут...

— Мороз, не валяй дурака, — Павлович бухнул рядом с портфелем свой мотоциклетный белый шлем. — Дятел сообщит тебе потрясающую новость. Шахтостроители при

проходке ствола напоролись на водоносный пласт. Ствол залило. Откачивают бадьями.

— Восемьдесят кубов в сутки,— вставил Дятлов.

— Отдышался? — спросил Павлович.— Ну, расскажи ему. Понимаешь, Мороз, это бог увидел наши страдания и дал нам еще один шанс. Кто им сказал про «Ихтиандр»? Они позвонили вот ему и просят нас приехать.

— С аквалангами,— сказал Дятлов, пристально глядя на Морозова.

— Понимаешь, с аквалангами! — Павлович ладонью ударил Морозова по спине.— Ясно?

— Пьем кофе,— Морозов взял термос и пошел на кухню.

Павлович наклонился к Дятлову и пробормотал:

— Что-то не пойму.

— Ему это до лампочки,— сказал Дятлов,— сразу видно.

— Ты его плохо знаешь,— возразил Павлович.— Но все равно не пойму...

Они с Морозовым познакомились лет десять или двенадцать назад; один был сдержан, а другой горяч, и дружбы между ними не водилось, но ровные отношения, подчас более прочные, чем дружба,— они были. Когда «Ихтиандр» только-только начинался, проклеивался сквозь панцирь привычных летних отпускных путешествий на Черное море для подводной охоты и когда Павлович притащил акваланг, тогда он и стал председателем клуба. Второго такого лидера, как этот черноволосый, всегда закрытый до глаз небритой щетиной, бесцеремонный Павлович, среди них не было. Казалось, один он знал, что нужно делать. Старый, списанный в утиль компрессор, помещение бывшего гаража на берегу Кальмиуса, сварочный аппарат, листовое железо, электроды, шланги высокого давления — все это, как многие другие вещи, достал Павлович. Он же был и первым в стране человеком, прожившим в подводном доме два дня. Он бы мог стать нашим Кусто, но ему чего-то не хватало. Павлович слишком явно рвался первенствовать... В сравнении с ним Морозов был серой личностью. Он держался в густой тени и занимался техническими вопросами. Его должность в «Ихтиандре» называлась — заместитель председателя клуба по технической части. На нем лежали проекты, планы экспериментов, хозяйственные договоры,— словом, он был чиновник-энтузиаст, подчиненный организации. В числе акванавтов

(кроме первой экспедиции) имени Морозова нельзя было найти. Когда обсуждали кандидатуры претендентов, у других оказывалось больше оснований идти под воду: тот был врач, тот научный работник... Но все они знали, что без Морозова у них не вышло бы ничего.

После первой славы Павловича разжаловали из председателей. Дело вышло серьезное, а он мешал, потому что... впрочем, ему тяжело было вынести славу. Чего он добивался, он получил и остался в роли исторической личности. «Первопроходцы умирают», — шутил Павлович.

Морозов тоже был против него, однако стать председателем клуба не согласился, не представляя, чем будет заниматься. Многими это было истолковано в том смысле, что он проявил благородство и т. д.

И сейчас, когда Павлович говорил Дятлову: «Ты его плохо знаешь», он надеялся на то, что Морозов решится спуститься в черную воду, что героизм ихтиандровцев прорвется сквозь бюрократические баррикады и наконец все поймут, с какими людьми им приходилось иметь дело. За Морозовым пошли бы старые подводники, клуб мог бы ожить.

— Почему у тебя кофе в термосе? — спросил Дятлов.

— Я же сказал, что уезжаю.

— Далеко?

— В Старобельск.

— Постой, в какой Старобельск?! — воскликнул Павлович.

Морозов не смотрел на Павловича и говорил Дятлову:

— У меня там бабушка...

— Кто-то заболел? — спросил Павлович. — Умирает? Или дом сгорел?! Костя, я к тебе взываю от имени нашего «Ихтиандра».

— Вот-вот, — сказал Морозов. — Он считает, что я через пять минут буду плакать.

Должно быть, на его лице отразилась усмешка. Павлович требовательно глядел на него, готовый в любую минуту продолжать натиск.

— Еще налить? — Морозов потянулся к термосу.

Дятлов подвинул свою чашку. Павлович стер ладонью со стола кофейные капли, взяв с подоконника передник, вытер им руки.

Морозов поймал его на этом как бы завершающем жесте и встал.

— Уловил шанс? — спросил Павлович, оставшись на

месте.— В конце концов, твой долг помочь попавшим в беду шахтерам.

— Долг? — переспросил Морозов.

— Именно долг! Прямой! Когда на дороге человек терпит аварию, я должен остановиться, куда бы я ни летел.

— Я все понимаю,— сказал Морозов.— Я должен ехать в Старобельск. Почему я еду, я говорить не хочу. Но ехать мне надо.

Павлович вскочил, обнял Морозова и сказал:

— Ну завтра поедешь!

— Ты и мертвого уговорил бы,— остановил его Морозов.— Только не надо. Чем бесцеремонней будешь наседать, тем тверже... О-о! — Морозов посмотрел на часы.— Все! Меня еще ждут у Зимина. Поехали!

Он вышел в коридор, взял портфель и открыл двери. Это походило на бегство. Павлович нагнал его.

— Разве ты можешь так! — взревел он.

— Разыщи других, не теряй времени.

— Но никто без тебя не хочет!

— И правильно делают, «Ихтиандра» больше нет. Пусть на шахте откачивают воду насосами.

— Ясно! — сказал Павлович.— Ну черт с тобой. Дятлов!

Дятлов выглянул из кухни.

— Он предатель! Так и напиши...

Они ушли, Морозов подождал, пока не завелся мотоцикл, и ему было тошно оттого, что он не поддался натиску Павловича.

Греков тоже пришел с женой. Она была высокая, широкоплечая, с красивыми ногами, которые при каждом ее шаге оголялись из-под длинных боковых разрезов на длинной юбке. Ее звали Ксения, но Греков звал ее Саней. Женя Зимина и Валентина Богдановская приняли Саню с обязательными в таких случаях улыбками, найденными для прикрытия того досадного факта, что женщины до сих пор были совсем не близко знакомы.

Потом Саня поздоровалась за руку с мужчинами и только одному Аверьянцеву кивнула издали, потому что он стоял далеко от нее у книжных полок и не догадался подойти.

По словам ее мужа, Аверьянцев был угрюмый бесцветный человек, один из тех посредственных труженни-



ков, кого оскорбляет чужой успех. Несколько минут назад Греков успел объяснить ей, что Аверьянцев наверняка нарочно пришел без жены, чтобы та не помешала затеять скандал, и Саня с интересом приглядывалась к этому человеку.

Аверьянцев держался заметно в стороне от Зимина и от дружеского круга, центром которого был Зимин. Он взял с открытой полки толстую книгу и, как стеснительный юноша, сосредоточенно ее перелистывал.

— Что вы читаете? — спросила Саня, подойдя к нему.

Он молча показал ей голубовато-серую обложку «Курса общей геологии». Его лицо с приплюснутым путиному носом было невзрачно, а маленькие светло-голубые глаза смотрели насмешливо. Она ощутила, что он понимает причину ее любопытства и видит в ней своего соперника — Грекова.

— В гостях читать не принято, — улыбнулась Саня и взяла у него книгу.

— Ну что же теперь? — спросил Аверьянцев.

Глядя на Саню, он вспомнил, что был один зимний вечер, по стеклу стекал мокрый снег, горела яркая лампа, а он с Грековым бесцельно сидел на шахте, хотя можно было уходить домой. Они вяло разговаривали, зная, что сегодня они уже свободны. Греков сказал, что его ждет жена с сыном, что наконец они семейно выбрались в кино. Потом пришел Зимин, уже одетый в пальто и шапку, спросил: «Сумерничаете, мужики?» — и сел рядом, тоже расслабился. В те минуты не стало между ними различий, они сделались равными, и Греков забыл, что его ждут, остался ради задушевного разговора с Зиминим. Он выиграл в те минуты зимнего мартовского вечера. Но Аверьянцев ничего не выиграл, потому что вскоре ушел.

С тех пор началось сближение Грекова с Зиминим.

Как теперь далек был тот вечер... Глядя на некрасивую, женственную Саню Грекову, выполнявшую какое-то поручение своего мужа, Аверьянцев чуть-чуть пожалел ее. Помнила ли она, как стояла под мокрым снегом?

— А что, по-вашему, счастье? — спросила Саня.

— Какое там счастье, — буркнул он. — Где вы его видели?

— Видела! — засмеялась она. — Женщины всегда находят больше радостей...

Сели к столу, но хозяйка как-то необычно рассадила

гостей, получилось, что жены сидят рядом с чужими мужьями.

— С нашими мужьями нам давно пора организовать свой женский клуб,— сказала Валентина.— Время так быстро идет!

Она с вызовом поглядела на Богдановского, однако муж одобрительно кивнул, превращая ее тайное недовольство в обычный треп. Валентина повернулась к своему соседу (им был Тимохин) и сказала ему ласково:

— Вы мой кавалер?

Тимохин приятно улыбнулся какой-то озорной мальчишеской улыбкой, взял салатницу и предложил ей салат.

— Вы знаете, я бегаю по утрам,— сказала Валентина.

— Я тоже бегаю,— ответил он.— Это полезно для здоровья.

— Да, еще бы!

«Что-то ты полысел,— заметила она про себя.— Женщины довели». И стала явным образом строить ему глазки.

Саня Грекова оказалась рядом с Кияшко, но тот следил за Зиминым и за своей тарелкой, и Саня обратилась направо, к белокурому курчавому Аверьянцеву.

— Чего вы хотите? — с холодной вежливостью спросил Аверьянцев.

— Налейте вина.

Он взял первую попавшуюся бутылку с вином и налил фужер до самых краев.

— Ой! — засмеялась она.— Через край!

— Да,— сказал он,— бывает.

Аверьянцев быстро поднял фужер и отлил вина в свой, расплескивая на стол.

— Теперь хорошо? — то ли спросил, то ли утвердил он.

Она заметила, что Аверьянцев свободный, простой человек, и, хотя его естественная простота напоминала обычную шахтерскую грубоватость, которую она недолюбливала в муже, сейчас, в этом беспричинном застоле, она с интересом начала угадывать характеры.

Женя сидела с одного края стола, а Зимин — с другого. Выпили за встречу и за здоровье, потом снова выпили, и завязался общий неопределенный разговор о жизни. Все ждали, что вот-вот вечеринка засверкает весельем, и хотели этого веселья, но, как современные люди, мало верили в его возможность.

Вдруг мелькнула мысль, что надо срочно женить Ти-

мохина, человека вполне солидного, с квартирой, с положением. Валентина Богдановская кстати припомнила:

— До двадцати пяти сами женятся, до тридцати люди женят, а после тридцати — черти.

Выяснилось, что Тимохина будут женить именно черти. Стали думать о невесте, чтобы была красивая, образованная и с приданым. И Кияшко предложил странную затею: узнать, какая из трех присутствующих женщин больше всего нравится мужчинам. То ли он читал о Троянской войне, то ли не читал, а вот предложил, и всем это понравилось. Только один Богдановский стал отговаривать от этой затеи, но на него зашумели, и первый среди всех — Кияшко. Он был очень доволен своей выдумкой. Богдановский догадывался, что его Валентине не светит стать красавицей, и особенно спорить не стал.

Женщины хвалили Кияшко за остроумие, поглядывали друг на друга с шутливым выражением соперничества и смеялись без причины. Наступил тот редкий миг, когда они ощущали себя женщинами, просто женщинами, без всяких определений, какие есть на свете, — жена, хозяйка, сотрудница и так далее. Это был миг свободы и игры, за которыми должны были следовать мужские разговоры о производстве, долгие разговоры, обязательные в любом нашем веселье. И тем прекрасней он был, случайный, неожиданный и такой юный...

Решили голосовать тайно: бросать в хрустальную вазу бумажки с первыми буквами имени «Ж», «С», «В». Морозова назначили судьей. Он не пил, сидел молча, как-то в стороне от всех, внутренне в стороне, и в том, что назначили его, был прямой смысл. К тому же вспомнили, что он тоже холостяк, и, хотя не стали повторяться с женитьбой, настояли, чтобы потрудился для общественной пользы.

Мужчины держали в руках листки из записной книжки Кияшко. Они по очереди отправлялись в коридор, писали на листке одну из трех букв и, вернувшись, клали сложенные листки в вазу.

— А можно женщинам? — спросила Саня Грекова и посмотрела на Женю.

— Нет, лучше нам не надо! — воскликнула Женя. — Мы всегда субъективны.

— Позвольте спросить — почему? — спросил Аверьянцев.

Ей почудилась злая страстность в его словах, как буд-

то, когда он глядел на нее, он видел в ней не такую Саню, какой она была на самом деле, а видел свое представление о ней. Саня знала, что подобное сейчас бывает часто; глядят на живого человека, но думают совсем не о нем, а о своих мыслях, которые при этом рождаются. И сам вопрос Аверьянцева уже заключал в себе «почему», однако вместе с тем был не вопрос, только просьба о нем. Саня в ответ сказала, что позволяет спросить. Она не играла и не прикидывалась простушкой. Ей хотелось, чтобы он держался естественно, так как она уважала в людях два качества — смелость и естественность.

Что ж, Аверьянцев усмехнулся и вымолвил свое «почему» во второй раз. Он вертел в руках чистый листок, словно показывал, что не собирается голосовать, не узнав ответа.

И снова Саня уловила настороженный взгляд Грекова. Она решила, что Игорь, как всегда, желает быть впереди всех, даже в шутовском выборе самой красивой женщины на будничной вечеринке. Его не переделаешь. Правда, до сих пор тайна — как же он женился на некрасивой Сане? Надо было Сане отвечать Аверьянцеву очень умно, — так наказывал ей взгляд Грекова.

Почему же она назвала женщин субъективными? Нет, Саня слукавила, она думает по-другому, не субъективные, а просто глухие курицы, верно? Почему? Потому что женщины не могут смотреть на жизнь со стороны, они живут внутри ее.

Саня почувствовала, что сказала очень хорошо, лучше не скажешь. Женщины продолжают эту самую жизнь, охраняют ее, носят в себе. Откуда же у них возьмется объективность? Как раз неоткуда взяться. Она есть у мужчин, ибо они снаружи.

— Где, где мужчины? — спросил Греков, ее красавец муж.

«Мужчины, — подумала она, — да их же почти нет!»

Она немного помолчала, улыбнулась своим широким ртом и махнула рукой. Мол, чего вы от меня хотите, сами не знаете?

— Ну давайте же избирать королеву! — Княшко постучал ложкой по бокалу. — Внимание!

Аверьянцев засмеялся, взял у Княшко шариковый карандаш и на глазах у Сани открыто написал на листке букву «С» (Саня).

— Следующий! — торопил Кияшко. — Мужья участвуют?

— Участвуют, — отвечали ему.

— Не участвуют, — отвечали тоже.

Кияшко ликовал, по-детски подпрыгивая, и никого не слушал.

— Вы кого предпочли? — шепнула Валентина Тимохину.

— Только вас, — дурашливо крикнул он.

«Сейчас за коленку схватит, — подумала она. — Зачем же так громко кричит?»

— Вы запиваете водку вином, — строго вымолвила Валентина. — Так вы совсем скоро напьетесь. Мне будет скучно.

Тимохин отвернулся от нее, но Валентина наклонилась к нему. Он увидел что-то маленькое розовое, что-то большое, соломенного цвета. «Это нос и волосы, — отметил Тимохин. — Боже мой, доконает».

— Айн момент, — повернулся к ней. — Попробуйте хоть раз станцевать с Морозовым. Безумный танцор. Весельчак. Знает восемьсот тридцать анекдотов про любовь.

«Боже, почему восемьсот тридцать?!» — усмехнулся про себя.

— А будем танцевать? — обрадовалась Валентина. — Сергей Максимович, Женечка! Давайте потанцуем!

— Ты что, водочки моей подпила? — добродушно бросил через стол Богдановский. У него блестели подбородок и губы.

Валентина возмущенно ахнула, муж наморщил лоб и поспешил:

— Пардон, дорогая!

Морозов забрал вазу на кухню. Горела духовка, пахло растопленным жиром. Ему хотелось пить. Он открыл холодильник, взял минеральной и долго искал на столе консервный нож. Сам не зная почему, он искал довольно-таки бесцеремонно, но ведь хотелось пить, а рислинг и «экстра» ему сегодня были заказаны.

Нож лежал под оберточной бумагой. Морозов нашлся холодного «боржоми», подсчитал листочки и разложил их на три кучки. Вернее, он рассчитывал, что будет три, но

было только две. Ни один голос, даже мужнин, не достался Вале Богдановской. Бедному Валентину Валентиновичу это припомнится, пусть не играет в благородство... У Жени Зиминой было три, у Сани Грековой — четыре голоса.

«Прямо-таки праймериз! — изумился Морозов. — Прокатили Сергея Максимовича».

Его инженерный ум невольно заключил из этой простенькой ситуации, что голосовали не только за жеп... То, что Женя была красивее Сани, не заметил бы только слепой, — и красива была, и женственна, и далеко не глупа. И какая разница, что Саня моложе и у нее длинные ноги? А вот Саня выиграла. Морозов тоже голосовал за нее, и причины были мелочные — что угодно, лишь бы против Зимина.

«Теперь послушаем, для чего он нас собрал, — сказал себе Морозов. — Будет играть в игру «свой пареньь!»

Он почувствовал, что на него кто-то смотрит.

В окне стояла голова мальчика. Морозов поднял спингалет, открыл оконную раму и выглянул наружу. Из соседней комнаты был выход в большую лоджию, которая доходила до кухни.

— Помогите, — мальчик протянул руку.

Морозов втащил его.

— Спасибо. Что вы тут делаете? — спросил мальчик и кивнул на листочки.

— Праймериз, — сказал Морозов.

— Я знаю, что такое праймериз. Это предварительные выборы президента в Америке, — мальчик сморщил свой торчащий зиминский нос, налил в чашку «боржоми» и сел па табуретку. — А вы работаете вместе с моим отцом?

Морозов кивнул.

— Меня зовут Игорь.

— А меня Константин. Можно Константин Петрович. — Ему понравилось, что мальчик больше не спрашивал о бумажках, хотя наверняка из морозовского ответа ничего не понял. Эту сдержанность можно было бы попробовать перевести в слова таким образом: «Я не заставляю Вас говорить то, чего Вам не хочется». (И «Я» и «Вас» были только с прописной буквы, именно в этом был смысл, мальчик подчеркивал свою независимость.)

— Вы играете в шахматы, Константин Петрович?

— Когда-то играл, даже был чемпионом. — В словах Морозова не было ни иронии, ни теплоты к своему чемпи-

онству, и, значит, они были безжизненны. Он забыл себя в том времени и говорил, как будто читал чужую анкету.

— Вы занимались во Дворце пионеров? — спросил Игорь. — У Чудновского?

— У Чудновского. Вместе со мной занимался Стрешнев, он стал гроссмейстером. Мы все мечтали стать гроссмейстерами...

«Почему же все? — возразил себе Морозов. — Я не мечтал, а про других не помню».

— Расскажите мне про Стрешнева! — горячо сказал Игорь. — Чудновский не хотел о нем рассказывать. Он его не любил.

— У Стрешнева была сильная воля, — начал выдумывать Морозов. — Он никогда не верил шахматным авторитетам, играл только на выигрыш... Что еще? Ну и талант, конечно.

— Понятно... — нетерпеливо сказал мальчик. — А Вы с ним играли?

— Мы все играли друг с другом. Честно говоря, я уже не помню.

— Наверное, Вы ему проигрывали.

— Какая разница? — сказал Морозов. — Извини меня, Игорь, мне надо идти... Один раз он попался в атаке Маршала.

— А Вы не хотите со мной сыграть?

— В другой раз.

— Как хотите...

— Передай привет Чудновскому, хорошо?

Мальчик встал, посмотрел в окно.

— Он умер, — сказал он. — Я недавно ходил во Дворец пионеров, там мне сказали, двадцать седьмого июля он умер.

— Значит, Николай Александрович... — проговорил Морозов, — умер... Я даже не знал.

Известие вызвало в нем легкое чувство вины, вины перед кем и чем? Нет, чем же он виноват? Просто умер Чудновский, его учитель. И Морозов вспомнил комнату с двумя стоячими шахматными досками; вырезанные из фанеры фигуры подвешивались на гвозди; Чудновский в черном концертном костюме с залоснившимися рукавами; его черный чемоданчик, в котором лежали труба и шахматные журналы... Музыкант средней руки, кандидат в мастера спорта по шахматам, язвительный, самолюбивый, с печатью неудачной жизни...

— Нет, он любил Стрешнева,— подумал вслух Морозов.— В результате он прожил ради одного только Стрешнева. Но говорить о гроссмейстере и подчеркивать свою забитую жизнь? Ты понимаешь, Игорь? Зачем?

Мальчик посмотрел на него ясными холодными зиминскими глазами.

— Не понимаешь,— вздохнул Морозов.— Сколько же среди нас таких, как он, кандидатов в мастера!..

Его уже заждались. Когда он вошел, Кияшко громко закричал и захлопал в ладоши:

— Одну минутку! Одну минутку! Прошу всех налить! Всех! Сейчас пьем за королеву вечера!.. Подожди, Костя, одну минутку!

Морозов сел на свое место, к нему наклонился Зимин:

— Может, все-таки выпьешь рюмочку? Сейчас ты вроде избранника божьего.

— Нет, я за рулем.

— Вот Греков за рулем, а ничего.

— У всех налито? — воскликнул Кияшко.— Константин Петрович, прошу объявить!

Морозов встал и сказал:

— Четырьмя голосами против всех трех Саня Грекова вышла на первое место.

— Ура! — крикнул Греков.

— Ура! — отозвались Аверьянцев и Богдановский.

— Поздравляю, Санечка,— Женя улыбнулась, подняла бокал.— Я не сомневалась, что так и будет. Вот и вышло по-моему. Костя, а остальные три голоса — это за Валентину? — она с особым выражением посмотрела на Морозова, и он понял ее и все же сказал правду:

— За вас, Женя.

— Ну не ждала! — засмеялась она и как-то естественно отвернулась от Морозова и уже глядела на Валентину.

Валентина серьезно и вдумчиво слушала всех.

— Верно Саня сказала, что мужчины не могут видеть сути женской красоты. Только взгляните на Валю, и все станет ясно. С нее картину писать можно.

— Ладно, Женя! — холодно сказала Валентина.— Что вы заладили утешать? Я же сама все прекрасно понимаю.

То, что она не объяснила, что она понимает, и сам тон, раздраженный, неприязненный, произвели дурное впечатление. Не стоило к игре относиться так серьезно.

— Эх, прекрасный пол! — неловко засмеялся Богда-



новский.— Вечно им не угодишь. То внимания мало, то внимания слишком много...

— Особенно от тебя,— сказала Валентина.— В магазин не допросишься сходить. Ужин, газета и телевизор — все твоё внимание.

Морозов по-прежнему стоял с ненужными листочками в руках. Все с любопытством и досадой следили за началом семейной ссоры. «Выпустили джинна из бутылки,— подумал он.— Надо что-то сделать или немедленно смыться отсюда».

— Кстати о телевизоре! — сказал Морозов, загоразивая бедного Валентина Валентиновича.

Валентина повернулась к нему, быстро оценивая морозовскую позицию. Ей казалось, что сейчас со всех сторон на нее посыплются упреки. Она увидела только его застенчивую слабую улыбку, но ее было трудно провести.

— Я вспомнил историю, которая касается нас всех,— Морозов чуть поклонился ей, словно собирался рассказать для нее одной, но тут же обвел взглядом стол и начал рассказывать, больше не глядя на Валентину. Общее внимание уже перешло на него, фокус удался, оставалось только преподнести современную сказочку.— Однажды к директору нашего городского цирка пришел человек с двумя чемоданами. Говорит, принес потрясающий номер. Директору, как всегда, некогда. То да се, затравленный вид. Человек открывает один чемоданчик, достает кирпич. «Атеншен, плиз!» И лупит себя по голове. Кирпич вдребзги. Достает второй кирпич, тоже — вдребзги. Директор заинтересовался. Глядят друг на друга. Улыбаются. «Подходит,— говорит директор.— А что во втором чемоданчике?»

Морозов вспомнил фантастический рассказ Кердоды и сделал паузу.

— «Там пирамидон»,— мрачно закончил Морозов. Все засмеялись. Мужчины, кажется, поняли современную производственную историю, а женщинам до нее не было дела, они освободились от досадной неловкости.

— Пора и горячее подавать! — вспомнила Женя.— У меня утка с яблоками.

— Ну, а мы покурим,— сказал Зимин.— Правильно, мужики?

Получалось ладно, он это чувствовал, и даже взбрык этой взбалмошной Валечки Богдановской тоже был как-

то кстати, по-житейски. Люди они разные, и хорошие, и плохие — всё вместе. А Зимину все одинаковы, потому что он хозяин, для которого только одно важно — чтобы гости не скучали, не заглядывали ему в рот. Вот так по-домашнему с ними можно и дело обсудить, без всякой официальной натуры, как бы между холодными и горячими закусками. Дело у них общее, а не одного какого-то Зимина, Халдеева или Грекова. Дано нам это дело для нашей же жизни, и не будем мелочиться... Странно, что Халдеев не пришел. Завтра надо его открыто спросить: мол, побрезговал дружеским столом? А он закивает — жена, дети... А то вовсе промолчит, но все-таки точно какой-то кислятиной накормит. Забавно предположить, что Кивало встречается со своими бывшими сослуживцами из треста и сладенько поругивает Зимина. Как же не поругать, коль у нас всегда заведено свое начальство ругать! Этак приятно.

Он понял, что никогда не будет уважать своего главного инженера, как не будет — и Кияшко и Тимохина. И тут же подумал, что с ними ему легко работать, а вот с этим уважаемым народом — нравственно тяжело. Хочется сломить, расплющить, чтобы возражать боялись.

Ну пора, а рассуждения отложим до другого раза.

Они собрались на балконе, отсюда был виден красный закат опускавшегося в темное облако солнца. Завтра должен быть ветреный день.

— Скоро осень, — сказал Греков.

— На носу последний квартал, — заметил Кияшко.

— Моя потребует новые зимние сапоги, — отозвался Богдановский. — Купить бы самолет, что ли?

— Да, ты давно не путешествовал! — улыбнулся Греков. — Сергей Максимович, закуривайте.

— Я же бросил, — сказал Зимин. — Не соблазняй.

— Все равно закурите. Говорят, надо десять лет ждать, чтобы совсем отвыкнуть.

— Подождем, Игорек! — заверил Зимин.

Потянулись белые дымки, и запахло табаком. Как сладка сигарета, выкуренная после трех рюмок водки, знает только настоящий курильщик. Зимину показалось, что у него пересохло в глотке.

— Кто сказал, что последний квартал на носу? — спросил он с тайным умыслом.

— Я, Сергей Максимович, — признался Кияшко. — Это козе понятно.

— Козе не козе, но все равно ты прав. Мне удалось выбить сверхфондовые материалы, у нас открываются хорошие перспективы. И вот что я предлагаю...

Зимин взлетел и с высоты видел знамена и награды, кинохронику и тысячетрубный военный оркестр. Есть на свете удача и счастье! Ради чего живем, мужики?..

И они стали загораться. Он их оглушал, заманивал на высоту из житейской скуки.

— Сергей Максимович, мы давно мечтаем о таком деле! — раздался голос Тимохина.

Ему должен был вторить Кияшко. Зимин посмотрел на него. Но Кияшко молчал и думал.

Пусть подумает. В конце концов он скажет так, как захочет Зимин.

Греков разминал свою сигарету, найдя в ней какое-то уплотнение, мешавшее затягиваться.

Богдановский глядел на закат и легкомысленно улыбался. Толстый, розоватый и улыбающийся, он походил на старого купидона.

— Дайте мне нормальные условия, а я на все согласен,— отрезал Аверьянцев.— Кто не мечтает о настоящем деле? Я не больно, конечно, верю, но ни за что не откажусь.

Аверьянцев на лету схватил возможность обставить Грекова,— это была неожиданность. Зимин предполагал, что оба начальника участка будут в одной команде. «Ах вы голубчики,— мелькнуло у него что-то вроде этих слов.— Хорошие вы мои!»

— Вообще-то дураков среди нас нет,— заметил Греков.— Сергей Максимович предлагает месячник повышенной добычи, а что, если и дальше, до конца года?

Он наконец размял сигарету, с удовольствием затянулся и выпустил дым через нос. Его взгляд был размягчен и ласков.

— Пора бы устать от этой штурмовщины,— буркнул Богдановский.— Ни дня, ни ночи...

Но он, должно быть, сам не верил, что его послушают, и не стал дальше говорить.

— Да, до конца года! — повторил Греков.— Тогда мы не только долги покроем, но на хорошее место взойдем. Ну, Морозов, разве не так? — Кажется, он старался угодить Зимину. Это было не похоже на него, и Морозов предположил какой-то сговор Зимина с Грековым. «Но

зачем? — спросил он себя. — Чтобы повлиять на нас? Неубедительно».

— Молчишь, Костя? — Зимин пожал ему плечо. — Ты самый молодой. У всех я вижу потолок, а у тебя не вижу. Ты и взлететь можешь, но можешь даже среднюю карьеру не осилить. Вот так промолчишь всю жизнь.

«Чудновский умер, — вспомнил Константин. — Вера уехала в Старобельск. Зовут спуститься с аквалангом в затопленный ствол. Этот сулит карьеру... А что я? Я вижу подводные сны. Вижу сны...»

— Я сделаю все, что в моих силах, — ответил он.

— Хорошо сказал. Дельно.

«Назначу его начальником участка, — решил Зимин. — Он будет моим. А Тимохин и без этого ручной. Им можно заменить Богдановского в случае чего... Мы еще поработаем, товарищ Рымкевич!»

— Солнце село, — сказал Богдановский. — Сейчас зажгутся фонари. Этот переход дня в вечер всегда очень красивый. В небе еще день, а на земле сумерки.

— Ну не грустите, Валентин Валентинович, — улыбнулся Зимин. — Завтра будет новый день.

— Я не грущу. Как это? Пирамидон? Хочется чем-то продезинфицировать мозги, вот такая штука...

— Э, бросьте стонать! — весело сказал Зимин. — Вам действия не хватает. Действия, Валентин Валентинович! Скоро у вас не будет времени на расслабляющие мысли. Я вам гарантирую беспокойную жизнь.

— Не пугайте, Сергей Максимович. С вами мне и черт не страшен.

Богдановский говорил вялым, усталым голосом и по-прежнему глядел вдаль. Было видно, что он не даст втянуть себя в разговор. Это уязвляло Зими́на. Не было полной удачи! Оди́н-единственный человек портил все дело. Пусть он был бессилен, оди́нок и нерешителен, что с того? Он был, и все видели, что он был и есть. И кто с ним будет завтра?

— Вы устали, — холодно сказал Зимин. — Если хотите, берите отпуск за свой счет. На неделю.

— Не стоит, Сергей Максимович. — Он так и не повернулся.

— Позвольте мне сейчас уйти, — Морозов неожиданно вмешался в непонятный для него разговор. — Желаю приятно провести вечер.

Пока все удивленно на него смотрели, он кивнул головой и ушел с балкона.

— Наверное, девушка, — предположил Греков.

— Нет, не девушка, — сказал Тимохин.

Он стоял, прислонившись спиной к перилам и скрестив ноги. Это была поза молодого и уверенного в себе мужчины. Он стоял расслабленно, но был вместе с тем подтянут и собран, не переходя грань, за которой начинается вальяжность.

— Его позвали работать с аквалангом в затопленной шахте, — сказал Тимохин. — Это старый метод «Ихтиандра» — все для рекламы. — Он не осуждал и не иронизировал. Он преподносил факт взрослым людям, разговаривающим о важных вещах.

— Это опасно? — спросил Зимин.

— Известный риск, — ответил Тимохин. — Насколько я знаю, еще никогда аквалангисты в шахту не спускались.

— Он стоящий парень! — сказал Греков. — Ничего с ним не случится.

Женщины не обратили на Морозова внимания, он вышел на лестницу незамеченным. «А если бы я пришел к нему перед смертью? — снова подумал он о Чудновском. — Вспомнил бы меня?»

Он спустился на нижний этаж. Наверху хлопнула дверь, кто-то побежал по лестнице.

— Костя!

Это был Зимин.

«Вот холера! — чертыхнулся Морозов. — Будет тащить назад».

— Что, Сергей Максимович?

— Ты уезжаешь?

— Да, у меня же отпуск. Я хочу сделать важное для меня дело. После этого я ваш со всеми потрохами.

— Понимаешь, я хочу тебя попросить, — Зимин отвел глаза. — Не лезь туда. Я решил назначить тебя вместо Бессмертенко. С аквалангом в шахте еще никто не плавал. Я прошу. Это детство...

Морозов пожал плечами и сделал шаг вниз.

— Значит, вы знаете? — спросил он. — Но я не собираюсь устраивать фейерверка.

— То есть? — Зимин тоже спустился на одну ступень.

— «Ихтиандра» уже нет, Сергей Максимович. Назначаете меня или не назначаете, вы скажете, когда я вернусь. Хорошо?

Морозов торопился проститься. Он понял, что разгоряченный Зимин искренне хочет показать свое расположение. А то, что он может опасаться за него, Морозову не приходило в голову.

— А куда ты едешь? — спросил Зимин.

— В Старобельск.

— Где это? — Зимин все еще ему не верил.

— У меня там родня. Городок в Ворошиловградской области.

Все-таки кто знает, он играл или был искренним? Скорее всего, и то и другое смешалось в нем, и, как компанейский шахтерский парень, Зимин желал ему только хорошего, а как бюрократ — с выгодой для себя показывал это желание.

— Ну, счастливо, Костя, — Зимин протянул ему руку. — Смотри!

Он казался расстроенным.

Вернувшись домой, Зимин увидел, что первый беспорядок застолья с его внешней некрасивостью, бросившейся ему в глаза, когда он уходил, теперь сменился новой картиной. Стол был сервирован другой посудой, сиявшей отраженным золотистым светом люстры. На краю серебрилась еще не разобранный кладка пожей и вилок, тоже других, взятых из набора, подаренного Зимину к свадьбе. В последний раз ими пользовались в Новый год, и с тех пор они лежали в устланной малиновым бархатом коробке.

— Сережа, — сказала за спиной Зимина Женя.

Он посторопился, пропуская ее, и вдруг спросил:

— Тебе помочь?

— Что ты! — улыбнулась она.

Хотя в ее голосе не прозвучало даже тени упрека, Зимин смутился.

— Как хочешь, — сказал он. — Тебе не нравится... все это?

— Почему не нравится? Я хотела, чтобы ты пригласил своих... — Она поставила на угол блюдо, что-то отодвинула, поправила и переставила блюдо в центр. — А смотри, как пошел сыр с чесноком!..

— А где Игорь? — спросил Зимин.

— На кухне.

— Ладно, — он пошел на балкон.

Мужчины уже покурили. Они разговаривали о работе, словно на планерке. Богдановский вспомнил случай, когда разоблачил Грекова: у того под лавой был целый состав порожняка, а он получил еще один, раззвонив всем, что с минуты на минуту остановится, если не придут вагонетки.

— Прямо только вороны летают, — усмехнулся Греков.

— А это непорядочно, — сказал Аверьянцев.

— Что-что? — переспросил Греков.

— Непорядочно, — с тяжеловесным миролюбием вымолвил Аверьянцев и поглядел на Зимина.

— Мы получаем спаренные электровозы и четыре платформы с вагонетками, — ответил ему Зимин. — Можешь успокоиться.

— А я не волнуюсь. Вас снимут, а не меня.

— Знаешь, кого ты напоминаешь? — улыбнулся Зимин. — Моего сына. Вчера он говорит мне: ты не так меня воспитываешь, хоть раз послушай в девять часов передачу «Взрослым о детях».

— Я знаю, в одной школе у девятиклассницы нашли противозачаточные таблетки, — радостно сказал Кияшко. — К чему мы идем?

— Думаешь, я боюсь, что меня снимут? — спросил Зимин Аверьянцева.

— А по-твоему, лучше аборт? — сказал Греков.

— Да, месячный план мы провалили, — продолжал Зимин. — «Орел» подрезал... Но в сравнении с августом все равно дадим больше.

«Почему я оправдываюсь?» — подумал он.

— При чем тут аборт? — удивился Кияшко. — Если б с твоей дочкой случилось такое, как бы ты говорил? Раньше рожали по десять детей, слабые умирали, а сильные оставались, а теперь рожают одного и трясутся над ним. Вот и вырастает чудо.

Все что-то говорили, и лишь на другом конце балкона один Богдановский молчал, грузно опершись на перила и глядя куда-то в небо между домами.

«Могут снять! — решил Зимин. — А мы только стали голову из помоев высовывать...»

Он подошел к Богдановскому, тоже оперся локтями

на перила и, желая сказать ему что-то хорошее, стал вспоминая, с чем же хорошим он может к нему обратиться. Про электровозы он уже сказал... Будущее, заключенное в мыслях о работе, сейчас сделалось узким.

— Мы с тобой ровесники, Валентин, — вымолвил он. — Через десять лет нам по пятьдесят. Выходим на финишную прямую.

— Уже вышли, — буркнул Богдановский, не повернувшись. — Да ты не бойся, никто тебя не тронет. Ты всегда будешь современным.

Он впервые говорил на «ты». Это было неожиданно и как-то нехорошо. Зимин посмотрел вниз, во двор, где по дорожке ходила со своим малышом соседская чета Зайцевых, и, хотя смотрел на дружную семью, видел и обвисшие толстые руки Богдановского, и его спокойное лицо, выражавшее что-то трудное. Вопрос «Что с ним?», возникающий как бы сам по себе, касался лично Зимина. Выходит из строя один из старых гвардейцев, выходит накануне больших дел — тут требуется стать психоаналитиком и лечить Валентина Валентиновича. Снимут, не снимут — пока вопрос не в этом...

Зимин вспомнил: месячник повышенной добычи, «орел», уход Морозова на рискованное приключение, но Богдановский не отвечал на эти сигналы.

В другом конце балкона Греков рассказывал историю о старом неверном муже, который назначил свидание одной красавице ночью в саду, а та послала вместо себя его жену, и он в темноте жену не узнал, принял за юную насмешницу... Зимин, не глядя на Грекова, представлял четкий мужественный рисунок его лица, подчеркнутый рукой знакомого парикмахера, и настроение его слушателей, Аверьянцева и Княшко, тоже представлял: вот Аверьянцев — сто семьдесят девять сантиметров роста, поджарый, покатые широкие плечи, красноватая кожа, глаза светло-голубые, почти серые — открыто глядит на Игоря Грекова, во взгляде нет и тени враждебности, но есть твердость; вот Княшко... А Княшко как Княшко...

«Может, из-за этого выбора красавицы?» — подумал Зимин и просигналил Богдановскому:

— У нас нет культа жепщины. Мы поэтому дикари, азиаты...

Он вспомнил свое ощущение, когда Валя Богдановская, излучая злобную энергию, атаковала Валентина



Валентиновича. В ту минуту Зимину было стыдно, а каково было ее мужу?

Богдановский повел рукой, как будто сигнал на него подействовал.

— Что же выходит? — продолжал Зимин. — Женщины почти нет. Есть женщина-мать, женщина-работник, женщина-домработница. А женщины как женщины — нет. Вот они и вымирают. А мужики превращаются в скотов.

Иногда Зимин умел хорошо сказать.

Голова Богдановского туго повернулась на короткой шее. Выражение какой-то обреченности по-прежнему оставалось в его спокойных глазах.

— Семейную жизнь надо строить, а не пускать на самотек, — наставительно произнес Зимин.

— Ты о моей семейной жизни? — спросил Богдановский.

— О твоей. Ты же на себя не похож!

Можно было подумать, что у самого Зимина не было семейных проблем. Почувствовав, что расшевелил Валентина Валентиновича, он в радости от собственной проицательности не заметил, как Богдановский загорается болезненным гневом. Но только были сказаны слова: «падо взглянуть на жену с другой стороны», как Богдановский выпрямился и, в отчаянии улыбаясь, воскликнул:

— Ты!.. Ты кто такой?.. Посмотри на себя! Нет, ты посмотри!

— Тихе, тихе! — усмехнувшись, остановил его Зимин. — Что с вами?

Он молниеносно перестроился, и его ирония (не растерянность, не неловкость, а едкая ирония) опытного, привыкшего к противоборствам человека действительно остановила Богдановского. Тот сделался смешон. Ведь не мог же он объяснять, что с ним... Он мог кричать, размахивать руками, возмущаться, а вот открыться — нет, не мог. Личная жизнь, какой бы горькой она ни казалась, была у него одна, и ради нее он должен был подавить свою вспышку.

«Жалко все-таки, — подумал Зимин, глядя, как Богдановский мучительно ломает себя. — Скоро опять полетит куда-нибудь в Калугу».

— Ну ничего, ничего, — сказал он без обиды. — Я не собираюсь лезть тебе в душу. Сам не люблю таких дея-

телей...— И похлопал Богдановского по животу.— Давай-ка с тобой выпьем. Сепаратно.

Он перестроился еще раз и, славно посмеиваясь, сделался своим парнем, обаятельным простодушным малым, на которого невозможно обидеться.

— Что ты? — приговаривал Зимин, подталкивая Богдановского.— Упираешься?.. Я тебя прошу, Валентин Валентинович...

— Да ну,— хмурясь, сказал Богдановский.— Да не хочу пить... Да что ты меня тащишь? — А сам медленно шел следом за Зиминим, еще не понимая, что подчиняется условиям давно заведенной игры.

Вскоре застолье продолжилось. Снова говорили о работе, политике, детях, писателях, дефицитных товарах, и все пошло вполне интеллигентно, естественно и в меру весело. Зимин чувствовал, что вечер удался. А почему бы ему не удался? Гости не скучали, угощение было богатое, хозяйка — умна и красива. Так что, конечно, удался. Нелепо даже думать, что могло быть иначе... Нет, нет, удался вечер. И ничего страшного, что Богдановский отделился от других упорной неразговорчивостью.

В действительности же все было не совсем так, как думал Зимин, играя разученные роли начальника, рубахи-парня, хозяина дома, мужа и отца. Он и сам ощущал какую-то странную, невыразимую тревогу. Словно среди гостей незримо присутствовал еще кто-то, грозный и всеведущий, и словно этот «кто-то» стоял за спиной Богдановского.

Мысль о будущем — так можно было пазвать то, чего он боялся.

## Ж

Морозов завел мотор и поехал к своему дому. Дорога на Старобельск находилась в той же стороне, но он отметил, что едет в сторону дома. Какая-то случайная догадка заставляла его думать именно так.

В этой догадке соединилось все сразу. Все, чем он жил последние минуты, дни и годы, — может быть, вся юность. У нее даже было название «Чудновский». Название или символ, но это не играло никакой роли. Покойный тренер не имел к названию отношения, хотя была использована его фамилия. В догадке не заключалось ничего имени. Она была идеей, чувством вины и еще чем-то необъяснимым. Просто Чудновский умер, и это было прощанием с

той далекой жизнью, которой когда-то жил Морозов. В ней были Вера, «Ихтиандр», шахматы, и что бы там ни было, а была свобода, которая не дает человеку пропасть бесследно. Что ждет Морозова дальше? Вот вопрос, возникающий из догадки, из любого отныне действия окружающих. Дальше-то что?! Казалось, сама жизнь кричит Морозову об этом. Она кричит, а мы не слышим или делаем вид, что не слышим, что еще хуже. Но он-то слышал! Он понимал, куда зовет его Зимин. Стать Зиминим — вот куда. И как ни упирался бы Константин, как ни рвал бы постромки, другого пути у него уже нет. Не видел он.

И поэтому, конечно, Морозов отказался от спасательных работ в затопленном шахтном стволе. Они не могли ему помочь, они его тянули назад, в прекрасное прошлое. Глупо было поддаваться Павловичу.

— Глупо и хорошо, — вдруг пробормотал он. — Именно глупо и хорошо!

Морозов проезжал старый центр города, — здание оперы в ложноклассическом стиле, танк Т-34 над могилой танкиста, кинотеатр имени Тараса Шевченко. Уже зажгли фонари. Возле кинотеатра двигались два встречных потока молодых людей, потом потоки шли обратно, образуя замкнутый круг. В этом движении всегда было что-то вынужденное, похожее на обычай с утраченным значением. Здесь гуляли Морозов и Вера несколько лет, несколько лет подряд, бесцельно, счастливо, по кругу...

«Глупо и хорошо!»

Морозов взглянул на спидометр: скорость была нормальная, шестьдесят километров в час. Это его удивило — что такое норма, для кого она? Он с удовольствием прибавил газа.

Вскоре показался дом, сиреневый свет убогой рекламы магазина «Тюльпан». Морозов поднял взгляд до третьего этажа. В его окне горел свет. Он механически включил левый поворот и въехал во двор. На балконе третьего этажа, чуть свесившись вниз, стояла Людмила, сквозь прутья белели ее ноги.

— Эй! — она замахала рукой.

Морозов высунул в окно поднятую кисть левой руки и тоже помахал ей. Он так и не понял, зачем въехал во двор. Должно быть, по привычке. А может, его не хотели отпускать в Старобельск?

Пришлось подняться. Он отпер дверь своим ключом,

остановился и посмотрел на освещенную прихожую. Вечера, он помнил, здесь не горела лампочка.

Людмила вышла из комнаты, тоже остановилась, мягко опершись спиной на косяк.

Они смотрели друг на друга и улыбались.

У нее была новая прическа «сэсун», такая же, как у Жени Зиминной,— как будто приподнятые ветром и не упавшие волосы.

— Сказать, о чем ты думаешь? — спросила она.

— Я лучше сам.— Он шагнул к ней, наклонил голову: — Красиво...

— Чепуха,— сказала Людмила.— Ты собрался с аквалангом в шахту. Но я уже выпустила весь воздух.

— Там воздуха и не было,— отозвался Морозов.— Я тебя прощаю.

— Значит, не едешь?

— Еду. В Старобельск. Я хочу, чтобы ты все знала: я еду к Вере. Она сейчас там.

— Да, там акваланг не понадобится,— сказала Людмила.— Что тебе приготовить?

Он понял, что она сейчас спрячется за какое-нибудь хозяйственное дело, и тогда ей ни за что не объяснить, что с ним случилось.

— Ничего не надо,— сказал Морозов.— Возьму кофе, и все. Я уже приготовил, но эти черти выдули.

Она кивнула:

— Значит, кофе? — И пошла на кухню.

Он пошел следом.

— Понимаешь, иногда мне кажется, что ее не было совсем,— сказал Морозов и тронул Людмилу за руку.— Но иногда... Иногда просыпаюсь с таким горем, что жить не хочется. Она снится. Я ничего не могу сделать. Она снится, а ее нет...

Она накрыла его ладонь, слегка сжала и отстранила.

— Я ведь никогда не спрашиваю, что у вас случилось,— произнесла Людмила не очень весело, но все же спокойно, без ноток утешения, упрека или обиды.— В конце концов, у всех одинаково. Поезжай, переспи с ней и успокойся.

— Мила! — воскликнул он.

— Я же и виновата? — спросила она.— Давай лучше поужинай.

— Ужинал. Был в гостях у Зиминных.

Она сняла с чайника крышку и набирала воду. Кран открыла широко, струя клокотала.

— Все равно у тебя с ней не выйдет,— сказала Людмила.— Напрасно ревную. Вылечишься!

Она стукнула чайником о конфорку, сломала спичку, зажгла вторую.

— Мила,— окликнул Морозов,— не надо никакого кофе. Обойдусь.

— Ладно, сварю. Зимин тебя собирается повышать, если зовет в гости.

— Да брось ты этот чайник!

— Отстань. Последний раз ухаживаю за тобой.

Да, это было то, о чем он не хотел думать: последний раз. Он рвал с ней. Все ее разговоры о свободной любви были ерундой. И если бы она была уродливой, вздорной, жадной, глупой, ну, тогда, может быть, было бы порвать проще... Да нет, отчего же проще?

— Почему ты не догадалась забеременеть? — подумал он вслух.

— Идиот! — бросила она.— Я себя еще уважаю. Могла бы и сама тебя удержать.

Не хватало, чтобы она его действительно удерживала. Но ведь и не удерживает, не плачет, глаза сухи...

— Кто тебя за язык потянул с твоей откровенностью! — буркнула она.— Ехал бы молча. Верочка тебя бы выставила...

Людмила слишком часто повторяла это, словно убеждала себя или, может,— Морозова.

— Как ты будешь расплачиваться с Зиминим? — Она заговорила о другом, что сейчас ее совсем не интересовало.— Он тебя купил? Это было просто?

Здесь она могла не сдерживаться, понял Морозов. Он промолчал, потому что она спрашивала, а думала об ином.

— Зимин меня купил,— легко согласился он.— Купил! Я мелкий человек...

Она села, сторбилась и смотрела долгим взглядом на огонь. Потом она вымыла термос, налила кофе, завинтила крышку. И молчала.

Морозов приблизительно представил все то, что Людмила должна была ему сказать. Он ждал. Прошла минута или две.

— Кофе готов,— вымолвила Людмила.— Помолчим на дорожку?

И он понял, что ничего она не скажет. Не захотела. Она поглядела на него и улыбнулась:

— Нам с тобой было хорошо, правда?

— Прости меня, — сказал он.

— Я все поняла. Но нам было хорошо, правда?

— Я должен это сделать, — повторил Морозов. — Пусть я сентиментальный кретин, но я должен.

— Господи, какой ты невыносимый, — снова улыбнулась Людмила. — Теперь я знаю, почему у вас ничего не вышло. Верочка была мудрее меня.

...В девятом часу вечера Морозов выехал. Теперь ничто не могло его задержать. Он рассчитывал после полуночи быть в Старобельске.

Его обгоняли редкие такси, он обгонял троллейбусы. На улице было мало машин. Наступили тихие часы просторных дорог, когда те, кто торопился днем, уже успели домой, а те, кто в долгом пути, чувствуют себя спокойно и хорошо. Правая нога плотно прижата к педали акселератора, левая упирается в пол, а не нависает над педалью сцепления, как нависала днем, потому что днем — это не езда, это бесконечные торможения, потоки и маневры; днем — это нервная работа, но вечерняя езда — это удовольствие. Верно, скорость пьянит. Но что творит с водителем свободная дорога? Манит? Одурманивает? Заколдовывает? Кто его знает, что она с ним творит... Только хочется лететь навстречу этому вольному пространству, размеченному километровыми столбами, и не сбавлять скорость на поворотах и, заваливаясь набок от центробежной силы, выкручивая руль и выходя на встречную полосу, думать о себе как бы со стороны: «Ну ведь это уж слишком!» И при этом бояться перевернуться и жаждать риска и скорости. Это странная увлекательная игра, и редко кто удерживается от нее. Есть такие минуты, когда надо остро ощутить себя и свою свободу распоряжаться собой и заглянуть куда-то в темноту.

Выехав за город, «Запорожец» шел на своей предельной скорости — сто километров в час.

Быстро темнело. Морозов включил фары. В белых столбах света были видны бесчисленные живые точки, летевшие навстречу машине. Они разбивались о стекло, оставляя черные пятнышки.

Поля, деревья и столбы уже теряли свою окраску и становились серыми. Одно лишь небо сохраняло на закате светло-зеленый цвет, переходящий в темно-синий.

В кабине все ярче казался ответ приборного щитка и голубоватого указателя фар. От внешней темноты и этого слабого света, частью отраженного в пизу ветрового стекла, кабина делалась еще меньше, а сама машина представлялась живым существом. Морозов изредка поглядывал на щиток и о чем-то мысленно просил своего «горбатого». О чем именно просил — не знал. Но «Запорожец» понимал его, это не вызывало сомнений.

Вечерняя и ночная дорога однообразна. Слепят на секунду фары встречной машины, вы переключаете свои на ближний свет, а встречная тотчас тоже переключает, — и разъезжаетесь с теплым чувством к незнакомому человеку. Он понял вас и не стал мешать. Но попадетесь упрямец и на ваше перемигивание фар не обращает внимания, и тогда, видя перед собой непроглядную черную ночь, вы тоже ослепляете его и мчитесь с яростью.

Потом глаза снова привыкают к дороге, и минута за минутой, километр за километром ничего вокруг не изменяется. Тянется вдоль обочины поле с черными безголовыми стеблями подсолнуха, затем тянется лесополоса, а за ней — кукурузное поле, похожее на елочную делянку...

Игра с риском уже давно надоела, вы невольно начинаете отвлекаться от дороги, и перед вами встают иные картины.

В пути Морозов почему-то всегда думал не мыслями, а картинками. Мыслей или умозаключений у него не появлялось, но, видя асфальтовое покрытие, обочину, дорожную разметку и почти все подробности движения, вместе с тем видел — или вспоминал? — совсем другое. Такое двойное видение, конечно, мешало, отвлекало внимание, и поэтому днем Морозов был собран и сосредоточен. Может быть, днем и мелькала перед ним ерническая физиономия Зимина или черно-белый эскиз подземелья, однако — на мгновение...

А сейчас он стал спрашивать Людмилу:

— Ты сказала, знаешь? Ничего ты не знаешь! Если я не знаю, то кто же еще может знать...

На что Людмила ему отвечала:

— Все-таки Верочка была мудрее меня...

Больше Морозов не вспоминал о Вере. Он проехал сквозь какие-то поселки и деревни, тускло освещенные

редкими фонарями, и дорога снова пошла среди темных полей и лесополос. Появились белесые клочки тумана. Пахло гарью недалеких терриконов. Морозов думал о Павловиче, зиминском сыне и о чем-то тревожном, пробившемся из разных дней и лет.

Так он ехал, и в лучах фар по-прежнему летели живые точки, и печастые встречные машины перемигивали светом, а некоторые ослепляли. В дороге мало что изменилось. Но переменилось настроение Морозова. Он задавал себе нелепые вопросы...

«Почему не получилось с Верой?»

«Зачем я отказал Павловичу?»

«Почему я ни разу не пришел к Чудновскому?»

«Что я сделал с Людмилой?»

И ничего не мог ответить себе, и только гнал что есть мочи, ища в риске развлечение.

Странно ведет себя человек, когда находит на него такое настроение! Ему хочется разрушить планомерное течение жизни любым способом, ему тошно оставаться в одиночестве, тянет на люди, он становится болтлив и сентиментален, в нем зреют сумасбродства, и ему хочется действия, бескорыстного, самоотверженного действия...

«Еду в Старобельск! — повторял Морозов. — Еду в Старобельск!..»

Эти слова звучали в нем как обещание. Городок должен был все разрешить.

Морозов радостно вспомнил бабушкин дом, увидел выросший садик, постаревших соседей, и ему стало сладостно грустно. Он освобождался, он ехал туда...

Утром он еще спит, а бабушка стучит на кухне, и через проходную комнату шагают дед, отец и мать, стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить Костю. Половицы все равно скрипят. Он слышит звяканье рукомойника, шепот, снова скрипят половицы. От свежей наволочки слабо пахнет нафталином. Глаза Морозова закрыты. Он оттягивает свой подъем, как ребенок, и чувствует, что сейчас это можно... Резко вскинувшись, Морозов встает босыми ногами на домотканый полосатый коврик. На стуле лежат его брюки и рубаха. Он толкает дверь в сени, где стоит газовая плита, и видит бабушку. «Доброе утро!» — весело говорит Морозов. Бабушка поворачивается на его голос, улыбается, морщится, глаза слезятся. «Мы тебя разбудили?» — ласково и виновато спрашивает



она. Из-за одного этого выражения ласки и вины на ее лице Морозову становится жалко ее. У нее, как всегда, ветхое платье, а туфли обсыпаны мукой.

«Нет, не разбудили,— говорит Морозов.— Я ведь рано встаю. Привык».

«А раньше любил поспать»,— вспоминает бабушка. Садятся завтракать. Отцу и матери надо торопиться на работу, но они расспрашивают сына и не торопятся. Отцу уже почти шестьдесят, а деду больше восьмидесяти лет. И Морозов видит, что вокруг него — старики. Все в доме осталось таким же, как и в тот год, когда он уехал учиться,— настенные часы в темном футляре, дубовый буфет с резным орнаментом, зеркало в бесчисленных черных точках, а то, что изменилось, не изменило общей картины, этих двух проходных комнат, этого низкого потолка, этих маленьких окон. Но прежде здесь жили два старых человека, теперь их стало четыре. Морозову бросается в глаза затертое пятно на отцовском галстуке.

Отец работает в межколхозной строительной организации, он ждет пенсии. «Тебе надо перейти в НИИ,— говорит отец.— Хватит ляжку тянуть».

«Никого не слушай! — советует дед.— Главное, делай, что по душе. И не женись подольше. Не женись, Костик. Все бабы — ведьмы». Старик совсем высох, у него начинается катаракта обоих глаз. Он глядит сквозь толстые очки, а бескровные губы смеются.

«У тебя уже седые волосы!» — удивится мать. У нее крашенные хной темно-каштановые волосы, морщины вдоль шеи. Она никогда не простит отцу жизни в этом захолустье и говорит, что уедет вместе с Константином. Бабушка машет на нее рукой:

— Кушай, Костик.

Отец и мать уходят, а бабушка не отпускает Морозова из-за стола и настраивается на долгий разговор.

— Ты похудел, Костик... Может, ты на еде экономишь? Не надо на еде экономить.

— Нет, ба. Я не экономлю.

— А денег тебе хватает?

— Хватает.

— Мы тебе дадим. Я откладываю для тебя.

Морозову становится неловко.

— Зачем мне деньги? — спрашивает он.— Не надо.

— Нам что-нибудь купишь.

— Я и так куплю, не надо.

По Морозову по-прежнему неловко: он давно обещал подарить бабушке кофту.

— Расскажи, как ты живешь? — выручает его дед. — Работы много?

— Когда как.

— Не путайся с падшими женщинами, — говорит бабушка. — Ты блюди себя.

— Ой, ба! — смеется Морозов и обнимает ее.

— Нет, Костик, я серьезно. Сейчас девушки не блюдут себя, много заразных болезней.

Морозов отмалчивается.

— А что тебе снилось? — бабушка меняет тему разговора. — У меня сонник. Я тебе разгадаю сон.

— Не помню, — говорит Морозов. — Иногда море снится, сад и девушка.

Бабушка выдвигает ящик буфета, где лежат фонендоскоп, книга лекарственных трав, сонник. Евангелие без задней обложки, игральные карты, таблетки аспирина и старые письма.

Она берет сонник и повторяет:

— Море, сад, девушка...

Дед заглядывает в книгу и шевелит губами. В соннике многое есть, а вот «моря» нету, и бабушка ищет слово «вода». Она знает сонник почти наизусть. Морозов тоже кое-чего помнит из него. Например, яблоки на дереве — новое родство, хлеб — радость, земляника — подарки, груша — печаль, лук — успех, морковь — выгода, рыба — деньги, грибы — помощь...

— Как отец? — спрашивает Морозов у деда. — Все еще боится начальства?

— Боится, — вздыхает дед. — Я уж молчу... А в прошлом году Василий помер. Помнишь, наша пасека у него в саду стояла?

— Да, бабушка писала.

— Твой отец боится начальству перечить, а потом кары от него имеет. Зачем же соглашаешься строить сверх плана, ежели знаешь, что никак не справишься? — Дед наклоняется к Константину, от него исходит чуть уловимый табачный запах. — Тебя тоже жмут? Или ты других жмешь?

— И меня жмут, а бывает, и я, — говорит Морозов. — Ты куришь, дед?

— Куда мне курить...

Бабушка поднимает над книжкой глаза:

— Курит, Костик. В сарае курит... Хоть ты ему скажи... Много ли ему осталось?..

— А ну цыц, глупая баба! — сердится старик.

— У-у! — укоризненно произносит бабушка.

Потом она снова отрывается от сонника:

— Костик, а где та девушка? Как ее звали?

— Вера. Я женюсь на ней.

— Ой, Костик! — огорченно говорит она. — Не женись. Она для тебя старая. Тебе надо молодую, чтобы ты ее себе воспитал.

Дед кивает.

Морозов улыбается им, встает из-за стола и выходит на улицу. Он идет к Вере.

Дальнейшее он не может себе представить... Дед и отец давно не живут на свете, мать вышла замуж, а в доме поселилась горечь.

На подъеме Константин включил третью передачу. Под днищем машины что-то громко треснуло. Он прибавил газа. Двигатель заревел, но «Запорожец» замедлял ход. Морозов нажал на педаль тормоза — тормоза сработали. «Полетела коробка, — спокойно подумал Морозов. — Конец путешествию».

Отпустив тормоза, он скатился с подъема. Он не остыл от езды. Не верилось, что поездка закончилась.

«Что ж ты так? — мысленно спросил кого-то Морозов. — Именно сейчас?»

Он взял лежавший за задним сиденьем аварийный фонарь, красный пластмассовый сундучок с огромным рефлектором. Став на колени за машиной, осветил поддон двигателя, задние колеса, корпус коробки передач. Блеснул белый стальной излом. Левая полуось была сломана.

Морозов встал, отряхнул колени и стал ходить по дороге взад-вперед. Поломка была простая. Если бы у него оказалась запасная полуось, он бы отремонтировался за полчаса.

Через несколько минут, проведенных в бездействии на пустынной дороге, Морозов с тоской подумал, что здесь придется сидеть до утра, а потом где-то разыскивать злополучную железку.

Он подошел к «Запорожцу», взялся за холодную, покрытую росой ручку и безнадежно посмотрел на мутно сереющий асфальт. Ни огонька!

Константин влез в машину.

— Что же делать? — спросил он себя.

Он взял термос, выпил горячего кофе и закурил. Надо было устраиваться на ночлег. Рано утром его зацепит буксиром какой-нибудь попутный грузовик и дотащит до ближайшего населенного пункта. Морозов не намеревался возвращаться.

Он нащупал под сиденьем рычажок, дернул его, и сиденье откинулось назад. Морозов попробовал прилечь. Было неудобно. В шею уперлась откиннутая спинка, а ноги оставались на полу. Тогда он стащил с сидений матерчатые чехлы, свернул их и подложил под голову. Больше ничего нельзя было придумать.

И закрыл глаза.

К нему сразу подошла Вера в подвенечном платье и в короткой фате.

— Тебе нравится? — спросила она. — Жалко, что у нас самое хорошее теперь позади. Идем?

— Идем — согласился Константин.

У нее было желтоватое лицо с тонкими морщинками возле глаз.

Вера протянула ему деревянную шахматную доску. Морозов огляделся, не зная, куда сунуть этот предмет. Вокруг ничего, кроме «горбатого», не было. Он опустил доску на гравийную обочину.

И доска сама собой раскрылась. Это был первый подводный дом «Ихтиандра», выкрашенный в белый цвет.

— Это мне снится? — спросил Морозов.

Вера кивнула на дом. В его помещении стоял Чудновский, одетый в черный концертный пиджак. В его согнутых руках над белыми манжетами сияла труба. Увидев Морозова, он заиграл: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Протяжный, сдержанный плач разлился по дому.

Из отверстия в полу, где стоял прозрачный круг воды и скользили рыбы и рачки, вынырнула мокрая голова Павловича в маске и загубнике.

— Сыграй что-нибудь веселое, — попросил он, выдернув изо рта загубник.

— У меня сломалась полуось, — пожаловался Морозов.

— Вот видишь! — воскликнул Павлович. — Надо тебя развеселить. Французы давали своим акванавтам сухое вино, а у нас всегда был сухой закон.

— Что играть? — спросил Чудновский. — Раньше Костя любил рискованные варианты, например королевский гамбит или атаку Маршалла за черных...

## ИЗ ДНЕВНИКА КОНСТАНТИНА МОРОЗОВА

30 июля. Прошло несколько месяцев с того мартовского вечера, когда мы задумали погрузить в Черное море подводный дом и жить в нем. У нас не было ни подводного дома, ни гидрокостюмов, ни лодок. Мы крайние индивидуалисты и дилетанты. Среди членов клуба есть инженеры, техники, врачи, летчики, шахтеры, студенты, но нет ни одного профессионального водолаза.

С марта до июня каждому из нас по многу раз приходилось менять специальность. Сегодня мы чертим детали подводного дома, завтра свариваем эти детали из обрезков металла, послезавтра превращаемся в портных — кроим и склеиваем водолазные костюмы. Затем ремонтируем списанные лодки и моторы. Все это длится много дней, точнее — вечеров. А днем мы заняты на работе.

Сейчас месяцы вечерних работ, поисков оборудования, нужных специалистов, погрузка — это уже позади. По железной дороге ушли в Евпаторию два вагона с нашим оборудованием: дом, лодки, компрессоры, электростанция, кабели и шланги, медицинское оборудование. Мы вылетели самолетом. У каждого по 20—30 килограммов груза.

3.30 утра. Мы на Тарханкуте, недалеко от села Меловое, в восьмидесяти километрах от Евпатории. Нас встречают шестеро ребят, сопровождавших вагоны. Оборудование доставлено ими сюда за один день.

1 августа. Тарханкут все больше привлекает нас. Степь, камни, колючки, пи деревца вокруг. Но узнайте его поближе, и он вас очарует своими гротами и пещерами, скалами, морем, свободой и простором.

На холме у бухты с пологим песчаным берегом натянут белый купол парашюта. Вокруг палатки. Колодец, который, наверное, помнит крымских ханов. Тень от парашюта — единственная на всем побережье.

Белый дом из железа с красной надписью «Ихтиандр» стоит на траве. Пахнет полынью и овечьим пометом.

Я почти счастлив. Конечно, эксперимент пройдет блестяще, и мы заткнем за пояс Кусто с его программой «Пре-континент». Мне тревожно, но это хорошая спортивная тревога перед стартом. Иными словами, небольшой мандраж.

Вспоминаю Веру, отца, деда.

Я любил Веру, она любила меня. Почему же у нас ничего не вышло? Этот вопрос всегда приходит на ум, когда

я вспоминаю ее. Иногда она снится мне, и, еще не проснувшись, я испытываю тяжесть непоправимого горя, подобно смерти. А утром, пока не отвлекся работой, испытываю тоску. Видит ли Вера меня во сне? Не знаю. Скорее всего, нет, — хотя это лишь предположение... Если она замужем, пусть она будет счастлива.

По-видимому, я жестокий человек. Как я могу искренне желать ей счастья, если одновременно надеюсь, что успех «Ихтиандра» заставит ее вспомнить обо мне? Ведь вспомнив, Вера возродит на миг и любовь и испытает горечь потери, какую испытываю я.

Но пусть она будет счастлива. Для меня на свете живут две Веры, одна — со мной, другая — без меня. Это мистическое объяснение, может быть, самое правдивое.

*2 августа.* Открытие лагеря. Бидоны с сухим вином. Почти пятьдесят человек поют песни.

*4 августа.* Найдено место для дома. Глубина двенадцать метров. Рядом удобная бухта для лодок и озеро, соединенное с морем подводным гротом.

Перенесли дом на берег. Начались работы с балластом: бетонные параллелепипеды на полторы тонны весом укладываются в кассеты, по три блока в кассете. Сухопутная команда закатывает их в море и передает подводной группе.

*7 августа.* Спущены на воду дом и десятивесельная шлюпка. Я едва не сломал ногу. При спуске лодки ударило бревном-катком. Тяжелую лодку едва волокли, но я заорал, и ее мгновенно подняли.

*10 августа.* Работаем шестой день. В бухте плавает наш дом. Он наполовину затоплен первой кассетой блоков. Вокруг него стая подводников в разноцветных гидрокостюмах. Мы заводим тросы, подтягиваем их ко дну лодки и затем манипулируем ими. Все это идет медленно и тяжело. Ловлю себя на мысли, что в шахте легче.

Среди всех выделяются Павлович, Ипполитов и Бут. Павлович по натуре разбойник. Подводный дом а-ля Кусто — его идея. Сегодня он обрадовал народ: «Вы думаете, сейчас тяжело? Напрасно думаете! Мы занимаемся неизведанным делом, за такие дела можно заплатить жизнью».

...Вечером с моря пришла гроза. Молнии, фантастические по силе и форме, врезались в воду. Шел тяжелый страшный дождь с ветром. Затопило две палатки.

*11 августа.* Люди устали, нервничают. Неудача — сор-

валась нижняя кассета блоков. Трое готовятся к отъезду: не выдержали.

*13 августа.* Почти трое суток с короткими перерывами льет дождь. Лагерь еще стоит. Десятивесельную лодку сорвало с троса и било о камни. Двигатели вышли из строя. Дом целую ночь грохотал и булькал. Бухта залита грязью из прибрежных оврагов. Между палаток бродят печальные фигуры — кто в гидрокостюме, кто в плавках, кто в резиновых сапогах и в плаще. Только на кухне не утихает жизнь.

В эти дни было достаточно времени для раздумий. Прошла половина отпуска. Дом еще не установлен. В лагере все больше недовольных. Я не представлял, каким будет этот отпуск. Боюсь, мало кто представлял.

Кажется, мы стоим на быстро вращающемся круге. В центре группа железных ребят. Вокруг еще десяток. Они держатся прочно, хотя центробежная сила действует и на них. Дальше — остальной лагерь. Одни стараются приблизиться к центральной группе, другие слетают с круга. Главное — удержаться тем, кто в центре. Хочется думать, что я неподалеку от них.

*14 августа.* Общее собрание членов клуба. Быть или не быть эксперименту? Очень трудно. Никто не считает положение безнадежным. Заросший до глаз черной щетиной Павлович ерничает. Он уверен без оглядки. Почему-то такой лидер меня раздражает. Предлагаю назначить руководителем эксперимента Юру Бута. Павлович остается председателем совета «Ихтиандр», но безусловно он обижен. Нам приходится пожертвовать чем-то легким, цельным и, быть может, сильным ради успеха. А Бут умница, у него нешаблонное мышление, спокойствие, умение планировать последовательные операции, анализировать каждую из них. Эти черты инженера-экспериментатора сейчас намного важнее, чем романтика Павловича.

*15 августа.* Первыми акванавтами хотят стать четверо: Павлович, Ипполитов, Бут и я. Медики начали нас обследовать. Мы носимся с бутылками для анализов...

Наконец дом прочно связан с балластом. Вечером под рев ихтиандровцев шлюпка вывела дом из бухты. На первых пятистах метрах заглох мотор, и пришлось грести веслами. За четыре часа две смены гребцов привели дом к месту погружения.

Наступила ночь. Небо, море, берег поглотила тьма. За большой лодкой в десятках метров покачивается белым

пятном дом. Татакает мотор второй лодки, которая крейсирует вокруг. С берега лодки ориентируют ручные фонари. Около полуночи дом ввели в бухту, где будет проводиться эксперимент.

*20 августа.* Дом погружен на одиннадцатиметровую глубину. Подведены шланги и кабели. Почти все готово к приему аквалангистов. Совет экспедиции решил, что первым будет Павлович, вторым я. Ипполитова зарубили медики — у него врожденный порок митрального клапана. Узнав об этом, Павлович весело разругал его. Он был счастлив, что станет первым в стране акванавтом. Риск ему приятен. А если бы с Ипполитовым что-нибудь случилось, эксперимент пришлось бы прикрыть.

Я не ожидал, что выберут и меня. Бут больше этого заслужил. Он обеспечивал погружение. Его оставляют на берегу как незаменимого. Бут редко улыбается, а здесь прямо разозлился. Я предложил ему свой жребий, думая, что так будет справедливо. Но он отказался.

Сейчас наши медики готовятся к обследованию акванавтов в подводном доме.

*23 августа.* Штиль. Сине-зеленое море, голубое небо, солнце. На берегу два человека в аквалангах готовятся к погружению. Павлович и Ипполитов, который провожает акванавта, — он последний раз проверит освещение, связь, подачу воздуха и поднимется наверх. Через сутки я присоединяюсь к Павловичу.

Мы все молча смотрели на бурлящее в одной точке море. Из-под воды поднимаются тысячи пузырьков воздуха, образуя белопенный круг.

То, о чем мы мечтали весной, сбылось. Цель перед нами. Наверное, мы последние в мире дилетанты, которые смогли самостоятельно чего-то добиться...

Павлович остался под водой. Не знаю, что я завтра почувствую, но сегодня мы все думаем: он там один!

Я шахтер, враждебной средой меня не удивишь... Мы первые! Вот что удивительно.

Остаток дня Павловичу звонили по телефону раз сто. Он переоделся в сухое шерстяное белье и лежит на верхней полке. Смеется от возбуждения. Это эйфория. Ночью Павлович несколько раз просыпался с ужасом. Ему казалось, что вот-вот лопнут тросы. На поверхности началось волнение, и дом покачивало. Бут дежурил у пульта, спокойно твердил в трубку: «Саша, все в полном порядке». Если такой отважный человек, как супермен Павлович,



был в смятении, то каково пришлось бы мне? Я не герой и не трус. Я обычный представитель большинства. Риск заключается в том, что в случае аварии (выход из строя компрессора, электростанции) нельзя выйти из дома — вскипит в крови азот.

*24 августа.* Ранним утром одиночество Павловича закончилось. Начались визиты врачей и медицинские исследования. У него стало реже дыхание, стал реже пульс, сузились кровеносные сосуды, сократилось число эритроцитов и поднялось артериальное давление.

Говорю с ним по телефону. Павлович рад мне, как брату. Ждет. Поэтически описал рассвет — «полощется рассвет, подступает к раскрытому люку, встает за стеклами иллюминатора. Вблизи скалы рой мелких ставрид. При каждом движении они блестят, как будто составлены из осколков зеркала».

Вчерашнее возбуждение и напряженность у него исчезли. И у меня тоже.

В контейнере с горячей водой опускаем в дом еду. 5000 килокалорий в день: борщ, жареные цыплята, шоколад, виноград. У Павловича зверский аппетит.

В последний раз я поднялся на уступ, нависающий над самым домом, лег грудью на нагретые солнцем камни и смотрел вниз, на бурлившую воду. Ни о чем не думал, только остро ощущал, что живу.

Пишу уже под водой. Небольшая жилая комната, две койки одна над другой, шахтные светильники, несколько контрольных приборов. В тамбуре баллоны и акваланги, здесь выход в море — вода плещется чуть ниже уровня пола. Оттого, что рядом Павлович, я почти спокоен. Не сразу доходит, что я в другом мире. Прошу выключить свет. За иллюминатором — отвесная скала, заросшая водорослями. Их кустики плавно колышутся. Там, наверху, поднимается волнение. Дом немного раскачивается, все длиннее становятся взмахи водорослей. В детстве я нырял с открытыми глазами и видел песчаные барашки на дне реки. Пока хватало воздуха, я плыл, уткнувшись носом в дно, и думал — вот-вот передо мной откроется какая-то тайна. Сейчас я тоже ждал какого-то чуда. Я не мог оторваться от иллюминатора. Павлович сказал, что видел нагую женщину, которая проплывала возле дома. У нее были длинные волосы и рыбий хвост. Я не сразу понял, что он шутит.

Включили свет.

Толстый кабель и еще более толстый шланг открыто пересекают дом. Смотреть на них приятно — это свет и воздух. Голубой лентой вдоль стены тянется телефонный провод. Неожиданно ощущаю в запахе изоляционной ленты, которого я никогда не замечаю, запах тарани. Это что-то новое.

Хочется подпрыгнуть и перекувырнуться. Жаль, что высота дома малая. Как много во мне силы!

Время летит необычайно быстро. Нам передают с поверхности сообщение ТАСС о первых акванавтах Черного моря, но оно меня не волнует. Поверхность затушевана, воспоминания бегут одно за другим. Мне приходит в голову усадить рядом с собой деда и отца. А они не понимают меня. Ради чего я опустил под воду? Кого-то спасти? Заработать деньги? Добыть полезное ископаемое? Нет, мне просто интересно. И не буду говорить, что я прокладываю путь другим. Я прокладываю путь себе.

Ночь была прекрасна. В иллюминаторы отсвечивали вспышки далеких зарниц. Мне приходилось погружаться ночью, но сейчас волнение дрожью прошло по телу. Берег, друзья, напутствия — все это теперь вспоминалось только краешком сознания... Кажется, я лежу на вагонной полке и поезд летит сквозь зимнюю ночь.

*25 августа.* После шестнадцати часов подводной жизни — жив и здоров. Очень легко выходить из дому в воду: как в родную стихию. Ставриды и ласточки нас не боятся.

Наша жизнь вызывает бесконечное удивление и побуждает к необычным размышлениям. Хочется, чтобы стояли где-то поблизости второй, третий, четвертый дом, где жили бы хорошие друзья. Войти бы в такой же дом, поговорить, поохотиться вместе, поработать...

Медики говорят, что в моих ассоциативных тестах все чаще появляются слова, связанные с поверхностью: лес, поле, ромашки, опушка, ветер, небо.

От медиков нет спасения. Их визиты заполняют весь день.

Вечером уходим в воду. Зеленоватый свет подводных фонарей освещает дом и дорогу к берегу. Рядом со мной Павлович с баллонами за плечами, в маске и в ластах. Он плывет в световом облаке, порождая тьму искр. Вот он скользнул вниз, коснулся камней, и они засветились. Я устремляюсь за ним. Чувство восторга, радости и восхищения красотой овладевает нами. Мы кружимся в плавном танце гидроневесомости.

Мы созданы не только для труда, но и для праздника. Не поняв этого, нельзя понять ничего.

Дома я с выражением читаю вслух Пушкина: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Медицинские обследования, анализы, тесты, общественная значимость нашего эксперимента — все это удаляется от меня.

Появляются мысли о вечности. Может, появляются оттого, что завтра Павловичу надо подниматься на землю? Сейчас азота у него в крови в два раза больше нормы. Хотя все предусмотрено, чтобы удалить излишний азот, полной безопасности нет.

*26 августа.* Павлович весел. Не его, а меня преследует смутный страх катастрофы. Предстоит десатурация и декомпрессия. Он дышит через загубник смесью кислорода с гелием, а потом — чистым кислородом, чтобы вымыть избыточный азот.

Его заросшее лицо блестит от пота. Павлович, если что-то и чувствует, никогда не признается. Он сам одолевает страх.

По телефону Бут напоминает порядок подъема: предстоит опустошить несколько аквалангов на глубине семь и три метра.

А мне не хочется оставаться одному. На прощание мы обнимаемся.

*27 августа.* Наверху волнение. Дом сильно качает. Перепады давления ощущаю барабанными перепонками. Готовлюсь к подъему.

В воде почти ничего не видно. Иду по воздухопроводному шлангу. Едва удерживаюсь от того, чтобы не рвануться вверх изо всей мочи. Из небытия поднимаюсь на землю. За время подъема и декомпрессии устаю больше всего.

На берегу дует сильный ветер. Идет дождь. Меня укутывают одеялом и плащом и тащат в палатку медиков.

Берег забылся. Краски необычно яркие, больно глазам. Кажется, что вокруг много суеты и лишних предметов. Иду медленно, боюсь оступиться. У Павловича было то же самое.

Без многого может обойтись человек, но только не без людей.

*28 августа.* По-прежнему шторм. После огромного напряжения лагерь расслабился, не знают, чем запяться. Как быстро все промелькнуло! Днем мы сфотографировались

на прощание. Оказалось меньше тридцати человек. Это — устоявшие на круге. А начинало около сотни.

Холодно. Тяжелая мокрая земля пахнет осенью. Иссиня-черное море в белых бурунах. Вечером прощальный ужин. Спасаясь от ветра, собрались под скалой на берегу. Разожгли костер. Греемся и поем песни.

29 августа. Лагерь сворачивается. Сегодня не место вчерашнему элегическому настроению. Готовимся к нагрузке. Забываем ящики. Укладываем палатки. Уже сняли мачту. Забираем самое ценное оборудование. Лодки, компрессор и многое другое оставляем в кошаре: вернемся весной. Нет ни времени, ни денег все увезти с собой. Наши отпуска закончились еще вчера...»

## XI

Ежась от холода, Морозов проснулся и вышел из машины. Стоял серый туманный рассвет. Порывами дул холодный ветер.

Допив кофе, Морозов стал ждать попутный грузовик. Он не выспался, болели глаза.

Проехали два серебристых трайлера, «Жигули» и крытый армейский грузовик, но все они шли в обратном направлении.

Было еще рано. Откуда-то с поля доносилось карканье ворон. Непрерывно звенели провода высоковольтной линии. Морозов вернулся в машину и снова прилег. Он быстро задремал. Ему казалось, что он скачет вместе с дедом на конях, а за ними кто-то гонится, и вот конь под Морозовым слабеет...

\* \* \*

Сквозь дрему он услышал шорох автомобильных шин и звук останавливаемого двигателя.

Возле «Запорожца» стоял зеленый фургон «Рафик», из кабины вылезал Павлович — спрыгнул, расставил ноги, зевнул и потянулся.

«Слава богу!» — подумал Морозов.

Павлович был выбрит, его толстое лицо было оживлено веселым напряжением. По-видимому, он уже десять раз прокрутил в уме работу в затопленном стволе и был счастлив предстоящим риском.

Морозову впервые пришлось в голову: этот человек всегда искал одного счастья рисковать жизнью и никогда не был понят другими.

Морозов почувствовал зависть.

Он шел навстречу Павловичу и улыбался.

Они пожали друг другу руки. Из фургона вылезли Ипполитов и Бут, сонно поморгали и тоже подошли к Морозову. «Как? Они вместе?» — мелькнуло у него.

— Неужели ты нас ждешь? — спросил Павлович. — Ты когда выехал?

— Полуось полетела, — ответил Морозов.

«Это самый славный способ жить, — подумал он. — Самый прямой. И несовременный».

— Можем подбросить, — предложил Павлович. Он понял, что Морозов здесь оказался случайно и будет их задерживать.

— А то плюнь на все, закрой броневик — и давай с нами.

— Нам надо ехать за полуосью, — вздохнул Ипполитов. — Где же он ее возьмет?

Он вопросительно поглядел на Павловича своими добрыми умными сонными глазами, ожидая от него действия.

— Лучше взять на буксир, — сказал Бут.

Павлович повел плечом и кивнул Морозову:

— Как ты думаешь?

Должно быть, ему хотелось услышать отказ Константина и если не отказ, то просьбу о помощи. Вчера он просил Морозова, сегодня было наоборот. Это выжидание было так не в характере Павловича и так в духе их все более холодных взаимоотношений, что на самом деле было трудно угадать, чего же в действительности хотел Павлович, задавая свой бесцеремонный вопрос. Была ли это игра в раздумье, или только проблеск мстительной мысли, или твердая мысль об их разных дорогах?

— Надо буксировать, — решительно сказал Бут. — Думать здесь не о чем.

— Да я не об этом, — усмехнулся Павлович, но не стал объяснять, о чем же он думал.

В его усмешке почудилась досада. Он всегда был упрямым, а сейчас, больше не предлагая Морозову присоединиться к экспедиции, он просто откладывал это предложение на другое время.

Морозов вытащил из багажника белый капроновый трос. Фургон заехал впереди «Запорожца». Зацепили трос за обе машины.

В открытые двери фургона были видны лежавшие

на полу зачехленные акваланги и чьи-то вытянутые с боковой скамьи ноги.

Перед тем как сесть в фургон, Павлович оглянулся, посмотрел на Морозова каким-то по-хозяйски удовлетворенным взглядом и подмигнул.

Морозов кивнул ему. В эту секунду Константин почувствовал, что Павлович ему дорог.

Поехали... Он подумал о Павловиче так, как если бы сам стал им.

Встать ранним утром, оставить спящих жену и сыновей, расставших в туманном небытии сна, быстро бесшумно одеться и исчезнуть из дома. И машина умчит тебя неизвестно куда, в подземную темноту, в слепую воду, или в ад, или в космос, где еще до тебя никто из людей не бывал. И ты будешь там счастлив, ибо остро ощутишь природу своего зыбкого существования и победишь ее.

Но, подумав так, Морозов вслед за этим задал вопрос, который не мог задать себе Павлович: зачем, ради чего, с какой целью?

Он улыбнулся своим практическим мыслям. Он не мог опровергнуть Павловича, к каким бы логическим вопросам ни прибегал, потому что у них были разные системы измерений, и то, что казалось одному хорошо, другой считал забавой, в лучшем случае — спортом. А жизнь может быть и забавой, и спортом, и добычей, и любовью, и здоровым смыслом; с ней легко не согласиться, но ее нельзя опровергнуть.

И сейчас Морозов впервые позавидовал Павловичу, что не может изменить себя...

«Ну ничего! — сказал себе Морозов. — Мне не семнадцать лет, я трезвый тридцатилетний мужчина и живу, как и полагается мне жить. Без трюков».

Он больше не думал о Павловиче.

Ко всем трем — Павловичу, Буту и Ипполитову — в клубе всегда было разное отношение. Павловича сначала любили и не замечали его заносчивости, Буту подчинялись с уважением к его ясному критическому уму, а вот к Ипполитову были настроены как-то без особой любви, без дисциплинированного уважения, но просто и по-свойски, хотя он был одним из руководителей. При полном отсутствии честолюбия Ипполитов среди резко выраженных индивидуалистов играл какую-то важную человеческую роль. Больше всего Морозова поражало, что Ипполитов умел гасить столкновения, находя компромисс между об-

щей целью и личным интересом какого-нибудь студента.

У Ипполитова было два принципа, которые исцеляли «Ихтиандр» в дни тягот и тоски: «Каждый должен жить в согласии с собой» и «Добру не надо оправданий, но они нужны злу». Сейчас же, увидев Ипполитова рядом с Буттом, Морозов вспомнил о банальном противоречии, разрушающем их дружбу. Философия не могла тут помочь. В равной мере оба так же тянулись друг к другу, как и отталкивались.

Ипполитов улыбался, блестели во рту стальные коронки, придавая улыбке что-то машинное. Все зубы закрывались этими железными панцирями. У него было слегка отекавшее лицо, пористый мясистый нос, короткие седые волосы. Но, несмотря на седину и явные следы раннего старения, преждевременные в его тридцать шесть лет, Ипполитов сохранил в своем облике что-то юношеское и трогательное. Его рост был большой, почти метр девяносто, правое плечо поднималось заметно выше левого, наталкивая на мысль о врожденном пороке сердца.

По сравнению с Ипполитовым Бут выглядел полным достоинств гордецом, каковым и показался Морозову этим ранним утром. Было в характере Бута нечто такое, что делало его великолепным инженером-экспериментатором и, значит, вынуждало предвидеть неудачи. Он редко улыбался.

Его огромное самолюбие так и не было удовлетворено в годы успехов. После того как клуб не стал лабораторией в научно-исследовательском институте, Бут словно споткнулся на жизненном пути. Он ясно увидел свое настоящее: старший инженер с заработком в сто шестьдесят рублей, жена, двое детей, и главное — за спиной ничего не оказалось. Дымку романтики, окружавшую «Ихтиандр», развеяло. Надо было перестроиться, забыть поражение и заняться чем-то реальным, например диссертацией. Но Бут с его гибким умом неожиданно оказался твердолобым в этом простом положении. Он решил ставить на «Ихтиандр» до конца.

И тогда его жена Лена порвала дружбу с женой Ипполитова. Она устала. Ипполитов давно был кандидатом технических наук, зарабатывал вдвое больше и, поддерживая в Буте иллюзии, сам ничем не рисковал. Новый образ Ипполитова был рожден не завистью, а отчаянием. Она защищала своих детей. Если бы можно было отправить Бута на принудительное лечение, как это делают с алко-

голиками, Лена бы, наверное, решилась на такой шаг. Ей казалось, что, отключив Бута от друзей, она разбудит его.

Ей было на руку, что Наташа Ипполитова, выслушав ее боль, не приняла ни слова и повернула все против Бута. Выходило, что не Ипполитов играет ее мужем, а наоборот — из Ипполитова выют веревки, вымогают у него деньги на разные прожекты, не дают лишний раз купить на рынке продукты для ипполитовских детей, что Бут делает себе карьеру чужой кровью. Она беспощадно пересказала Буту этот разговор, а Наташа, должно быть, постаралась раскрыть глаза Ипполитову. У них была одинаковая цель. Обeim надоело жить надеждами и проводить вечера в одиночестве. Они были правы самой главной правотой, которую им дало рождение детей. Они словно подытожили: «Мужья, всему свое время. Вы опоздали стать удачливыми. Будьте же такими, как вы есть, но только рядом с нами!»

И здесь Ипполитов был вынужден пойти против своих принципов. Он не мог оставаться в согласии с собой. Семья была частью его самого, а она-то и воспротивилась его действиям. Ему понадобилось оправдываться, и это только подчеркнуло его вину. Наташа быстро вспомнила: «Добру не нужны оправдания!», и он почувствовал, что молодое время ушло.

С той поры Бут перестал бывать у него дома. Обоим должно было быть тяжело и совестно друг перед другом. Что бы они ни думали, что бы ни умалчивали и ни скрывали, а их дружба вместе с «Ихтиандром» приближалась к концу.

\* \* \*

Фургон въехал в большой серый разбросанный город, как будто механически составленный из десятка мелких шахтерских поселков. Одноэтажные дома были окружены садами и огородами, деревья наклонялись через заборы и роняли листья. За ночь тротуар был закрыт облетевшими листьями.

Городок еще спал. Однообразным и железным звуком стучала сломанная полуось.

Миновали газетный киоск, на стене которого висел красный плакат с улыбающимся счастливым шахтером. Потом проехали мимо магазинов со скромными витринами, мимо отделения автоинспекции и стоявшего там смятого, без стекол, новенького «Москвича», укрытого кар-



тонками и связанного проволокой. Фургон повернул налево. Здесь пошли пятиэтажные кирпичные дома. Наверное, близко был центр. Однако фургон повернул еще раз, и вскоре улицу снова составляли маленькие домики, заборы и сады.

Морозов нажал на клаксон. У фургона зажглись красные стоп-сигналы, он остановился. Константин вылез из машины, Павлович уже шел ему навстречу.

— Куда мы едем? — спросил Морозов.

— На ту шахту, — сказал Павлович. — Тут близко, ты не против?

Конечно, было поздно спрашивать морозовского согласия после того, как они там решили буксировать «Запорожец» до самой шахты. Однако ни в выражении лица Павловича, ни в его голосе не было заметно смущения: Морозов увидел лишь то выражение хозяйской удовлетворенности, с каким Павлович взялся ему помогать. Сейчас было бесполезно что-либо выяснять. Надо было решить — ехать или оставаться?

— Поехали, — сказал Морозов.

Скоро они были на месте. Обшитый белым шифером проходческий копер возвышался над степью. Сквозь серые облака мелькало солнце. Ветер усиливался. Издалека было видно, как из шахтного ствола поднимались огромные железные бадьи с водой. Они опрокидывались, и раздавался мощный глухой шум водопада.

Морозов представил, что должно твориться в глубине ствола. И он подумал, что теперь у него не останется возможности отступить. Если бы он не видел, не слышал — затопление ствола никогда бы не задело его. Теперь надо было перебороть свой страх.

Из фургона вышли Павлович, Ипполитов, Бут и Дятлов. Газетчик поднял над головой руки и замахал Морозову, улыбаясь неестественно удивленно, как будто не ожидал встречи. Он был возбужден, оглядывался и нетерпеливо топтался на месте. На нем был коричневый костюм в мелкую клетку и кремовая рубашка. Его маленький курносый нос покраснел: должно быть, Дятлов в дороге озяб.

Не обращая на Дятлова внимания, подводники глядели в сторону копра. Шофер фургона пошел за начальством.

Морозов отценил трос, но не стал прятать в багажник, а положил на заднее сиденье рядом с термосом. После этого он окликнул ребят, и они подкатили «Запорожец» к зданию шахтоуправления, к глухой стене.

— Я бы хотел...— сказал Морозов и кивнул головой на шум падающей воды.

— Это опасно,— улыбнулся Павлович.— Вот они побоялись сказать дома, куда едут.

Они, то есть Ипполитов и Бут, тоже улыбнулись. Морозову захотелось представить рядом с ними их беспокойных жен, чтобы убедиться, что есть вещи посложнее подводных работ.

— Опасности надо избегать,— ответил он Павловичу,— но сегодня это, кажется, невозможно.

— Вот именно,— сказал тот веселым голосом.— Чем хуже, тем лучше. Мы заставим поверить в «Ихтиандр».

Однако это была старая песенка. Морозов повернулся к Дятлову:

— Расскажи подробно, что здесь случилось?

— Им нужно пройти вертикальный ствол глубиной около километра,— охотно ответил Дятлов.— Кругом водоносные породы. На глубине пятьсот метров прорвалась вода...

— Идут,— тихо сказал Ипполитов.

Дятлов замолчал. От здания шли шофер и высокий человек в каске и в короткой брезентовой куртке. Этот человек не глядел себе под ноги, его взгляд ощупывал приехавших подводников.

Дятлов шагнул к нему, пожал руку и позвался. Человек коротко посмотрел на него, ничего не сказал и подошел к Морозову. По-видимому, он угадал в нем старшего.

— Главный инженер,— представился он.— Кулешов.

— Константин Морозов,— ответил Морозов.

— Михаил,— добавил Кулешов.

— Заместитель председателя «Ихтиандра» по технической части,— значительным тоном пояснил Дятлов.

Кулешов чуть кивнул ему и стал знакомиться с остальными.

— Первый в стране акванавт,— продолжал пояснять Дятлов.— Член совета, кандидат технических наук... Тоже член совета...

Кулешов крепко пожимал руки. У него были усталые недоверчивые глаза и глубокая продольная складка на переносице под сросшимися бровями. Морозов заметил, что после пояснений Дятлова глаза стали холодными. Кулешову не нужен был этот парад с газетчиком, ему требовались простые храбрые люди...

— Прежде всего спасибо, что вы приехали,— сказал он.— Я знаю о вашем клубе... Но хочу предупредить: одно дело работать в море, и совсем другое — в шахте. Вы это понимаете?

— Нам бы хотелось...— начал говорить Павлович.

— Одну минуточку! Я еще не кончил,— сказал Кулешов.— Вы должны знать обстановку. Проходка ствола велась в водоносных породах. Примерно на отметке пятьсот метров из одной скважины вырвалась вода под давлением сорок атмосфер. Скважину пытались закрепить, но не смогли.

— Чем крепили? — спросил Павлович.

В коротком вопросе слышалось раздражение. Павлович почувствовал холодное отношение, сильную натуру Кулешова, и его самолюбие было задето.

— Стальная заглушка на восьми болтах,— ответил Кулешов и продолжал, не останавливаясь на подробностях: — Вода прибывала быстро, мы вынуждены были отступить. Откачиваем шестикубовыми бадьями. Подъемные установки не останавливаются уже трое суток, но удается только удерживать постоянный уровень воды. Откачивать насосами еще не пробовали. Это месяцы работы и несколько десятков тысяч рублей затрат. Обращались к горноспасателям. Они бессильны помочь.

Кулешов замолчал и потом сказал:

— Еще раз — спасибо. Все теперь зависит от вас.

— А вы не верите, что мы поможем? — усмехнулся Павлович.— Между прочим, в «Ихтиандр» всегда не верили... Трудно поверить в то, чего сам толком не знаешь и не умеешь. Согласны?

— Сейчас вы позавтракаете, а потом начнем,— сказал Кулешов.— В столовой были предупреждены, идемте.

То, что он не услышал ни слов Павловича, ни тяжелого неприязненного тона, которым они были высказаны, понравилось Морозову. Этот высокий крепкий Кулешов был дельным работником. Поэтому-то он не заметил амбициозной вспышки. Возможно, ему вообще не было дела до подводников и они интересовали его как полезная вещь. И если эта догадка была верной, то ею же можно было объяснить и поведение Павловича.

«Хорошо бы с ним выпить, проговорить целый вечер,— подумал Морозов.— И открылся бы такой же нормальный, ни хороший, ни плохой человек, как все мы. Но на это нет времени. Павлович эту несурязицу чувствует острее...»

Столовая помещалась внутри главного здания, она была закрыта. Кулешов потолкал дверь, выругался и сказал:

— Ну я тебе покажу!

— Ничего, Михаил, — вымолвил Морозов. — Сейчас все равно не до еды.

— Ах, нехорошо! — Кулешов сделался еще мрачнее. — Что ж, тогда давайте переодеваться.

— Вот и ладно, — торопливо сказал Ипполитов. Ему, наверное, стало неловко за Кулешова. — Мы дома поели. Знаете, перед самым спуском лучше вообще не прикасаться к еде.

— Что ж теперь делать? — проговорил Кулешов. — Такие мы, значит, хозяйева!

— Вы можете выполнить одну просьбу? — нахально спросил Павлович.

— Какую?

— Видели «Запорожец»? По дороге там сломалась полуюсь. Надо бы где-нибудь найти.

— Гм, — ответил Кулешов. — Даже не знаю.

— Но вы все-таки попробуйте, — сказал Павлович. — Костя, где ключи от машины?

— Не надо, — покачал головой Морозов. — Где они достанут полуюсь?

— Ладно, попробуем, что же поделать, — Кулешов протянул раскрытую ладонь.

И Морозов отдал ключи, не слишком веря, что выйдет толк. «Я бы сейчас уже разговаривал с Верой», — подумал он.

...Бадья плавно шла вниз, миновала рабочий полук и остановилась. Было темно, сыро и холодно. Внизу в бетонном тесном колодце плескалась мутная вода. Сверху шел серый слепой свет.

Семь человек, стоявших в бадье, были одеты в одинаковые брезентовые куртки. Через плечо свисали зажженные лампы-коногонки. На дне лежали акваланг, отбойный молоток и инструменты. Двое из шестерых были проходчиками и стояли тут без всякого смысла. Седьмой была медсестра.

— Я иду первым, — сказал Павлович.

— Почему ты? — спросил Ипполитов.

— Потому что я!

Морозов с Бутом промолчали. Было ясно, что Павло-

вич не уступит, да и не было у них в эту минуту его безоглядной решимости, как не было ее у Ипполитова.

Когда-то было что-то подобное. Белый домик с красной суриковой надписью покачивался полузатопленный в бухте под скалой. Ночью штормило. Надо было устоять на вращающемся круге, приведенном в движение их молодой волей, устоять перед последним испытанием, которое казалось тогда самым значительным, и, уйдя в глубину моря, выйти на землю победителями. Утром сделалось ясно и тихо. От берега до горизонта в спокойной замутненной воде сияли солнечные блики.

Тогда их тоже было четверо — Павлович, Ипполитов, Бут и Морозов, и тогда, кажется, тоже спорили, кому идти первым. Ипполитов не смог из-за большого сердца, Бут был нужен наверху, и остались Павлович и Морозов, которым было суждено начинать.

Теперь что-то повторялось: они снова были вчетвером перед новой задачей.

Но теперь каждый из них спрашивал себя: «Неужели мы едем последний раз?» — и, находясь в состоянии предначального возбуждения, не решался ответить себе.

Павлович перешел к противоположному борту, где крепилась лестница-стремянка. Его лицо из оживленного сделалось тупым и жестоким.

Морозов снова посмотрел вниз, еще не веря, что ему действительно придется туда спуститься. Он знал, что спустится. Но то, что всегда было в нем сковано сознанием, уже вырвалось из-под контроля. Константиин не раз бывал под водой, погружался и в ночное тревожное море, и сейчас он вспомнил те погружения. Ему показалось, что он овладел собой. «Ты же не трус, — еще сказал он себе. — Там ничего не может случиться». Тем не менее Морозов чувствовал, что он-то и есть трус.

Павлович разделся и, рыча от холода, втискивал свое мускулистое волосатое тело в гидрокостюм. Ипполитов помогал ему. Бут прислонил к стене баллоны и, открыв вентиль, проверял подачу воздуха.

Морозов скинул куртку. Под ней была белая нательная рубашка, выданная вместе со всей спецодеждой. Он растегнул ее, потом скинул сапоги и разделся совсем.

Павлович натягивал на голову маску. Ипполитов и Бут подняли акваланг и держали наготове.

— Костя! — подмигнул Павлович сквозь стекло маски. Он ловко и быстро накинул на плечи ремни акваланга, су-

нул в рот загубник и попробовал дышать. Потом перекинулся через борт и по лестнице с горящим светильником исчез под водой. За ним потянулся страховочный тросик.

Прошло довольно много времени — может быть, минута. Все молчали.

— Надо страховать, — сказал Морозов. Он надел маску и прыгнул в воду.

Было очень холодно. Константин держался руками за железную ребристую перекладину лестницы и смотрел на всплывающие белые пузырьки.

Из бадьи на него светили пять желтоватых лучей.

— Костя, может, ему пора? — спросил Ипполитов.

Прошла еще минута. Вытягивались и лопались гроздьи белых пузырьков. «Лучше самому быть там», — подумал Морозов.

Впервые он так ясно ощущал тот конечный рубеж, за которым уже ничего не может быть, ни холода, ни страха, ни этих размытых бликов на плещущейся воде.

Павлович вынырнул, схватился за руки Морозова, дотянулся до лестницы, сорвал маску и загубник и жадно задышал открытым мокрым ртом. Его глаза не мигая глядели в ржавый борт бадьи. Загубник с шипением травил воздух. Павлович отдышался и полез вверх, сгорбившись под тяжестью баллонов. На Морозова обрушились струи воды, он отплеывался, тряс головой и тер глаза.

Все кинулись стаскивать с Павловича скользкий черный костюм. Медсестра дала Морозову простыню, и он стал вытираться.

— Ну что там? — спросил Ипполитов.

— Что там?! — бросил Павлович и повернулся к проходчикам. — Ничего у нас не выйдет. Будем подниматься!

Это были его первые слова. Он не походил на себя; он требовательно глядел на проходчиков, которых прежде не замечал, которые прежде не были ему нужны, но теперь он как будто чего-то от них ждал.

«Слава богу, что все кончается», — подумал Морозов. — Было бы смешно задохнуться в этой помойке».

Он наклонился и закрыл вентиль акваланга, все еще выпускавший сжатый воздух. Ипполитов и Бут посмотрели на него.

— Значит, не вышло, — вздохнул низкорослый проходчик с белым рубцом шрама на верхней губе. — Ну что, подъем? — и тоже посмотрел на Морозова.

— Подъем, — кивнул ему Павлович. — Давай сигнал!

— Что ж, надо подниматься,— хмуро согласился Константин и спросил Павловича: — А ты скважину хоть видел? Какая она?

— Что?

— Скважину.

— Там нулевая видимость,— усмехнулся Павлович,— ничего не разберешь. Столько железа наворочено... у меня баллон зацепился за какую-то железку... и все. Больше и сказать нечего.

— Ладно, нечего так нечего,— согласился Морозов.— Лучше бы нам здесь совсем не показываться. Поднимаемся, что ли?! — И стал расстегивать куртку.— Ипполит, что молчишь? Поднимаемся? — Он скинул куртку.— Бут? Поднимаемся! — И стащил сапоги.

Павлович подошел к нему, схватил за плечи и тряхнул:

— Я был там! Мы взяли не за свое дело.

— Иди ты...— сказал Морозов.— Я знаю, что я делаю.

Ипполитов помог надеть гидрокостюм, и Константин, перевалившись через борт, не оглядываясь, ушел в воду.

Он осторожно двигался вниз, нащупывал правой рукой бетонную стену и левой защищал голову. Снизу слышался ровный глухой рев. Мутная белесая вода, освещенная лампой, билась в маску и терла песчинками ее стекло.

«Мы жили с ним в первом подводном доме»,— вспомнил Морозов и почувствовал, что жлет.

Не было маленького дома у скалы, где раскачивались водоросли, где проносились сотни мелких ставридок, не было подводных рассветов, выхода в ночное море и вспышек зеленовато-белых пузырьков воздуха, похожих на холодный огонь, не было утренних радостных разговоров по телефону, не было Павловича... Был этот наводящий ужас рев.

Константин продолжал опускаться. Стали мерзнуть пальцы рук и ног. Казалось, что слабеет подача воздуха.

Он наткнулся на торчащую из стены проволоку, взял за нее и замер. Надо было успокоить дыхание. «Беречь маску,— мелькнуло у него.— Если отбросит и потеряю сознание — как без маски?.. Впрочем, без сознания нельзя ничего сберечь. Господи, почему он струсил?!»

Морозов отпустил проволоку и снова схватил ее. Ему чудилась бездонная глубина подземного моря, ее жадное ожидание. На него словно кто-то взглянул снизу, из безд-

ны, куда он должен был спуститься, несмотря на свою трусость, ибо наступил единственный миг, когда у него не стало выбора.

Он разжал пальцы.

Сила поднимающейся воды увеличилась, пришлось подгребать ладонями, больше — правой, потому что левая защищала лицо. Теперь он был вынужден оставить удобную ориентировку по стене, но время от времени старался прижаться плечом к вогнутой бетонной поверхности, чтобы не отклониться в середину ствола. И ему по-прежнему казалось, что кто-то за ним следит.

Страх глубины, сказал Морозов себе, это просто страх глубины, ты же знаешь, что он проходит.

Левая рука паткнулась на какой-то твердый предмет. Морозов попытался определить его размеры и, не отходя от стены, провел рукой ощупывающий полукруг. Предмет был большой. Длины руки не хватило, чтобы добраться до его конца.

«Здесь он остановился», — подумал Константин. Поколебавшись, он стал продвигаться над предметом и узнал в нем буровой станок. «Вот ты кто, дружок! — мысленно обратился он к нему. — Вот и хорошо». Что могло быть опасного в брошенном железном агрегате? Опасности не было. Наоборот, Морозов получил второй ориентир и, не возвращаясь к стене, прошел на метр к центру ствола, резко махнул сомкнутыми ногами и коснулся дна. Скважина была где-то поблизости. Крутило и отбрасывало цементную муть. В стекло маски косо ударился обломок бетона.

Морозов, закрывшись обеими руками, быстро повернулся к струе затылком. Вокруг бедер обвился страховочный тросик, и, освобождаясь от него, Константин успокоился. Он добрался до противоположной стены, обнаружил там какие-то металлические конструкции, но не смог определить их назначения. Он поднялся повыше и, держась за них, приблизился к устью скважины.

В бетоне была проломана дыра размером с человеческую голову.

Константин ощущал, как на той стороне, в двадцати сантиметрах от него, напряглось что-то чудовищное, от чего горняку нет спасения.

Он ощущал края дыры заочеченными руками, тупо принимающими уколы. Устье невозможно было сразу закрепить.



Морозов выбрался из железных ребер конструкции и пошел вверх.

«Как бы не простудиться,— подумал он.— Нехорошо приезжать с гриппом».

Через полминуты он должен был подняться к своим. Какой-то восторг загорелся в нем.

И тут что-то потянуло его вниз. Морозов бросился к поверхности, гребя изо всех сил, но что-то снова потянуло ко дну. Чудовище схватило его. Оно больше не тянуло, а лишь не давало подняться.

«Нехорошо приезжать с гриппом,— почему-то повторил Морозов.— Господи, дай выйти! Дай выйти! Меня никто больше не загонит под воду! Я ехал к Вере! Дай выйти!.. Это последний раз!»

Ему казалось, что он кричит. Хотя во рту был загубник, Константин слышал свой крик, не слышал рева воды, а только крик.

Потом Морозов опомнился, нырнул на дно, освободил страховочный тросик и поднялся.

Лишь в бадье он пришел в себя, когда его вытащили из ледяного гидрокостюма, растерли и одели в сухую одежду.

— Костя! — спрашивал его Ипполитов.— Замерз?! — И почему-то виновато улыбался.

— Там буровой станок и какое-то оборудование,— сказал Морозов.— Видимость ноль. Скважину сразу не закрепить. Надо расчищать в бетоне место для болтов и заглушки.

Он поглядел через борт на темную глинистую воду и отвернулся.

Павлович поднял с пола отбойный молоток, тускло поблескивающий исцарапанным дюралевым корпусом.

— Там страшно? — ободряюще спросила у Морозова медсестра.

— Страшновато,— ответил он.

Она была еще очень молода, с высоким, как у всех украинок, лбом и нежным слабовольным ртом.

— Теперь я пойду! — сказал Павлович.

Но Бут махнул головой и усмехнулся:

— Нет, ты пойдешь последним. Иду я.

Он произнес это хладнокровно, занятый, по-видимому, только распределением их небольших сил. Он должен был предвидеть все: и даже эта медсестра в голубом платке под большой каской была здесь по его требованию.

— Тогда никто не пойдет! — заявил Павлович. Он отбросил молоток, взял акваланг и поставил его с железным стуком на борт бады. — Или я — или утоплю акваланг!

— Оставь эти штучки, — ответил Бут. — Я горняк и инженер. Значит, пойду я. Это шахта... С самого начала надо было идти Морозову или мне.

Он стал раздеваться, а Павлович исподлобья глядел на него недоверчивым взглядом, словно ждал, что тот будет отнимать акваланг.

Бут повел плечами. Его загорелое тело покрывалось гусиной кожей, и, надевая мокрый костюм, он морщился.

— Отвяжи тросик, — сказал Морозов. — Я чуть не умер со страху, когда он зацепился... Скважина с этой стороны. Справа буровой станок. Вот там какая-то арматура. С нее можно работать. Давай-ка сюда! — кивнул он Павловичу.

Павлович помог Буту надеть акваланг.

Морозов шмыгнул носом и улыбнулся:

— Жалко, воду нельзя подогреть.

Ипполитов свесил вниз отбойный молоток и, перебирая руками резиновый шланг, опускал его в ствол.

— Ну, привет! — сказал Бут и перелез через борт.

Вскоре из воды потянулись воздушные пузырьки, и через минуту раздались глухие очереди молотка.

Морозов глядел на мутную вспененную поверхность, догадывался, что делается внизу, и не знал, чем заняться.

Ипполитов стоял рядом с ним, готовый выручить Бута, и вздрагивал от холода. Он был в плавках, в резиновой рубашке, в сапогах на босу ногу и закутан в простыню и телогрейку.

Павлович же, казалось, был спокоен, вниз не глядел, а все рассматривал медсестру.

Глухие очереди отбойного молотка оборвались. Лопались всплывающие пузырьки.

— Ну что он тянет? — крикнул Павлович.

Ипполитов взмахнул своими длинными руками, сбрасывая простыню и ватник, скинул один сапог, но в это время снова раздалась очередь.

Медсестра подняла с пола простыню и опять укутала Ипполитова. Он стоял на одной ноге, поджав другую, и сосредоточенно следил за движениями воды.

— Ой, ну что вы! — засмеялась девушка. — Как не стыдно?

Морозов обернулся — Павлович одной рукой обнял медсестру и привлек к себе.

Она не вырвалась, а, наоборот, даже улыбнулась с лукавством и полудетским, полуженским кокетством. Ее улыбка разрушала первое впечатление чистоты, которое оставляла медсестра, но тотчас же рождала совсем иной интерес.

— Внимание! — скомандовал Морозов.

Павлович отпустил медсестру.

— Какой вы невоспитанный, — сказала она.

Он поднял с пола ватник и перегнулся через борт, словно не было ни окрика Константина, ни медсестры.

Уставший, задыхающийся Бут вылез из колодца и стоял, закрыв глаза, пока его переодевали. Серые струйки стекали с его слипшихся волос и катились по лицу.

— Все хорошо, — с восторгом и содроганием сказал он. — Передохнуть бы...

Ипполитов собрался и нырнул.

После него пошел Павлович.

— Там все в порядке, — вернувшись, сказал он. — Все хорошо, можно наживлять болты.

Но было хорошо не потому, что работа заканчивалась, дело было не в болтах, а в том, что ему улыбались Морозов, Ипполитов, Бут, медсестра и проходчики. И еще потому, что они были рады видеть его, и сверху падал sereneкий свет, и пахло сыростью и железом, и полотенце докрасна растирало грудь...

Они еще много раз уходили под воду. Отшвыривала от фланца бьющая из скважины струя, болели руки, ускользали гайки, — но это тоже было хорошо.

Морозов спросил: «Было страшно?», и они признались: да, было. Только один Павлович сказал: «Не было». И они поверили ему.

— Этот день как рождение ребенка, — добавил Ипполитов.

Пока они вот так беседовали, проходчики светили лампами на воду.

— Кажись, тихо, — сказал один.

— Уровень не повышается, — недоверчиво вымолвил другой.

Подводникам тоже захотелось посмотреть вниз. Они наклонились над бортом и молча, с надеждой, в полной тишине следили за медленным плаванием какой-то белой

щепки в спокойном колодце. Притока воды больше не было.

— Ну что, мужики? — воскликнул Павлович. — Стоит жить, а?!

В ответ проходчики дали сигнал подъема. Бадья вздрогнула, на мгновение кинулась вниз и рывком ушла вверх.

Все кончилось. Работа, риск, случайная попытка возродить клуб — все кончилось. Можно было отремонтировать «Запорожец» и ехать к Вере. Морозов предполагал, что Кулешов уже наладил обед и, не исключено, — оркестр. Константину не хотелось сразу уезжать. Что-то саднило в груди.

На земле, когда они поднялись, серые утренние тучи давно были развеяны ветром, небо стало таким чистым и величественным, как над морем. Ветер не утих. Сдерживало с разъезженной дороги белесую пыль.

Соскучившийся Дятлов кинулся обнимать Морозова, Павловича, Ипполитова и Бута. Он спрашивал, просительно улыбался, кивал головой и не слушал, как ни странно, совсем не слушал, а лишь переводил взгляд с одного лица на другое. У него в руках был расчехленный фотоаппарат, и Павлович сказал:

— Не упускай момент!

Четверо стали в шеренгу, положили перед собой на землю акваланг и, скинув свои шахтерские каски, о чем просил Дятлов, подняли их вверх, улыбаясь хорошими открытыми улыбками. Фотоаппарат щелкнул.

По дороге широким шагом шел Кулешов, а за ним — человек двадцать или двадцать пять управленческого персонала. Кулешов был нацелен своим быстрым размеренным шагом пройти далекий путь. Свита не обгоняла его, а ликующим клином неслась за ним.

Из-за здания вытекла черно-золотая лавина. В ней гремели литавры, били барабаны, пели фанфары, кларнеты, трубы и четыре геликона. Впереди лавины, тоже в черном, с золотым тамбурином, маршировал сухонький седой старичок. Он размахивал своей золоченой палкой с кистями, и глаза его прижмуривались после удара литавр.

Снова щелкнул фотоаппарат, оставив на пленке маленький кадр: четыре улыбающихся человека, белая деревянная дверь, кусок шифера на крыше, эстакада копра, небо.

Этот щелк затвора, счастливое и надутое гордостью

лицо Дятлова заслонили черно-золотую громкую лавину, стремительного Кулешова и ликующих управленцев.

Дятлов вытащил блокнот.

Что ему было ответить? Спустилась бадья, ныряли во тьму, поставили заглушку. Что я испытывал? Страх. Как? Неужели? Ну да, страх. Читателю это не интересно. Правда, это было только в самом начале, даже не страх, а инстинкт самосохранения. А шахтерская взаимовыручка? Да, конечно, желание помочь! Именно так! Наш клуб «Ихтиандр»... Это ты сам напишешь? Хорошо, пусть будет по-твоему. Про «Ихтиандр» можешь написать сам.

Нет, никто не сказал о том, что же произошло сегодня, какой день они прожили. Потому что нельзя было передать бешеный бег сердца, одиночество и холод, гаснувшую волю и то чудо самоотверженности, случившееся позже.

— Об акцентах мы договоримся дома,— важно сказал Дятлов.

Он знал свою роль и имел право на праздник. Дятлов привез сюда подводников, Дятлов! Он брал в блокнот материал, втискивал туда кубометры, тонны, дыхание, холод, план, риск, товарищество и что-то еще живое, неосязаемое, то, что всегда его мучило своей недостижимостью и что он не мог использовать в своих заметках. Он создавал свою постройку, которую следовало установить на надлежащее место. Истина заключалась именно в этом. Истина, которую надо писать с большой буквы: для человека главное дело найти себе надлежащее место. И Дятлов как бы служил при Истине.

Он умело упаковал в блокнот множество информации, оглядел строительный пейзаж с административным зданием из силикатного кирпича и пожал плечами.

Между копром и зданием не было ни души. «Что за бестолковый народ? — подумал Дятлов. — Возмутительно!»

— Эй, товарищи! — сказал он проходчикам, стоявшим у него за спиной вместе с медсестрой. — Сообщите своему начальству: вода перекрыта. Пусть идут сюда.

— А начальство знает, — охотно ответили проходчики.

— Идемте в медпункт, — с энтузиазмом пригласила медсестра. — Надо измерить температуру. Вдруг простудились?

— Пошли, сестричка! — воскликнул Павлович. — Я чувствую, меня привела сюда судьба.

— Надо бы переодеться, — заметил Ипполитов.

— Готовится банкет, — понизив голос, как будто выда-

вая тайну, сообщили проходчики.— Не думайте, что мы вас отпустим. Это было бы по-свински.

— Нет-нет! — махнул рукой Ипполитов.— Глупости. Мы устали, нужно спешить домой.

— Ревнивая жена, голодные дети,— с идиотским выражением ерничества глядя на медсестру, сказал Павлович.

Она засмеялась, поняла, что она ему нравится.

Медсестра с детства воспитывалась на очевидных примерах грубой сумрачной любви и, рано познав простой механизм наслаждения, относилась к мужчинам со смешанным чувством постоянного любопытства, неуважения и какой-то надежды. Она никогда еще не видела раненых шахтеров. Она видела их крепкими, бесцеремонными, упрямыми, неумелыми в любви, неинтересными.

Сегодня, простояв несколько часов в раскачивающейся под мутной водой бадье, она вообразила себя женой одного из приезжих. Она выбрала Павловича.

Прикоснувшись к неизвестной для себя свободной отважной жизни, медсестра не хотела отходить от нее. И некуда было отойти, и не к кому.

Хорошо, что для подводников сделают банкет. Хотя ее наверняка не позовут и она не знает, что бы она делала, если бы позвали, все равно медсестра находилась в приятном беспокойном ожидании.

Между тем все пошли переодеваться и на ходу спорили друг с другом, оставаться или сразу вернуться? Настроение было легкое, даже шальное, словно земная поверхность вдруг стала опьянять.

Павлович взял медсестру под руку и тихо спросил:

— Хочешь, чтобы мы остались?

Она искоса и с усмешкой взглянула на него.

— Молчишь? — спросил он.

— Что мне? Останетесь, не останетесь? — лукаво засмеялась она.

— Ну-ну,— ответил Павлович.— Ты еще совсем зеленая. Живи так сильно, как будто завтра ты умрешь.

— Сами и живите! — Медсестра отвела в сторону горячую ладонь Павловича, задержала ее на отлете и, словно поколебавшись, оттолкнула.

— Что с тобой? — улыбнулся Павлович.— Разве я тебя обидел? — Он снова взял ее под руку, сильно славил, ощущая под грубой тканью куртки нежное тонкое предплечье... Он уловил в девушке какую-то перемену, однако

ему не было дела ни до каких перемен. Она должна была быть ему наградой, он жаждал ее добиться...

Медсестра снова оттолкнула его ладонь. Она остановилась, ее верхняя губа приподнялась и лицо злобно напрыглось.

— Все равно я тебя научу быть счастливой, — весело сказал Павлович. Но она отошла от него. В эти минуты в медсестре, никогда не умевшей уважать в себе женщину, случилось открытие.

Она впервые провожала мужчин на опасное дело, впервые ждала их возвращения и впервые радовалась, увидев их невредимыми. Она хотела защитить чужую жизнь. И в этом, именно в этом, она ощутила неведомую донныне свою ценность. «Я не случайна на земле», — поняла медсестра, и ее сердце, бившееся без любви ровно и сильно, сжалось в тоске по людям. Ее должны были любить! Почему до сих пор ее не полюбили?

И вот тут-то она была оскорблена фамильярным, бесстыдным обращением Павловича, ее оттолкнули, и она гордо отошла прочь.

— Вы куда? — попытался ее остановить Ипполитов. — Вы нам помогли. — Он улыбулся и обнажил свои железные зубы.

Морозов посмотрел на нее. Эта девушка, безропотно растворившаяся в своем материальном существовании, могла быть для кого-то тем же, чем была для него Вера, — могла и, должно быть, не заметила этого. Вера тоже не заметила. И теперь незачем искать виноватых. Есть ли смысл обнаружить виноватым неизвестного бедного человека?

Морозов, не останавливаясь, шел дальше. Ипполитов задержался с медсестрой, — наверное, извинялся за Павловича, но что же он мог сказать? Людям часто не о чем говорить друг с другом, потому что они боятся говорить о жизни серьезно, им просто нечего о ней сказать, и они обмениваются пошлыми фразами, демонстрируя некую функцию общения. Вот сейчас Ипполитову захотелось выразить свою душевность, и он в этом искренен, и слова у него найдутся, но только девчонка не дождетя от него правды. Утешения и извинения нужны одному Ипполитову, чтобы не омрачать чужой обидой своего чувства победителя.

Морозов оглянулся. Ипполитов держал руку на ее плече и что-то сердечно говорил, наклонив седую голову.

Тень бегущего облака промелькнула по глинистой дороге, накрыла пыльные кустики полыни и желтые осенние одуванчики, пробившиеся в последний раз на территории будущей шахты. Морозов улыбнулся: он случайно попал на спасательные работы «Ихтиандра», и у него быстро наступило отрезвление. Он слетал с круга.

Ему осталось завершить прощание и объявить о своей капитуляции с полным объяснением ее причин, чтобы о нем не думали плохо. Это даже не капитуляция, это юность прошла, и перед ним простирался новый океан, по которому надо плыть в одиночку. «Ихтиандр» умер, а океан бессмертен.

Когда-то они вырвались из клетки здравого смысла, отвергли маленькие роли, которые им предлагали в бесконечном спектакле, теперь же надо было вернуться к началу.

И Морозов не стал торопиться уезжать, хотя его машина уже была отремонтирована.

Появился главный инженер Кулешов, по-прежнему мрачный. Сейчас он был уже не в брезентовой куртке, а в обычном клетчатом пиджаке со значком киевского «Динамо» в петличке. Кулешов пожал руки подводникам, сказал четыре раза одно и то же:

— От всего сердца.

Трудно было понять, почему он так замкнут, то ли это была обычная забитость производственника, то ли следствие сегодняшних волнений, то ли экономное расходование эмоций, присущее современному человеку. Кулешов еще сказал про обед и настроился идти прочь. Но Дятлов ловко придержал его, приговаривая: «Два вопроса для наших читателей, очень прошу», и попытка Кулешова отодвинуться от корреспондента ни к чему не привела. Дятлов не отцепился, даже прикрикнул:

— Да что вы пятитесь, ей-богу!

— Слушаю вас, — усмехнулся Кулешов. — Только прошу короче.

— Сколько вам лет?

— Тридцать два. А зачем это?

— Тридцать два, — повторил газетчик и записал в блокноте. — Вы кажетесь старше своих лет... Вы что-нибудь знаете о работе аквалангистов в шахтах?

— Нет, ничего... — Кулешов жестко взглянул на Дятлова, сросшиеся брови пригнулись к переносице. — Вы это не записывайте! За сегодняшнее мне в тресте объявляют



выговор. Я не имел права привлекать непрофессионалов. Уголовная ответственность.

— Э,— сказал Дятлов и почесал свой курносый нос.— Вы же не маленький. Выговор вкатят, зато премируют месячным окладом.

— Это несерьезный разговор,— отмахнулся Кулешов.— Еще будут вопросы?

— Экономический эффект?

— Сто тысяч рублей.

— Вот видите! — ободряюще посмеялся Дятлов, пытаясь взять бездумный тон оптимизма.

Кулешов промолчал.

— Ну не тяни резину! — громко вмешался Павлович.— Жрать охота! Идем, Миша, а то твои столовские черти опять разбегутся,— он крепко хлопнул Кулешова по плечу, и тот ошалело сверкнул глазами от обиды и неожиданности.

Павлович явно валял дурака и хотел, чтобы этот смурной шахтостроитель наконец-то проснулся. Они сделали громадное дело, что же в молчанку играть? Приказ с выговором истлеет в архиве, а восстановленные из ничего, из провала времени, риском «Ихтиандра» и решительностью Кулешова два-три месяца теперь останутся для трудов и славы, и эти месяцы никому не дано отвергнуть. «Смотри! Мы были и мы есть!» — как будто прокричал Павлович. Казалось, его обязаны были услышать тысячи здравомыслящих несамостоятельных умов и смириться перед безграничным энтузиазмом. Кулешов был одним из них, в него ударились стихия Павловича, ударились в облике широко улыбающегося, некрасивого, коренастого человека с приплюснутым носом. Этот человек не боялся вызвать дурное впечатление, не заботился о манерах, он вызывал неприязнь и интерес.

Но Кулешов не вынес панибратства, и неприязнь к Павловичу пересилила любопытство. Он не заметил Павловича.

— Я попрошу об одной вещи,— сказал Кулешов Дятлову.— Не надо писать, что это уникальный случай, что «преодолевая трудности» и прочее в таком роде. Будет пошло.

— Вот как? — Дятлова это задело.— А как же по-вашему писать?

— Не знаю, только человек выдержит все. И опасности, и трудности,— Кулешов вздохнул.— И все остальное.

— А что это, «все остальное»? — пожал плечами Дятлов.

— Ладно, — сказал Кулешов. — Пишите что хотите... Извините, я вынужден срочно уехать. На обеде меня не будет. Давайте попрощаемся... Ваш «Запорожец» починили...

Наконец-то Павлович, Морозов, Бут и Ипполитов остались без посторонних. Было два часа дня. Побеленные окна технической бани смотрели в сторону обшитого шифером копра, откуда доносился шум выливающейся из бадьи воды.

Подводники переоделись и теперь курили. Здесь никто не мешал им поговорить. Дятлова отправили по кабинетам расспрашивать инженеров о производстве. Пусть газетчик был близким клубу человеком, но он никогда не был до конца своим, да и не понимал всего, что происходило у него на глазах.

В первые минуты, когда они остались одни, пожалуй, у троих из них, кроме Павловича, держался смутный осадок от разговора с Кулешовым.

Бут вспомнил одно серьезное собрание, где после теоретических выступлений и ссылок на зарубежный опыт, когда тупая скука охватила участников, вдруг Ипполитов сделал неожиданный доклад о работах «Ихтиандра», и вопрос о превращении клуба в научную лабораторию оказался предрешенным. Однако рохля Ипполитов и загубил дело. Он не устоял перед Павловичем, уступил ему право заключительного выступления, и тот рубанул силеча, без интеллигентских эвфемизмов, что у него не укладывается в голове, как могут уважаемые коллеги докладывать о результатах иностранных исследователей, а где же ваши собственные работы? Самое страшное, что «Ихтиандру» не простилось, — Павлович был прав.

— Ну что, ребята? — спросил Морозов. — Мы сделали прекрасное дело, помогли людям. Не такие мы индивидуалисты, как нам кажется. «Ихтиандра» больше нет, а мы собрались для филантропии. — Он улыбнулся Павловичу, словно забыв о пропагандистской спекуляции или вовсе не зная о ней. Но он, конечно, не мог забыть, и только перед собой он был чист. Он шел в затопленный ствол по своей воле. Он подумал, что сломавшаяся полуось остановила его там, где и нужно было ему остановиться. — «Ихтиандра» больше нет, — сказал Морозов. — Но мы-то остаемся!

Он надеялся, что они его поймут и каждый про себя

откажется от задуманного самоунижения. Раньше им принадлежало целое море с рассветами и ночными огнями, с затопленными кладами, с греческими униремами, римскими галерами, парусниками парходами. Это невозможно было ни на что обменять. Это надо было оставить неприкосновенным.

— Я тебя не понимаю! — возразил Павлович. Он взял Морозова за руку и внимательно поглядел ему в глаза своими маленькими неподвижными глазами. — Ты призываешь бросить наш «Ихтиандр»? А что мы без него? Мы сразу превращаемся в ненормальных. О нас каждый подумает как о придурках: столько лет занимались и ничего не добились? Нет, Костя, поздно сдаваться. Нужно драться до конца. А если тебе надоело, мы тебя вышвырнем вон.

Он отпустил руку Морозова, встал со скамейки и подошел к окну под прорезь солнечного света, пересекающую голубую полосу табачного дыма. Павлович бросил окурочек в форточку.

— Погодите меня вышвыривать, — сказал Морозов. — Раньше мы жили для радости, а теперь стараемся получить работу в НИИ? И всех-то делов?

— Интересную работу, — сухо заметил Бут. — Весь смысл в этом. — Он тоже встал. Его продолговатое строгое лицо было, как всегда, каменным.

Морозов повернулся к Ипполитову, который сидел рядом и смотрел грустно и сосредоточенно.

— Я не идеалист, — сказал он. — Но разве не противно помогать сегодня шахтостроителям только из корысти? Противно же. Мы теряем себя. Если мы так поступаем, то, значит, будем ждать этого и от других. А другие начинают отвечать тем же. Это замкнутый круг.

Ипполитов потупился:

— Мы и так долго продержались. Это только кажется, что ты можешь что-то изменить. Давно пора стать реалистами.

В его голосе слышалось кислое извинение.

— Пора мудреть, Костя, — рассудительно произнес Бут. — С твоим настроением далеко не уедешь.

— Что ж, — сказал Морозов. — Желаю повеселиться.

— Пообедаем вместе, — остановил его Ипполитов.

— Нет, тороплюсь. Да и не хочу.

«Постой! — вспомнил Морозов. — От кого-то я уже слышал, что пора мудреть. От какого-то дурака... Пошло мир устроено, ей-богу!»

И он вышел.

Машина была исправна, посторонние стуки в ходовой части отсутствовали. А Морозов был голодный. У него были мокрые после мытья волосы, небритое лицо. Он чувствовал бессмыслицу своего путешествия, которое уже длилось почти сутки.

Он добрался до городского пятиэтажного центра, увидел вывеску столовой и остановился.

Между домом и дорогой на узкой полосе земли росли желтеющие клены. Их стволы когда-то были побелены, и кое-где в углублениях коры оставался мел. На углу квартала, там, где деревья кончались, стоял газетный киоск.

Морозов достал из сумки электробритву, запер машину и купил газету.

— Разве шел дождь? — спросила его скучающая киоскерша с седыми кошачьими усами.

Морозов поднял голову. В небе летела стая ворон, светило солнце.

— По-моему, скоро пойдет снег, — сказал он.

— Все-таки вы очень странный молодой человек, — без тени улыбки продолжала киоскерша. — Как будто за вами гонится милиция. Гуляете с мокрой головой.

Морозов вложил бритву в газету и пошел в столовую. В зале пахло жаркой печкой, борщом, подгоревшим луком. Блестели зеленые пластмассовые столешницы. Возле касового аппарата, огороженного алюминиевой стенкой, стояли ящики с пивом. За пивом была небольшая очередь, а возле трехъярусной стойки, заставленной тарелками и стаканами, никого не было.

Морозов поглядел в написанное синими чернилами меню. Ему казалось, что он когда-то прежде уже был в этой столовой, слышал эти запахи, читал это жалкое меню: «Сельдь с луком, салат мясной, борщ, суп полевой, хек жареный, бифштекс рубленый, компот, чай, кольцо песочное». Пивная очередь у кассы забрала у него несколько минут. Он подождал. Он чувствовал, как в нем зарождалась способность к долготерпению.

Константин сел за стол и попробовал мясной салат, холодный вареный картофель с кусочками докторской колбасы и майонезом. Эту закуску мог одолеть голодный непритязательный человек.

Остальная еда была примерно такой же, и Морозов все съел. Он лишь отметил, что давно привык к певкусной дешевой пище, что почти всегда ест наспех и никогда не

придает никакого значения еде. Почему же сейчас этот обед его коробил?

Покинув подводников, Морозов впервые ощутил одиночество. Он знал, что лучших друзей ему уже никогда не встретить и не пройти с ними второй юности. Его мечта не исполнилась, годы прошли, и надо было сознаться, что наступил предел, за которым становятся жалкими смешными прожекторами. И, сознавшись себе в этом, Морозов как бы сбросил с души очарование и энтузиазм прежней за-теи, мешавшей явственно видеть жизнь.

Он увидел свой дурной обед.

Это видение было оскорбительным для него, а следовало терпеть. Теперь следовало научиться терпеть просто так, по-житейски, оттого что другого не остается.

За соседним столом пили пиво и разговаривали о женщинах.

Морозов взял газету с электробритвой и пошел в туалет, где побрился перед запыленным зеркалом. Одиночество, сильно ощущаемое им, давало ему какую-то тяжелую эгоистическую уверенность, что он сумеет найти себе применение.

Константин провел сомкнутыми пальцами по щекам, наклонился к зеркалу и подмигнул своему отражению.

Через две минуты Морозов был в машине. Он выехал из города и возле голубого указателя маршрутов, не раздумывая, решительно повернул домой, а не к Старобельску.

## XII

Не будь у Ткаченко детей, он не понял бы и половины того, что понял о себе к сорока годам.

А Лебедеенко был бездетным, жена стала ему изменять и сказала: «Я полюбила другого. Буду думать, что делать».

Бригадир спрятал Ткаченко подальше от врачей медицинской комиссии, тот отработал смену и, поднявшись на гора, попросил товарищей спеть песню.

Сегодня на стадионе должен был быть футбольный матч, многие собрались пойти. До игры оставалось три часа. Договорились не расходиться по домам.

Капал редкий теплый дождь, тепло светило солнце. Высоко летали ласточки. Пахло мокрой пылью, блестело, парило. В последние сентябрьские дни природа дышала хорошо и вольно, она вдруг объявила о себе в промышленном районе...

И Ткаченко попросил спеть. Его твердо очерченное лицо своей чернотой напоминало фотонегатив.

Оконченная работа и будущий праздник футбола объединяли шахтеров азартом, страстью и свободой. Настроение у всех было прекрасное.

Но о чем же петь?

— Тю, чудной! — удивился Кердода, и его скуластое лисье лицо было веселым и лукавым. — Да никто песни толковой не знает!

— Разве не знает? — спросил Ткаченко.

— А теперь балá-балá вместо песни, — ответил Кердода.

— Нет, надо хорошую песню, — сказал Ткаченко. — Я уйду.

Он бодро улыбнулся.

— Куда ты от нас уйдешь? — громко спросил Лебеденко. — Мы с тобой до смерти здесь пробудем! Верно, Саня?

Он обнял Ткаченко. Серые капли дождя текли по его черным щекам, толстые запекшиеся губы держали грубое привычное выражение деловой доброжелательности. В душе Лебеденко был замкнут, там болело свое.

— Я от вас уйду, — повторил Ткаченко. — Я уже место нашел.

— Даже место нашел? — засмеялся Лебеденко. — Во даешь!

Он еще бы много сказал, но Ткаченко его попросил:

— Ты все знаешь. Спойте на прощание.

Лебеденко промолчал. Он не стал утешать. Ткаченко не желал утешений, да и что было в них толку?

Он насупился и запел:

Степь да степь кругом.  
Путь далек лежит.  
Там в степи глухой  
Умирал ямщик.

— Не-не! — перебил Кердода в ту секунду, когда Лебеденко надеялся, что ему подпоют. — Это по пьянке петь!

— Много ты понимаешь, — с досадой сказал бригадир. — Народная песня, понял!

— Все равно только по пьянке поют! — стал дразнить Кердода и, выбежав вперед, повернулся, хлопнул в ладоши, потом хлопнул по коленям и пошел задом наперед, смеясь Лебеденко и пританцовывая.

Где же это видано,  
Где ж это слыхано?  
Чтобы курочка бычка родила,  
Поросеночек яичко снес,  
На высокую полочку взнес!

Кердода размахивал руками, как в лезгинке, потом подбоченился и задрожил ногами на месте, играя плечами. Ремешок самоспасателя сполз с плеча на локтевой изгиб. Кердода стряхнул самоспасатель на землю.

Безрукий клеть обокрал,  
Глухому в окно подавал,  
Безносый табак нюхал,  
Безгубый трубку курил,  
Немой за старостой пошел?  
И-эх!

Он крикнул это «и-эх!» так неистово и лихо, что у него перехватило горло. Он мотнул головой и заперхал.

— Хм! — одобрительно сказал Лебеденко. — Все-таки есть в тебе искра божья, чертов Кердода! Вот только все наперекор лезешь...

— А искусство свободно, — ответил Кердода. — Это тебе не «Жигули».

— При чем тут «Жигули»?

— А при том. Хорошая, видать, машина?

— Брось ты эту машину! — попросил Ткаченко с властью в голосе, которую неожиданно почувствовал в эту минуту. — Давай еще.

— Хорошая машина! — как будто вызывающе сказал Лебеденко. — Вчера за сорок минут был в Жданове. Море теплое. Жалко — цветет.

— Ты раб вещей, Николай Михайлович, — ответил Кердода. — Оттого ты всегда смурной. Это смертельная бактерия двадцатого века.

— Дурак ты, — отмахнулся Лебеденко. — «Двадцатого века»!.. Ты бы лучше так пахал, как языком чешешь.

— А, задело! — вымолвил Кердода. — То-то и оно. — И, поглядев на Ткаченко, кивнул: — Что тебе выдать?

— Ну эту... — задумался Ткаченко, и на его стянутом коркой лице опустились веки и поднялись, открыв сияющие белки.

Лебеденко ждал, что тот захочет печальную, тоскливую песню, и понимал, что надо будет поддержать, угрюмо и дружно рвануть хором что-то похожее на «ты, товарищ мой, не попомни зла», но настроение после того, как он

вспомнил ночь на море, стало поганое. Уж лучше бы не бахвалился.

— Эту...— сказал Ткаченко.— Что дети любят. Помнишь?

— Что дети любят? — переспросил Кердода.— Да какую же?

— Разве не помнишь? Ты моей Машке пел, она смеялась... Ну?

Кердода неуверенно улыбнулся:

— Кажись, припоминаю. Как начинается? «Что задумал наш комарик жениться...»?

— Во-во! — кивнул Ткаченко.— А как дальше?

— «Что задумал наш комарик жениться, что задумал наш комарик муху взять»,— покачивая головой, проговорил Кердода.— Оно?

— Нет, не оно. Забыл ты, забыл...

А Ткаченко не забыл: десять лет назад в воскресенье перед майскими праздниками он пошел с Машкой гулять в парк. Утром было свежо, солнечно и пахло талым снегом. Ночью стукнул небольшой заморозок. На деревьях уже разворачивались листья, но ветки еще оставались голыми, словно чернота зимы и зелень лета не уступали друг другу. Машка в своем красном пальтеце бежала по мосту. Вода в пруду блестела и играла. Чувствовалось, что холодная весна достаивает последние дни и что лето близко. А Ткаченко не терпелось ждать. Он не любил непостоянную промозглую донецкую зиму, с морозами, сырыми оттепелями, сквозняками в шахте. Он спускался под землю в сумерках утра и поднимался наверх в вечерней темноте, и потому все зимы были долгими сумерками... Возле карусели слышалась музыка из репродуктора. Со стороны стадиона, куда вели широкие террасы ступеней, украшенные железобетонными фигурами мужчин и женщин, доносилось быстрое эхо. Но это было не настоящее эхо, а другой репродуктор, установленный где-то в глубине. В холодном ясном воздухе стоял какой-то праздничный гул. Ткаченко было тридцать лет. Машка ждала воскресного праздника, и ему хотелось подарить ей его, чтобы она запомнила надолго. Они катались на карусели, на чертовом колесе и потом ели мороженое. Вот-вот должно было случиться чудо. Но больше в парке не было никаких развлечений. Время подошло к обеду, и девочка заморилась. «Папа, я устала»,— призналась она. «Сейчас, Машка!» — сказал Ткаченко. Она была в румяной испаринке.



Он присел на корточки и расстегнул ее пальто. Ему тоже стало жарко в плаще, спину припекало солнцем. Они разделись, как будто освободились. «Это лето пришло, Машка! — сказал Ткаченко — Мы его первые увидели!» — «Правда, папа?» — засмеялась она. «Конечно, правда. Сейчас мы будем искать ландыши». Но не знал, растут ли в парке ландыши, и, поглядев на прошлогодние листья и робкую траву, сошел с дорожки, взял прутик и стал искать.

Где-то близко заиграла гармошка. Кто-то притопывал ногами, развеселый голос ахал и ухал. За нежной сквозной глубиной кустов покачивались люди. Мелькнул платок в руке пританцовывающей перед гармонистом пожилой женщины в коричневом пальто. Гулянье вышло по дорожке к Ткаченко. У женщины было лукавое хмельное лицо. Ткаченко не любил пьяных, он взял Машку за руку и, глядя на компанию, ждал, чуть улыбаясь.

«Иди к нам, солдатик! — позвала его женщина. — Свадьба у нас».

«Уже лето пришло, а вы не знаете», — сказала ей Машка.

«Ах ты пацанка!» — усмехнулась женщина и приостановилась. Гармонист тихо наигрывал плясовую. И тут она запела для Машки. Все остальные не были нужны, она глядела только на нее, прижав к груди большие, как у мужика, руки. Запела хорошо, совсем не в пример своей танцуйлке. Видно, они уже догуливали, раз вышли на улицу. Ждали-ждали праздника и пошли искать. И не нашли. Наверное, она с облегчением скинула с себя мороку: не нашли так не нашли, чего уж... Увидев Машку на полянке жухлой листвы и услышав ее «лето пришло», женщина могла сквозь зеленый венок хмеля засмотреться в далекую даль своей пожилой жизни. Ткаченко никогда не слышал такой песни. Она была как сегодняшнее утро — и мороз, и весна, и по лету стосковались. Женщина спела, подошла по мягкой земле к Машке, потрепала ее по щеке. Потом ушла со своими, а полы пальто развевались.

«Кто она, папа?» — спросила дочка.

Ткаченко пожал плечами. Мало ли кто? И вдруг догадался, кто был перед ними: «Это зима, Машка. Она приходила с тобой попрощаться».

И она сразу с ним согласилась. Конечно, раз они первые встретили лето, то и зиму должны были проводить! Ткаченко поверил этой сказке. И хорошо было ему ощу-

тить свою причастность к тому, что вокруг солнечно и тепло. А зимы больше не будет...

Ткаченко не забыл того праздничного воскресенья. Но тогда не было Кердоды, которого он заставлял вспоминать. Не было. Это чудилось Ткаченко. Хотел он снова услышать забытую песню и не знал, как достичь ее.

Шахтеры уже подходили к концу своего пути. По-прежнему моросил слепой сияющий дождь и пахло мокрой землей. В лужах отражались белые облака. Возле шахтоуправления под козырьком шиферной крыши стояла садовая скамейка, почти совсем сухая, с мокрой полосой на первом продольном бруске.

— Так и не придумал? — спросил Лебеденко. — Мы ведь пришли.

— Как? — удивился Кердода. — В прямом или переносном смысле?

— Стой, мужики! — приказал Лебеденко. — Я буду командовать. Сейчас поедем ко мне! Проводим Саньку Ткаченко, ясно?

— А потом на футбол, — добавил чей-то голос.

— Эй, футболист, — повернулся на него Лебеденко. — Быстрее сдавай лампу и мыться в баню. Побежишь за водкой. Мы пока покурим. Садись, Санек!

Он взял Ткаченко под руку и потащил к скамейке. Что-то мрачно-решительное, наболевшее рванулось из Лебеденко.

— Гуляем, — тихо и грозно вымолвил он. Закурил, выпустил дым и посмотрел в небо долгим взглядом.

Рядом с ним на скамейке сидел Ткаченко, а другие остановились и ждали.

— Знаешь, как бывает, — сказал Лебеденко, не опуская глаз. — Бывает, что тебе положено жить сто лет, а ты знаешь, что не сегодня-завтра ты свалишься в ствол, и тебе говорят: «Бери побольше, кидай подальше» — и всё, ничего больше не говорят, идиоты. — Он посмотрел прямо на того парня, которого отослал: — Ты, наверное, меня не понял?

Тот улыбнулся уголками рта. Железные застёжки его спецовки тонко звякнули, словно он уже побежал. Но парень стоял неподвижно, весело глядя на бригадира, в котором — было видно — что-то вскипало.

— Ну стой, если тебе хочется, — молвил Лебеденко. — Знаешь, Саня, ты уйдешь, а что из этого последует для всех нас, я не знаю. — Он снял белую испарпанную каску

и костяшками согнутых пальцев пригладил свои жесткие приподнятые горкой волосы.— ...Вдруг я вижу, доска отрывается, гвозди вылезли, блеснули. Их ржа еще не взяла. Только что глядел на нашего старосту Яковлева, морда в прыщах, а вот мне уже что-то светит, это небо над подъемной установкой. Лечу в ствол спиной вниз.

— Бывает,— сказал Кердода.— А как ты объяснишь, когда наперед говорят: «Меня сегодня убьет»? Наука не может объяснить.

— Ты о чем? — спросил Лебеденко.

— Ты ж предчувствовал, что свалишься в ствол!

— Да-а,— туго протянул Лебеденко.— Поглядеть бы, как у тебя мозги крутятся?.. Небось наука не объяснит.— Он снова наклонился к Ткаченко: — Страх — до или после. Верно, Саня? А когда полетел — все.

— Крутятся не хуже твоих,— сказал Кердода.

— А еще, Саня,— будем живы, покуда не помрем! Я тебя чем-нибудь обидел?

Ткаченко улыбнулся.

Лебеденко сжал его твердое предплечье и качнул к себе комбайнера:

— Забудь, если что было.

— Да не было,— сказал Ткаченко.

— Не было?

— Не было.

— Гуляем! — встряхнулся Лебеденко и отпустил его руку.— Едем ко мне.

Снова в голосе прозвучала негромкая странная угроза, направленная кому-то невидимому и враждебному. Это не был голос печали или прощания, каким следовало бы разговаривать с уходящим товарищем. Он напоминал отзвук боевого призыва. Что-то рвалось из Лебеденко наружу, а он трудно сдерживался, зная, что скоро это внутренне ослабевающее давление само найдет выход для себя и освободит его.

Оглядываясь потом назад, на те минуты, когда Лебеденко приглашал бригаду, многие вспоминали, что он как будто предвидел события прощального вечера.

Шахта отпустила людей. Они вышли из бани румяные и влажповолосые, с розово блестящими носами.

Посланный за водкой Хрыков вымылся рапьше всех и стоял с авоськой возле машины Лебеденко. Они чем-то отличались от него, хотя между ними не было пикакой другой разницы, кроме четвертьчасового разрыва време-

ни, тех пятнадцати минут, которые парень провел в магазине, а они — в веселой банной колготне. Но парень уже казался оторванным. Бригада еще принадлежала подземелью, шла по инерции в общей упряжке, не вспоминая дома и семьи, связанная наступившей свободой. А его пробудила уж иная жизнь.

И, взглянув на Хрыкова, Лебеденко догадался, что тот забыл о футболе и гулянке — сейчас отдаст авоську и начнет врать, что у него спешное дело.

— Молодец, Хрыков! — сказал Лебеденко, не замечая протягиваемой авоськи. Он сел в машину и отпер все двери. — Залазь!

Хрыков влез. Лебеденко цапнул его за шею, притянул к себе, преодолевая сопротивление, и почти цапнул его голову, но Хрыков уперся ногой в тоннель карданного вала и распрямился.

— Слабо, Михалыч!

— Ах ты салажонок! — одобрительно пригрозил Лебеденко и по-атамански скомандовал: — А ну, мужики, залазь по одному!

Хрыков мельком через плечо взглянул на возню на заднем сиденье, от которой машина качалась, и на его чуть выпяченных губах появилась малозаметная холодная насмешка.

Сзади сидели трое, у них на коленях, согнувшись, сидели еще трое, а в обе распахнутые двери упорно встискивались двое рослых мужчин, Руцкий и Воробьев.

Лебеденко привстал, навалился боком на спинку и подталкивал Кердоду ближе к Ткаченко, стараясь освободить место для седьмого человека, словно забыл, что автоинспектор задержит его переполненные «Жигули» на первом перекрестке у Южного автовокзала, и именно над этой минутной забывчивостью Лебеденко, что в действительности не могло быть никакой забывчивостью, так как этот человек всегда предвидел угрожающую ему опасность, причем посерьезнее, чем объяснение с ГАИ, над этой-то странной забывчивостью усмехнулся Хрыков.

У Хрыкова был к Лебеденко маленький счет, который бригадир не принял к оплате, понимая, что сообразительный Хрыков догадался записаться в вечернюю школу ради того, чтобы никогда не работать в ночные смены, чтобы клочком проштемпелеванной бумаги, полученной за три посещения школы, заткнуть рот Лебеденко; но Хрыков не мог предусмотреть, что бригадир, вычеркнув его из ноч-

ной, станет приезжать в школу и потом, не объясняя, молча обведет чернилами зачеркнутую прежде фамилию.

— Ладно! — сказал Лебеденко, смиряясь с тем, что не удастся превратить машину в автобус.— Закрывайте! Сейчас за вами вернусь.

И тут Хрыков понял, что бригадир все-таки забыл про автоинспектора, а может быть, даже захотел забыть, втянутый в какие-то другие события, которые надламывали его натуру.

Лебеденко повернул ключ зажигания, и Хрыков не вышел, как собирался сделать.

Машина выехала к открытым воротам, где (несмотря на отходивший с остановки троллейбус, чей путь наверняка должен был пересечься с ее путем), сильно и быстро набрала скорость и вылетела на улицу. Лебеденко взглянул в зеркало назад.

— Саня! — окликнул он.— Помнишь, как мы тумбы спасали?

— Да-а уж,— отозвался Ткаченко.— Черт нас дернул...

— Ц! — цокнул языком Кердода.— Когда свет замигал, я сразу допер, что начало давить.

— И утек,— сказал Лебеденко.— Как ветром сдуло!

— Ничего подобного, я сразу вернулся,— возразил Кердода.— Пробежал метров десять, пока пятки от страха припекало.— Он засмеялся.— Думаешь, есть такие дурни, чтобы под завал голову совать?

— А все-таки вернулся,— слегка удивляясь, вымолвил Лебеденко.— Скажи, Саня, не страшно было?.. Обидно было, то-то и оно, а так я бы первый оттуда смылся!

— Нет, не смылся,— сказал Кердода.— Слишком ты жестокий, чтобы упускать риск и геройство.

Лебеденко снова посмотрел в зеркало, встретился с настороженными глазами Кердоды.

— Нагнись, не видать, что сзади делается,— бросил он.

Кердода наклонился вперед, опустив голову между передних сидений.

Лебеденко покосился на его напряженный затылок с рыжеватой косицей и выступающим из-под ворота сорочки позвонком.

— Саня, чего молчишь? Значит, согласен с ним?

Ткаченко пожал плечами, но бригадир обернулся, от чего на шее собрались крепкие складки, и повторил свой вопрос, ловя его взгляд, направленный прямо на него и как будто застывший в воздухе на полпути. Лебеденко не

мог долго ждать и отвернулся, догадавшись, что его вопрос уже никогда не будет понят. Для Ткаченко эта история с оседающей кровлей больше не могла повториться, и, что бы ему ни говорили, она для него превратилась в легенду, замкнутую в памяти и лишённую будущего, а для Лебеденко она могла повториться в любой день, и снова, в хрусте камня и в черной пыли, ему пришлось бы взвешивать свои шансы.

— На перекрестке все ложиться, — приказал Лебеденко и включил радиоприемник.

«Маяк» о спорте, — послышался дикторский голос. — Сегодня в семи городах состоятся матчи футбольного чемпионата страны среди команд высшей лиги. Лидеры, спортсмены киевского «Динамо», принимают на своем поле ленинградский «Зенит»...»

Машина повернула. В приемнике раскатисто затрещало.

— Тише, — сдавленно произнес Кердода.

Лебеденко прибавил звук.

— «Арарат» тр-р-р ...адской «Зарей», тр-р... «Шахтер» трр... трр-р... ское «Дина...»

— Троллейбусная линия, — объяснил Лебеденко. — Помехи.

— Наши выиграют, — сказал Хрыков и посмотрел на него. — Наши давно не играли так надежно.

— Можно встать? — спросил Кердода.

— Можно, — кивнул Лебеденко.

— Ох, спина затекла...

Вскоре приехали. Они никогда не были в гостях у своего бригадира, даже в праздники он отговаривался: жена не любит гостей (точнее, он говорил не «жена», а именовал ее богатырским именем Редедя).

Ткаченко раза два видел ее, оба раза — на новогоднем вечере на шахте; она была в открытом длинном платье с обнаженными плечами, что сразу бросалось в глаза, так как было самым смелым открытием среди других скромных женских нарядов, но ей простили вольность, признав, что она хороша; она была высокая, статная, а Лебеденко явно любовался своей женой, чего на коллективных вечерах, кажется, не бывало, и тогда все испытывали странную легкую влюбленность в нее... Три последних года Ткаченко ее не встречал и забыл, как она выглядела когда-то. Он знал, что она уже закончила институт, где-то работает и детей у них нет.

Поднимаясь по лестнице рядом с Лебедеико, он чувствовал любопытство и близкую разгадку чужой тайны, дом и вещи сами расскажут историю красивой студентки и бригадира РОЗ. Это занимало больше, чем его прощание, которое только начиналось и даже не вошло в официальный круг, но было пережито им, дав ему спокойную уверенность, что его собственная история никогда не завершится.

— Кто дома? — предусмотрительно спросил Хрыков.

— Никого.

Лебедеико звякнул ключами перед дверью, обитой коричневым дерматином и позолоченной круглыми шляпками гвоздей.

Они вошли. В большом зеркале в литой медной раме, висящем против входа, отразились их фигуры, облаченные в старые сорочки и брюки. Ткаченко поправил свои мягкие, чуть влажные волосы и насупил брови, как будто хотел казаться другим, чем был на самом деле.

Они остановились в коридоре со светло-желтым лакированным паркетом. Кердода, не наклоняясь, скинул туфли и, став без них ниже ростом, вопросительно смотрел на Лебедеико, ожидая, что тот предложит ему обуться.

— Ну, разувайтесь, парни,— по-хозяйски сказал Лебедеико.

Он тоже скинул свои дырчатые сандалеты, остался в бордовых носках и шагнул в глубь коридора, к встроенным шкапам, откуда вытащил груды старых домашних тапочек, в основном женских, большого размера. Сам же натянул зеленые кеды и не стал зашпуровывать.

Ткаченко достались серебристые туфли без задников, но он к ним не прикоснулся, хотя не испытывал ничего похожего на брезгливость. Он отодвинул их к стене и подумал, что на месте Лебедеико не стал бы показывать изношенные тапки жены,— невольно предстала здоровенная бабища пудов шести весом, не имеющая ничего общего с той статной, легко танцующей, слегка растерянной от мужских взглядов...

Лебедеико толкнул дубовую дверь с никелированной ручкой, открылась спальня в обоях нежно-сиреневого цвета, двуспальная кровать, застланная чем-то ярким, блестящие поверхности низких бельевых шкафов, красный абажур, стул с брошенной на спинку просвечивающей женской одеждой; пахло дразнящей пряностью парфюмерии. Лебедеико закрыл дверь, сказав, что заходить сюда

нечего, и у них, не имевших таких спален, осталось изумление.

Хозяин, решительно затворивший дверь у них перед посом, повел дальше, во вторую комнату, где они увидели стилизованный под старину югославский гарнитур, большой оранжевый ковер и цветной телевизор, но это уже не произвело прежнего эффекта.

Лебеденко с улыбкой смотрел на них.

— Богатый дом, — сказал Хрыков. — Где будем, здесь или на кухне?

— Где хотите, — ответил Лебеденко.

— Тогда на кухне! — выскочил Кердода. — Здесь я боюсь — обстановка как у какого-нибудь хомяка, по которому тюрьма плачет.

Лебеденко передернуло.

— Зря ты, — остановил Ткаченко. — Мебель есть мебель, ничего на ней не написано.

Он жил в подобной двухкомнатной квартире, так же из коридора — две двери: одна в комнату девочек, а вторая — к ним с женой; и мебельный гарнитур у него был тоже импортный, доставался по записи и стоил почти две тысячи, да еще полсотни пришлось переплатить. Он видел, что не сравнить его квартиру с этой, где жили двое бездетных людей, — здесь просторно и хорошо, но Ткаченко не захотел бы, наверное, здесь жить. Неизвестно по какой причине, в его голосе послышалась утешающая нота. Он смотрел на Лебеденко, а тот удивленно смотрел на него, понимая, что скрывается за его словами нечто тревожное.

Лебеденко знал цену своему дому и знал, как они будут на него глядеть. Поражены? Кердода сдуру лянул про хомяка, но это, в конце концов, в его духе.

Лебеденко жаждал, чтобы они подтвердили, что он взял за двенадцать лет, прошедших со дня, когда ему выдали синий диплом горного техника, нет, не взял, а вырвал все, что было в его силах. Раньше он не нуждался в их подтверждении. У него были жена, дом и работа, где никто его не мог заменить. Он показывал не просто меблированную квартиру, а часть того, что стало его естественным, собрав в себе длительный труд. И они обязаны были, хотя бы в силу того, что не сумели обладать таким же, а ведь работали не меньше, — обязаны были единодушно признать его усилия необыкновенными.

Именно единодушно! Не раздумывая: да.

Но Лебеденко услышал в интонации одного задумчи-



вый вопрос: да, это я вижу, а дальше что? Более того, взгляд Ткаченко как будто пытался проникнуть туда, куда не следовало ему проникать, и, возможно, уже отметил, что в квартире хозяину негде приютиться.

Лебеденко шагнул вперед, погрузив кеды в длинный оранжевый ворс, похожий на траву. За шкафом у стены стояла раскладушка, невидимая с порога. Нет, Ткаченко не мог о пей знать. Хозяин дома спал на ней.

— Ничего хата, да? — с полуулыбкой спросил он и хлопал себя по затылку. — Вот где она!

Что ж, это была правда. В его словах естественно прозвучала ирония, отдаленно похожая на грубоватую шутку Кердоды и хорошо защищающая от всех оценок. Теперь они не требовались. Полюбовались — и достаточно! Лебеденко передумал: раз в нем видели только бригадира, добытчика, двойника железного Бессмертенко, то не в его силах было заставить смотреть на себя по-другому. И в подземелье, и в нарядной участка, и в кабинете Зимина, и вот дома — на него смотрели одинаково. Мужик-сермяга — вот кем он был!

«Нина! — подумал он. — Черт побери, но как же ты так?!» Лебеденко как будто снова увидел брошенную на стул в спальне ночную сорочку и ошеломляюще ясно вспомнил радостные бесконечные почи, прикосновения, тренет и тихий, смеющийся стон; и так же ясно, как это воспоминание, он почувствовал утрату, она была сильнее, чем ревность.

Были минуты, когда мог убить изменившую любимую, и вчера он ушел из дома, примчался к морю и в сумерках на пустом пляже пересыпал из ладони в ладонь остывающий песок, бессмысленно глядя на мигание маяка с Белосарайской косы. «Я полюбила другого» — это было честное ее признание в предательстве. Она не захотела крутить свою любовь у него за спиной. Пять лет назад она решительно пошла за него замуж, хотя ее родня была шокирована, а теперь так же репительно уходила от него. Мать Лебеденко, умная самостоятельная женщина, работавшая весовщицей на рынке, издавна предсказывала разрушение этого брака, холодной вежливостью сватов открывшего ей ее необразованность и оторвавшего от нее единственного сына. Она не то чтобы не верила в любовь, а разделяла любовь на два вида — на утехи и семейную жизнь. Сама она была несчастлива с мужем как раз оттого, что у них утехами началось и кончилось. Она знала, что невестка,

чьи родители были высокопоставленный инженер и преподавательница университета, не станет Лебеденко хорошей женой, подругой жизни, как говорила она, и ее нельзя было переубедить. «Рано или поздно тебя бросит», — твердила мать и ждала, когда сын услышит. «Меня? — смеялся Лебеденко. — Если бы ты знала, как она меня любит!..» — «Все равно бросит». И погодя снова: «Женись, как ваш Ткаченко. Хоть и с ребенком взял, зато живут счастливо». В то время к ним часто ходили в гости, и мать знала многое о товарищах сына.

Отец Нины был последним в старом роду, не раз названном в «Списке горных инженеров России», изданном в 1911 году в Петербурге. Дед, прадед и прапрадед Нины были штейгерами и управляющими на рудниках бассейна со времени его начального освоения, то есть со второй половины девятнадцатого века, когда после Крымской войны и освобождения крепостных в донецкой степи стали вестись угольные разработки. Их род был старше города, что было, наверное, одной из причин семейной гордости и чувства превосходства. Отец Нины обладал добродушным, уравновешенным характером. А интеллектуальный аристократизм никогда не выражался в прямой форме, словно отец к пятидесяти годам твердо усвоил, что чем проще он разговаривает с людьми, тем короче путь к пониманию. С Лебеденко ему было скучно, как и с большинством подобных людей, чьи интересы развились только в деловой стороне жизни. Его поразило, что муж дочери не умеет распорядиться своим свободным временем и явно томится, слушая музыку, которой его потчевали из семейной фонотеки, и порывается рассказать о нехитрых буднях своей бригады. Отцу, который мог в сорок седьмом году пройти пешком пятнадцать километров в соседний город Макеевку, где приезжий московский пианист Святослав Рихтер давал единственный концерт, было очень трудно приветствовать выбор дочери. Глядя на могучего, крупнолицего, симпатичного парня, он вспоминал многих товарищей своей сиротской юности, тоже сильных и славных, но не поднявшихся выше простой обеспеченности, которую им принесло с трудом полученное образование.

После женитьбы Лебеденко стал ходить с Ниной к ее товарищам, юным студентам и студенткам, которые исподтишка норовили устроить ему какие-нибудь экзамены. Тогда он был среди этих мальчишек единственным зрелым мужчиной, и преимущество сложившейся судьбы

стояло за ним. Одетый в дорогой костюм, белую сорочку с тугим галстуком, тщательно подобранным Ниной, Лебеде́нко ходил расстегнув пиджак и держа руки в карманах, разыгрывая человека из простого народа, какого в нем видели (он плевал на это) ее родные и друзья. На семейных обедах у ее родителей он отвечал, что Нине незачем учиться, что он зарабатывает пять сотен в месяц и обеспечит жену и троих детей, которых намеревался произвести на свет в ближайшие годы. Теща подливала в рюмку — хотела узнать его норму. Он требовал стакан и чокался с тестем полным стаканом: за счастье Нины. «Ну, сынок, а сам-то об институте не думал?» — дружелюбно и строго спрашивал тесть. «Я, батя, туповат, — говорил Лебеде́нко. — Одно слово «институт» на меня тоску наводит». Потом Нина ласково упрекала его: «Какой большой и такой балда! Они думают, что ты серьезно... Мама корвалол пила. Я ей говорю, что ты все это от неловкости, у тебя маленький комплекс неполноценности, но ты сильный и добрый. Люблю тебя!»

То, что она пазвала комплексом неполноценности, стало ощущаться Лебеде́нко гораздо позже, а тогда они не могли спокойно прикоснуться друг к другу, их разговоры не имели конца и обрывались одним и тем же, что, повторяясь, всегда было новым и в чем они проявляли много радостной изобретательности; позднее привычка притупила те праздники и расширила для каждого время и пространство свободной жизни. Лебеде́нко строил дом для Нины, а она для него училась и береглась от беременности, чтобы сохранить веселую молодость, — так они разделили обязанности своей любви, которая горела ровным сильным огнем, не предвещая приближающегося угасания.

— Ничего хата, да? — с полуулыбкой сказал Лебеде́нко и похлопал себя по шее. — Вот где она!

Нет, его ирония лишь маскировала созревшее в мозгу восклицание: «Куда все ушло?!» Как когда-то, очнувшись на дне ствола учебной шахты, он испытал ярчайшее открытие своей неумершей жизни, так теперь Лебеде́нко ощущал нелепость жизни.

И оставаться с этим ощущением было жутко. Это, наверное, была сама смерть.

— Хрыков! — тихо сказал Лебеде́нко. — Пора гулять! И они стали готовиться к гулянью. Он поставил в хо-

лодильник бутылки и вынул оттуда три банки с лососем, яйца, помидоры, масло и пакет с картошкой.

Ткаченко стоял рядом и видел, что холодильник почти пуст.

— Вы тут управляйтесь, а я привезу хлопцев,— сказал Лебеденко.

— А если жена придет? — спросил Кердода.— Выгонит?

— Не придет,— сказал Лебеденко.— Она в космос улетела.

Он кивнул Ткаченко, как бы оставляя дом на него.

Он отсутствовал полчаса. За это время Ткаченко сварил рыбный суп, приготовил салат из помидоров и яичницу. Он искал в шкафу подсолнечное масло для заправки салата и не нашел, убедившись, что на полках так же пусто, как и в холодильнике. Ткаченко вспомнил, что бригадир прежде приносил с собой большие свертки с домашней едой, но теперь его подземные завтраки стали по-холостяцки бедными. «Без детей у них рано или поздно должно было кончиться»,— решил Ткаченко.

В комнате включили телевизор, пришел Кердода и позвал:

— Саш, иди посмотри. Интересно!

— Постой,— сказал Ткаченко.

— Чего?

— Кажется, от него сбежала жена.

— С чего ты взял? — спросил Кердода.— Что он про космос сказал? Идем. Цветной телек — это вещь!..

«А может, действительно все ерунда?» — сказал про себя Ткаченко.

— Легкий ты мужик,— засмеялся он.— Не любишь тяжелых вопросов.

— А кто их любит,— ответил Кердода.— Однако люби не люби, а как подопрет — никуда не денешься.

— Это точно.

— Ты вот идешь жестянщиком на автостанцию...

— Откуда ты знаешь? — спросил Ткаченко, нахмурившись.

— Да про это все знают! — удивился Кердода.— Разве секрет? Подперло тебя, Саша, и ты уж, выходит, себе не хозяин, другие за тебя решили и распорядились.

— Фу ты! — сказал Ткаченко.

Ему сделалось досадно. Он не желал выслушивать болтовню о своей болезни.

— Не фукай,— улыбнулся Кердода.— Я всегда хотел тебе сказать, что я тебя уважаю, раньше — не выходило, а сейчас — говорю. Это одна видимая глупость, что тобой кто-то распоряжается. Никто не распоряжается! Только одни наши дети.

— А что дети? — пожал плечами Ткаченко.

— Распоряжаются нами,— повторил Кердода.

— Конечно, ребенку не откажешь,— согласился Ткаченко.— Ну идем, что там показывают? Мультики?

Он уже раздумал говорить о Лебеденко, потому что это было бы так же бессмысленно, как и беседа про болячки. Но Кердода, сам звавший к телевизору, теперь остановил его и, твердо улыбаясь какой-то необычной улыбкой, положил руки ему на плечи.

Ткаченко попытался отступить, но Кердода не убрал рук.

— Он раб вещей,— сказал Кердода,— а так нельзя. Он говорит — я побежал. Ну побежал. Я точно их головки увидел тогда. Смотрят и зовут, а над головой рушится. Нет, Саша, трое детей — это трое детей. Кто без меня их выкормит?

Может быть, он был искренен, но Ткаченко его почти не понимал и почему-то чувствовал нелепое ожесточение, ведь земля опускалась сперва прямо на него, на комбайн, качая и кося секции крепи, но он прошел и выскользнул из расщелины, не вспомнил о своих детях, и Лебеденко тоже не вспомнил о красивой Нине, а кричал: «Берите у проходчиков лес! Выкладывать костры!», и теперь Кердода как будто винил Лебеденко за его бездетную беду, что делало те прошлые тяжелые минуты маскарадной дешевой.

— Эх! — сказал Ткаченко.— Если б все так было просто, как сейчас... Никому помирать неохота, ни с детьми, ни без... Дети здесь ни при чем.

Легкоумный Кердода разгадывался просто, и не надо было сердиться на его лукавство, как бы он ни мешал докопаться до тайны Лебеденко своим поздним ненужным оправданием. Ибо он весь состоял из суеты оправдания, не вчера и не сегодня стал таким...

Почему Ткаченко становился судьей, он не знал, но вдруг ему открылось, что это желание судить, прежде ощущаемое им только при встречах с жестокосердным Бес-смертенко и самоподавляемое, теперь направляет его ум на житейские противоречия между тем, что подлинно хо-

тели окружавшие его люди, и тем, чем они при этом хотели казаться; и он становился судьей.

Тут он подумал, что ничего о них не знает и что, проотившись, будет домысливать их настоящие жизни. Он представлял вот что: какую физическую нагрузку может вынести каждый из них, кто первым согнетса, а кто выдержит, хоть хрустнут кости; кто из них умен и практичен, кто хитер, кто смел, кто весел, а кто молчун, — но все это было мозаикой без начала и конца, освещенной в какой-то малой части, которая ничего не объясняла в общей картине. Нужен был ключ.

Куда и зачем они шли со своей силой, смелостью, хитростью и упорством?

Ведь шел когда-то Ткаченко (ему тогда было тридцать, ей — двадцать восемь) и чувствовал, что жизнь только-только начинается, и, забыв о своих дочках, родной и приемной, забыв о жене, о том, что некогда он опустился перед ней на колени и просил стать его женой, он шел по мокрому февральскому снегу на свидание и верил в свое счастье. Может быть, он даже не шел, а летел, и не верил, а был счастлив, — так тоже будет правильно, потому что ни первое, ни второе уже нельзя установить достоверно, ибо, завершившись, эта история продолжалась для Ткаченко по новым, отличающимся от обычной жизни законам. И у каждого, наверное, была какая-то особенная история, которая жила в человеке, что бы он ни делал сейчас, с кем бы ни разговаривал, каким бы ни хотел казаться...

Ткаченко ждала любимая женщина, некогда исчезнувшая и превратившаяся в мысленный образ, который нигде не встречал своего подобия, так как нельзя найти то, чего нет.

Иногда Ткаченко как бы выскальзывал из сна реально-го существования, с удивлением глядел вокруг и спрашивал себя, что определило ему именно эту дорогу.

В те минуты юный студент-первокурсник, никогда не узнавший идущих с жизнью потерь, смотрел на своего приемника, с болью узнавая свои переродившиеся, отвердевшие черты. Он был памятью Ткаченко об иной дороге, об иной женщине, пустой и прекрасной, и являл собой горькую тайну несбывшегося. Порой Ткаченко загадывал продолжение жизни студента-первокурсника и девушки, женил их, давал высшее образование и украшал их дом, населяя его веселыми гостями, но одного ему не удавалось

представить — детей в том беззаботном и большом доме, принесенных из роддомовского небытия крошечных уродцев, за которыми следом шли страх смерти, сострадание и очищающее чувство долга перед жизнью. И тогда он обращался к своим настоящим жене и дочерям и любил их тревожнее и острее, словно недавно расставался с ними.

Но однажды после тяжелой рабочей недели и оупляющих сердце домашних бытовых забот, ввергающих ум в беспокойство, тогда, когда зима влачила по городу бесконечную серую слякоть, случай свел Ткаченко с той исчезнувшей женщиной, и он овладел ею в каком-то гостиничном номере, сломил ее слабое сладкое сопротивление и на несколько минут оказался в своей несбывшейся жизни. Ее нерожавшее бодрое тело умело любить, в нем был опыт наслаждений. И тут все кончилось.

Он и она ждали чуда, но испытали лишь то, с чем оба они уже были знакомы. Они расстались с холодной грустью, чтобы никогда больше не встречаться. Ткаченко был внутренне опустошен и постарел сразу на много лет. Больше к нему не являлись студент с девушкой, их не стало, а на их месте появилась саднящая незакрывающаяся ранка. Может быть, она и привела в конце концов к нынешней болезни.

Вот где был ключ ко всему. А без него было невозможно как-либо связать те дни и годы, которые он прожил на работе, в семье и там, далеко от них...

И Ткаченко подавил ожесточение, вызванное запоздалым объяснением Кердоды.

Он спросил себя, куда шел Кердода до того, как очутиться здесь, в квартире Лебеденко, до того, как осуждать Лебеденко за упорное мужество?

Что он знал о нем?

То, что Кердода раньше пел в хоре при Доме культуры и это почему-то раздражало Бессмертенко? То, что Кердоду любили женщины, как любят легких праздничных людей? То, что он был физически слабее других шахтеров, но не всегда это было заметно? Вот и все, больше Ткаченко не знал. Три или четыре года назад какой-то удар ранил Кердоду, стала видна его слабость, и сам он, должно быть, это понял; в нем что-то выгорало.

«Он мне сказал о своих детях,— подумал Ткаченко.— А я сказал, что не в детях дело. Но в чем? Это известно только ему».

Необычная твердая улыбка Кердоды погасла, он не су-

мел сказать того, что хотел, а Ткаченко не сумел понять.

Из глубины квартиры доносилось икающее рычание мультфильмовского волка, который в очередной скучной серии скучно гонялся за зайцем. Три мужских голоса там смеялись.

— Так ему и надо! — с пустыми глазами произнес Кердода. — Я знал, что и ему сюда вгонят гвоздь, — он постукал по груди. — Я не легкий мужик, Саша. Я злой мужик.

— Какой злой? — улыбнулся Ткаченко. — Ты...

— Нет, — перебил Кердода. — Его не жалко. Жалко, что я стал таким... Эх, да что теперь говорить!

В его голосе вырвалось столько горечи и боли, что Ткаченко больше ничего не сказал, хотя он сочувствовал Лебеденко. Он просто посмотрел на Кердоду, на этого маленького слабого человека, в чьей душе вмещалась сломленная сила, и еще раз подумал, что раньше был слеп. Все со временем уходит, и любую силу можно осилить более сильной силой, но нельзя победить даже самого маленького и слабого человека, пока он не признает поражения.

— Зачем ты пришел сюда? — спросил Ткаченко.

— Посмотреть, — ответил Кердода. — Взять да посмотреть!

— А если б он тебя не позвал?

— Ничего, я бы сам пришел и все увидел. Когда-нибудь пришел бы. Он бы меня не выгнал.

— Ты был у Бессмертенко? — догадался Ткаченко.

— Может быть, и был, — неохотно сказал Кердода, и снова его глаза были пусты. — Про то тебе не надо знать.

Ткаченко представил, как молча глядели на Бессмертенко эти немигающие глаза и как в четырехместной больничной палате творилась странная запоздалая месть за какое-то дело, известное только двоим, а возможно, даже одному, ибо вряд ли Бессмертенко помнил свою вину; наверное, старик о чем-нибудь спрашивал, но ответом было молчание, и тогда в нем восстал гнев, он схватился за сердце и лег лицом к стене, поняв, что посетителю пужно посмотреть на его немощь.

— Ты у него был?! — сказал Ткаченко. — Тебе мало его двух инфарктов?

Кердода промолчал. Он действительно ходил в больницу — на террасе одетый в линялый синий грубый халат Бессмертенко сидел в парусиновом шезлонге, глаза были закрыты, голова завалилась к плечу, лицо было желтое и



заросшее седой щетиной; Кердода поднял руку, чтобы разбудить, и пожалел, не разбудил, надо было когда-то раньше, не здесь...

— Что тебе он сделал? — спросил Ткаченко.

— Кто? — уточнил Кердода.

— Оба. Бессмертенко и Лебедеenko.

— Господи, — улыбнулся Кердода, — тебе-то не все равно?

Щелкнул замок, кто-то пришел, и разговор оборвался, застав Ткаченко на полпути между неизвестностью и догадкой.

В прихожей гудел голос Лебедеenko, распределяя старые тапки.

— Мне не все равно, — сказал Ткаченко. — Как раз мне-то и не все равно.

Через минуту кухня была полна народу, стало тесно, шумно и весело, как всегда бывает в мужской компании; полированных красных табуреток не хватило, принесли мягкие стулья, раздвинули стол, поставили на середину миску с салатом и сковородку с яичницей; Ткаченко разлил по тарелкам суп, откупорили водку, подняли стаканчики и в ожидании взглянули на хозяина.

— Ну поехали! — сказал Лебедеenko и выпил двумя глотками, пролив на рубаху несколько капель.

Наверное, от него ждали других слов, поэтому получилась заминка.

— За нашу бригаду, — сказал Ткаченко и, как бы извиняясь за тупость своего тоста, добавил: — Теперь — за вашу бригаду.

Но смысл поправки был утерян под нежный звон стаканчиков и крепкое перхание нескольких обожженных глоток. Закусывали, ели со здоровым, могучим аппетитом; двигались над столом руки с чёрными буграми ногтей, блестели зубы и глазные белки, вздувались красноватые повлажневшие скулы, а Ткаченко сидел с этими людьми последний раз, и было хорошо, что никто не собрался сказать об этом. Последний раз он был на равных, после смены, перед футбольной игрой. Крепкие загорелые парни бегут по зеленому полю земли, — такая яркая картина прошла в его сознании, и он впервые подумал, что любил стадион в часы матча, любил, как будто на девяносто минут игры переставал быть усталым подземным рабочим, а жил той свободной радостной жизнью, для которой он был, наверное, создан. И еще любил потому, что ходил вместе с

этими людьми, потому что безумие победы, поднимающее на ноги в один миг сорок пять тысяч, рождало чувство мужского братства. В те дни, когда должен был играть футбольный матч, Ткаченко, рубя грудь пласта, всегда мысленно определял местоположение стадиона, и зеленое поле земли как будто приближалось к нему.

Он подумал, что теперь он не будет ходить на стадион. Без товарищей ему там будет уже не хорошо, как не может быть человеку хорошо, когда он становится один.

«Нет,— сказал он себе.— Что за чушь! Я буду к ним приходить. Хотя бы раз в месяц. Можно позвонить, договориться, встретиться...»

Ткаченко представил, как он приходит на шахту — и, конечно, все обрадуются; ему захотелось подтвердить их будущую радость примером, он вспомнил своего тезку, слесаря Фастикова, которому лебедочным канатом отсекло три пальца на правой руке, и вспомнил, как тот вначале появлялся в нарядной участка, рассказывал о своей новой работе (он устроился в ЖЭК), по потом стал чужим и приходил только в бухгалтерию за пенсией, хотя никто с ним не ссорился,— он просто уже не был связан с шахтой, а жалости ему не пужно было.

Да, признался Ткаченко, зачем себе врать? Последний раз, как ни хитри, есть последний раз. И надо к этому привыкнуть, надо понять, что если когда-то был первый шаг, то наступит последний, и надо тогда уходить просто, никому не причиняя хлопот.

Ничего лучше нельзя было придумать, думал Ткаченко, уйти без хлопот.

— Наливай по второй,— сказал Лебедепко.

Хрыков сорвал фольгу с горлышка бутылки.

Ткаченко разломил хлеб и, поддев вилкой глазок остывшей яичницы, положил его на хлеб. Суп был съеден. От салата остались белые ребрышки лука на дне тарелки. Закуска кончилась так же быстро, как и в минуты подземных завтраков, когда, сколько бы ни было в «тормозках» колбасы, котлет, вареных яиц и хлеба, все это сразу исчезало; уписывалось и трескалось, как в домне сгорало, и порой казалось, что не хватает самой малости, чтобы обычная еда превратилась во что-то другое, в акт преломления своего хлеба с другом. Серьезность подземных завтраков смутно ощущалась всеми.

А сейчас нараставшее желание праздника наталкивалось на угрюмую сосредоточенность хозяина и исходило

в небольшие разговоры, в баечки Кердоды, как будто искало, кто из людей его выразит первым.

...В году эдак тридцать пятом, когда живо помнились дела вредителей, один ленивый шахтер притащил под землю будильник, чтобы работать по часам, и повесил его на проволоке к деревянной стойке крепления, а в ту пору прибыла на шахту строгая комиссия — искать недостатки, которых всегда хватает, но не нашла ни одного недостатка, потому что услыхала, как стучит механизм адской машинки, и кинулась бегом спасаться. Когда же прилетели огэпэушники и нашли будильник, комиссия оконфузилась и уехала искать на другую шахту...

И второй раз прозвенели хрустальные стаканчики. Уже сладко задымили сигареты, громче зашумели голоса, вспоминали дела на участке, скорое назначение нового начальника, а с дел перескакивали на заработки, ругали Зимины и, забыв Зимины, смотрели на часы: сколько остается до футбола? Хмель веселою своею головою просовывался между мужчинами, но вел себя умеренно. Было похоже, что желанная праздность никак не может превратиться в праздник.

То ли мешал Лебеденко, отдельно сидевший, как атаман, думающий свою грустную думу, то ли было мало вынито...

— А не арестовали того с будильником? — спросил Ткаченко.

— А что? — сказал Кердода, щурясь и улыбаясь. — Потом он живого гуся притащил, а те решили, что черт гочет.

— Ну нескладно соврал! — вымолвил Лебеденко, не подняв глаз.

— Чего ж нескладно? Был такой исторический случай па «Холодной балке», мужик спер гуся и временно прихватил в погреб, не на улице ж оставлять?

Лебеденко на это промолчал, по усмехнулся и взглянул прямо и твердо:

— Ты про всех что-нибудь брешешь, расскажи-ка о Морозове.

— Не могу, — подумав, ответил Кердода. — Морозова, должно быть, в раннем детстве крепко любили. А кого любили, тот на всю жизнь открыто идет, не заставляет любить себя силой.

— Опять нескладно! — сказал Лебеденко. — Ну бог с тобой, на нет и суда нет. — Он распрямился, выгнул вы-

пуклую литую грудь и окинул взглядом застолье.— Слабо гуляем, мужики! Ну-ка!

Достали последнюю бутылку. Лебеденко опустил свою лобастую голову, подумал и начал говорить:

— Загадаю вам загадку. Хочешь быть счастливым один день — напейся. Хочешь быть счастливым один год — влюбись. Хочешь быть счастливым два года — женись... Верно говорю? — Он посмотрел на Кердоду, тот кивнул:

— А на всю жизнь — займей друга.

— Да, верно, — сказал Лебеденко. — Куда ни кинь... Вот такая у меня загадка. Поняли? — И, не дав никому ответить, он поднял стаканчик: — За Саню Ткаченко! За самого лучшего среди нас человека.

Он потянулся через стол чокнуться; Ткаченко сунул навстречу свой стаканчик, глупо улыбнулся, чувствуя стыд своего нового положения, смущаясь дружным участием, сразу обращенным к нему. Хотел того Лебеденко или не хотел, но произошло то, чего не желал Ткаченко, — его стали жалеть. Чокались, обнимали, ободряли... Прошла минута. Ткаченко было неловко. Его внутренняя упорная твердость, служившая ему защитой, стала пропадать, и он по-настоящему расстроился. Он не хотел быть помехой.

Ткаченко встал.

— Я ухожу, — сказал он и ушел в прихожую.

Он посмотрел на старые женские тапочки, стоявшие отдельно от десяти пар мужской обуви, и стал обуваться.

Никто не вышел следом за ним. Он завязал шнурки и положил руку на рычаг замка. «Вот и все, — сказал себе Ткаченко. — Оказывается, это очень просто». Он не открывал двери, знал, сейчас прихожая заполнится людьми и его будут удерживать. Если он выйдет на лестницу, его догонят на лестнице. Но чем крепче его будут удерживать, тем сильнее он будет стремиться уйти...

Ткаченко ошибся: вышел только один Лебеденко и спросил:

— Уходишь?

— Ухожу, Коля. Неохота тоску наводить.

— Дурак! — сказал Лебеденко.

— Спасибо, — усмехнулся Ткаченко.

— Дурак, говорю. На кого решил обижаться? Хотел, чтоб мы делали вид, что знать ничего не знаем? Мы должны тебя проводить. Это не поминки по живому. Если не тебе, так нам это нужно. Нам, Саня. Понял? Мы не на войне, конечно. Но всякое бывает...

Сказав это, Лебеденко не стал дожидаться ответа, взял Ткаченко под локоть и шагнул к кухне.

— Стой,— сказал Ткаченко.— Я не лезу тебе в душу, хотя мог бы. Не лезьте и мне. Есть вещи, которые другим лучше не трогать.

— Ты выше нашего участия, да? — едко спросил Лебеденко.— Значит, мы должны врать себе. Будем петь и смеяться как дети?

— Не знаю, Коля,— сказал Ткаченко.— Только мне в чужом пиру похмелье. Не надо было идти с вами.

— С людьми нам надо сегодня быть,— вздохнул Лебеденко.

«Мы говорили об одном и том же, но на разных языках»,— подумал Ткаченко.

— Эй, Хрыков! — крикнул Лебеденко.

Появился Хрыков, настороженно поглядел на обомл.

— Бери-ка его под руки,— сказал Лебеденко решительно и взял Ткаченко под правую руку.

— Не надо,— сказал тот.

— Ну! — произнес Лебеденко.

Хрыков улыбнулся и осторожно взял Ткаченко под левую руку.

— Окажем полное уважение Александру Ивановичу? — мягко произнес он.

— Вот именно! Пошли!

Они привели легко сопротивляющегося, хмурого Ткаченко к столу и усадили на место хозяина, спиной к окну, подальше от дверей. Лебеденко поставил перед ним его недопитый стакан и приказал:

— А теперь выпей!

Ткаченко выпил водку и терпеливо улыбнулся:

— Ну?

— Что «ну»! — строгим наставительным тоном прогласил Лебеденко.— Будешь сидеть, а мы будем оказывать тебе уважение. Давай, Кердода, начинай!

Он выставил в коридор два стула, чуть передвинул стол и показал на освободившийся возле умывальника и стены угол.

— Кердода может! — с деланным неудовольствием протянул Кердода.— А вот рюмочку Кердоде поднести — никто не догадается...

Он зажмурился, нос сморщился, верхняя губа задраглась, оголив крупные зубы; отклоняясь телом назад, Кердода начал:

Скачет галка  
По ельничку,  
Бьет хвостом  
По березничку.

Остановившись, он стал клониться вперед, с лица исчезло выражение неудовольствия, лукаво блеснули глазные щелки.

Наехали на галку  
Разбойнички,  
Сняли они с галки  
Синь кафтан.

А теперь повел жалостливо:

Не в чем галочке  
По городу гулять.

И вдруг, усмехнувшись, закончил:

Плачет галка,  
Да негде взять.

Тут же Кердода встал, вышел на свободное место и, тыча пальцем в Лебеденко, отбарабанил задиристую частушку:

Как у нашего Николя  
голова из трех частей:  
карбюратор, генератор  
и коробка скоростей!

Он сыграл своими узкими плечами и зло махнул рукой:

— Не, что-то не то...

В нем поднималась мстительная волна. Она еще скрывалась за привычным барьером шутовства, и, наверное, только один Ткаченко увидел тяжелое кипение его старой обиды.

— Брось, самое то! — сказал Лебеденко.

— Ладно, — кивнул Кердода. — Не тебе говорить. Поднеси-ка рюмочку.

— Будет сделано, — улыбнулся Лебеденко.

Выпив, Кердода подышал, погладил себя по животу и подмигнул:

— Теперь другое дело!

Он в одно мгновение поменялся ролями с Лебеденко. Минуту назад он не мог приказывать ему ни в шутку, ни всерьез, Лебеденко стоял выше всех, Кердода — ниже

всех, но сейчас это постоянное соотношение силы и слабости перестало что-либо означать.

Лебеденко желал забыться в веселье и увлечь за собой Ткаченко; Кердода хотел посмеяться над ним, — и оба не могли обойтись друг без друга.

Ткаченко пытался вспомнить, что между ними произошло, и, вспоминая их мелкие стычки и перебранки из-за работы, чувствовал, что не в них дело. Причина лежала где-то за чертой шахты, в той неосвещенной темной части мозаики, которую никогда нельзя было увидеть.

Кердода стал прохаживаться вдоль стены, притопывал ногами и негромко приговаривал:

— Годи, казаченьки, горе горевать!..

Скажет, притопнет и ступит два шага. Потом снова скажет, притопнет другой ногой и шагнет в обратную сторону. Сначала он говорил тихо и двигался медленно, затем — погромче и побыстрее, взмахивая руками и ударяя в ладони. Это не походило ни на танец, ни на песню, хотя движения и подчинялись однообразному ритму. В убыстряющемся повторении было что-то простое, но сильное, как в бое военного барабана.

— Годи, казаченьки, горе горевать!

Это было дикое запорожское заклинание, сколь безыскусное, столь и могучее. Оно незаметно овладевало людьми, хотелось прихлопнуть ладонью по столу, топнуть ногой и воскликнуть вслед за Кердодой эти летящие слова: «Годи, казаченьки, горе горевать!»

И вот хлопнули, притопнули. Задребезжала посуда. Лебеденко кивнул Хрыкову. Тот выбросил в коридор стулья и табуретки, стол притиснули в угол за холодильник; уже все стояли, один только Ткаченко сидел у окна перед оживающим гуляньем.

Кердода загадочно поднял людей.

Глядя на горячее, обезображенное напряжением его лицо, Ткаченко показалось, что он вспомнил.

Кердода часто дышал, волосы прилипли ко лбу, открыв высокие залысины. В его лице была непоколебимая сила. Он не уступал слабости усталого тела, он одолевал ее с каждым шагом, и в углах глаз собрались веселые лучи, в углах рта — твердые складки.

За ним простирались годы подземной жизни, привычка к опасности и телесной несвободе; за ним стояли несбывшиеся надежды хорошей утренней поры, которую он уже прожил. Впереди лежало будущее время, холод-

ное и однообразное, как зимнее поле в пасмурный день. Но нерастраченная энергия билась в крови Кердоды, иная, просторная жизнь, которую никогда уже нельзя было пройти, врывается в слова заговора:

— Годи, казаченьки, горе горевать!

И Ткаченко ясно вспомнил, как лет пять назад Кердода собрался ехать за границу, на фестиваль в Австрию, куда впервые ехал его народный хор. Наверное, он тогда чувствовал, что если поедет, то его судьба переменится, потому боялся многих случайностей и даже боялся вспотеть в шахте, чтобы не простыть на сквозняке. Его нерасторопность, должно быть, задела бригадира Лебедеенко, тот не смог ничего поделаться и воодушевить Кердоду на трудовой героизм. Они попросту не поняли друг друга, приводя неотразимые доводы в свою пользу. Конечно, Лебедеенко ничего не стоило посмотреть сквозь пальцы, и попроси его Кердода по-человечески, он поехал бы в эту Австрию без всяких разговоров. Но он не просил. Ему в голову не пришло, что надо просить. Он только удивлялся и возмущался, почему Лебедеенко не хочет его понять. Он сам наперед решил, что нужно делать, и ему не требовалось одобрение бригадира. Они поругались. «Ты трутень», — по-видимому, так сказал Лебедеенко. «А ты кулак!» — ответил Кердода. Потом вмешался Бессмертенко, и Кердода вместо заграничной визы получил выговор. А хор пел в Австрии очень хорошо и, вернувшись, превратился в профессиональный ансамбль. Попытно, что Кердода в его состав не попал. С тех пор он перестал петь.

Все это было в действительности примерно так, как вспомнил Ткаченко, только не было мстительной озлобленности Кердоды, она появилась незаметно, как седина в волосах, и было трудно связывать ее с какой-то одной причиной.

Но Ткаченко понял, что вспомнившаяся история как-то объясняет Кердоду. Он нашел ключ, его версия была правдивой. И у Ткаченко родилось чувство завершенности. Он постиг повесть чужой жизни, воссоздал ее из случайных обрывков, и теперь она принадлежала ему.

И он заканчивал эту повесть не злом, не местью, а торжествующей и несломленной человеческой силой. Кердода стал во главе праздника, мог ли он сейчас отплатить Лебедеенко?

Нет, решил Ткаченко, уже нет, праздник не покорил-



ся озлобленности, но когда-нибудь потом... кто знает, что будет потом...

Решив так, он встал, притопнул ногой, и его голос слился с другими голосами.

Сейчас они поднялись в высокую даль, откуда стало ясно видно, что от человека уходит безвозвратно, а что остается с ним навсегда...

### ХIII

Тимохин никогда не думал, что Бессмертенко может заболеть. Начальник участка казался вечным. Тимохин его боялся, как дети боятся темноты. Это было болезнью.

Он попал к Бессмертенко сразу после института и в первый месяц, пока не согнулся, позволил себе раскрыть свой скромный студенческий запал — возражал против бесконечных ДПД, дней повышенной добычи, приходившихся на воскресенье. На глазах шахтеров Бессмертенко бросил ему:

— Ты живешь как альтруист!

— А что такое альтруист? — ядовито спросил Тимохин, надеясь, что Бессмертенко не ответит правильно.

Бессмертенко усмехнулся, верхняя широкая губа изломанно поднялась, нос сморщился у переносицы. Он беззлобно сказал:

— Дерьма в тебе много, вот что это такое!

Семижильный, грубый, некультурный, самоотверженный Бессмертенко быстро согнул Тимохина. Он особо не старался, получилось как бы само собой. Раз за разом у Тимохина все реже появлялась воля возражать, он отмалчивался, а отмалчиваясь, стыдился своего малодушия. Со временем стыд притупился, но боязнь не прошла, а даже стала болезненной.

Тимохин от рождения был терпеливым. В раннем детстве, после войны, он был страшно испуган, когда трое деревенских мальчишек, играясь с противотанковой гранатой, были разорваны на куски. Маленького Тимохина они отогнали на несколько метров, поэтому он уцелел. Взрывная волна контузила его. Он был покрыт кровавой грязью и теплыми внутренностями погибших мальчишек.

С тех пор у него до пятнадцатилетнего возраста случались провалы в памяти; взрослые его жалели, но ровесники с ним не церемонились — отбирали шапку, дразнили, доводили до слез. Он был тугодум, тратил на уро-

ки по многу часов, но терпение в нем выработалось. После пятнадцати лет Тимохин выздоровел совсем. Летом он стал работать на жатве помощником комбайнера. Его первый шаг из детства в обычную жизнь был мучителен в физическом отношении. Ему пришлось просыпаться на рассвете в тяжелом оцепении. Целый день до темной ночи, исключая короткие завтрак и обед на кромке поля у лесополосы и быстрые перегоны комбайна с одного поля на другое, он работал при машине. Тимохин очищал мотавила от намотов мышинного горошка или вики, вел комбайн на прямых участках, ремонтировал, когда требовалось бить кувалдой, ловил заправщик и делал ту подсобную простую работу, на которую был способен. Днем от поля поднималась туча пыли, и ночью при свете фар пыль казалась туманом, в ней летало множество мошек. Непрерывный рев, грохот барабанов, шнеков, соломотряса сопровождал Тимохина всю жатву.

Он возвращался домой к первому часу ночи, и из последних сил умывшись, ложился во дворе под навесом, и его не было до рассвета. В него въелось столько полевой пыли, что на подушке был серый круг посредине. Менять постель не было смысла.

Вся уборочная шла бестолково — в дождях, в поломках машин, в нехватке запасных частей, в наездах проверяющих. Тимохину казалось, что он навсегда останется в этом замкнутом движении. Столько человеческих мучений, терпеливости и силы прошло перед его глазами, столько раз он просил бегущие дождевые тучи уйти с неба и столько раз последние ночные минуты, когда скашивали последний ряд колосьев и поле становилось пусто, опьяняли Тимохина, что, когда он очнулся после уборочной, он уже не отступил в свое убогое, калеченное детство. Он хотел равенства среди сверстников, стал драться с ними, и его били. В конце концов его вызвали на педсовет, где умело и твердо довели до слез и заставили просить прощения неизвестно у кого и за что. Он просил прощения, сломленный угрозой исключения из школы и обрадованный тем, что не будет исключен. Те, кто назывался учителями, были удовлетворены, увидев в нем не озлобленность, а слезливую радость.

Потом он поступил в политехнический институт на горный факультет, куда никто не хотел идти из-за будущих трудностей. Абитуриенты рвались к электричеству, электронике, автоматике, им грезились научные учрежде-

ния и быстрая защита диссертаций. Горький хлеб промышленности оставался на долю приезжих, плохо подготовленных провинциалов, в число которых попадал и Тимохин. Зато их приняли всех до единого, а затем пополнили группы неудачниками с других факультетов.

Тимохин поселился в студенческом общежитии, где жило несколько тысяч человек. Он растворился среди них, свободных, покинувших родные дома, голодных и еще осененных надеждами.

Терпение выручало его и в учебе, и в бедности. Он часто навещал свою тетку. Иногда там приглашали к обеду, а если не приглашали и тетка кормила только мужа и дочь, то Тимохин, не обнаруживая голодной обиды, высиживал в кресле за книгой час-другой, пока тетка, смешавшись от раздражения и стыда, не кормила его какой-нибудь кашей и бутербродами. Так он прочитал несколько десятков хороших книг, которые расширили его запас слов.

С ним разговаривала теткина дочь. Она была старше десятью годами и видела в двоюродном брате бессмысленное диковатое существо, глухой побег родового древа.

Она пережила три любовных романа, сама оставила своих женихов и имела, надо сказать, скептический крепкий ум. Сначала ей не думалось, что брата можно образовать, но, поскольку он бывал в доме постоянно и сидел именно в ее комнате, она расспрашивала его о деревенской жизни и об учебе и прямо говорила ему, что он некультурец, необразован, что у него нет никакой личной цели, что у него всегда грязные ногти и тому подобное. Потом она стала подбирать Тимохину книги, завела обязательный список чтения.

За пять лет ей кое-что удалось. Однажды сестра сказала, что Тимохин научился говорить сложноподчиненными предложениями и, значит, превратился в интеллигента.

Он чувствовал, что она втайне презирает его, но любил ее за то, что она была свободной и не отталкивала от себя.

В институте Тимохин страстно желал жениться. Он рано начал лысеть и стеснялся. Но женщины у него были. Самой первой оказалась вокзальная шлюха, которую привели соседи по комнате. «Я у тебя первая?» — спросила та девушка. Он не запомнил ни ее лица, ни ее голоса, однако врезалась ее грустная женская интонация. И тогда

он вообразил, что надо жениться, как это воображают школьники старших классов, студенты и солдаты. Ему казалось, что кто-то его грустно и нежно зовет. В отличие от всех Тимохин не мог найти себе невесты.

Привычка терпеть и ждать не оставила его. Он говорил себе, что выучится, начнет зарабатывать хорошие деньги, потом получит квартиру и тогда легко женится.

Его житейский план, размышлял он, не мог не осуществиться. Такие планы почти всегда зависят только от времени.

И со временем у Тимохина все появилось. Но к той поре, когда это произошло, он вытерпел от Бессмертенко столько, что жил не то чтобы согнуто, а уже лежал ничком. И конечно, те, кто мог любовью покорить Тимохина, оставляли его, едва появив его уныние и скуку.

И вдруг Бессмертенко вечером увезла «скорая». Тимохин приходил на шахту в тоске, оттого что боялся встретить вернувшегося начальника, но страшилище не возвращался.

Тимохин стал исполнять обязанности начальника участка. Пока ждал Бессмертенко, он тянул лямку. А когда узнал, что старик не вернется, взвалил работу на Морозова. На него нашла вспышка судорожной безответственной смелости, пружина запертого самолюбия распрямилась и вытолкнула Тимохина на новый круг жизни.

Первой это почувствовала женщина, его недавняя знакомая Ирина. Дитя смешанного русско-осетинского брака, она была хороша собой, упряма и непрактична. Тимохину повезло в том, что он прежде никогда не встречался с ней. И теперь он сам и она стали двумя загадками, которые он сгоряча кинулся разгадывать.

Тимохин был бережлив, но в припадке свободы с радостью тратился на Ирину, покупал без разбору цветы, билеты на приезжих гастролеров, югославский пеньюар, художественные альбомы, электрический фен, кофейную мельницу и т. д.

Тимохин был робок и не завоевывал женщин; те немногие, кто отдавался ему, делали это из жалости или в поисках разнообразия. Но он смог сказать Ирине: «Я хочу, чтобы сегодня ты осталась у меня», и она покори-лась.

Он открылся щедрым, уверенным в себе и опытным человеком, таким, каким хотела видеть его Ирина. Он не знал, надолго ли пришло к нему счастье жить без стра-

ха, и не признавался, что все-таки боится, не в силах был признаться.

А боялся он Зимина, одного-единственного человека, от которого зависело, быть ли Тимохину независимым хозяином или снова согнуться под чужой тяжелой рукой.

«Что Зимин может у меня отнять? — спрашивал себя Тимохин. — Что? Ирину? Здоровье? Квартиру? Жизнь, в конце концов?! Он же ничего не может со мной сделать, если я сам не поддамся. Ну не назначит — разве я от этого умру?»

И вдруг начальником участка назначили Морозова, младшего по возрасту и по должности.

Тимохин был обречен оставшуюся жизнь провести в униженном приложении к бывшей своей свободе. Отчаяние и обида увлекали на какие-то решительные поступки. Он рванулся к Зимину, чтобы потребовать объяснений. Привычка подавлять свои чувства была отброшена. В пустом кабинете один на один с растерявшимся Зиминим Тимохин увидел и понял, что тот боится скандала.

— У тебя нет ни одного друга, — сказал Тимохин. — Если ты попадешь в беду, за тебя никто не заступится.

Зимин уговаривал его успокоиться, «нам еще работать и работать, еще все сто раз переменится...».

Но Тимохин видел — боится!

И ничего же он не мог Зимину сделать, ни снять, ни лечить, ни даже предупредить... Но у Зимина в блудливых улыбающихся глазах таился страх.

Тимохин ушел удовлетворенный. Никто с ним ничего не сделает, если он не боится! Все. Теперь он не боялся и Зимина. Можно было жить.

#### XIV

Наутро Морозов приехал на шахту. Он остановил «Запорожец» в обычном месте, перед глухой кирпичной стеной рядом с зелеными «Жигулями» Грекова, и пошел по асфальтовой дорожке, оглядываясь на выход из шахтного двора, и видел полный людей троллейбус и то, как быстро и несуетливо люди выходят и идут к воротам. Это была утренняя смена, и Морозов хотел увидеть своих. Что-то неизвестное тревожило его.

Вчера вечером он позвонил Зимину и сказал, что случайно участвовал в подводных работах и поэтому его

дальнейший отпуск теперь не имеет смысла. Вряд ли Зимин понял связь между теми работами и добровольным прекращением отдыха, Морозов сам до конца еще не понял своего решения и только знал, что он поступил так из-за своего дурного настроения. И если бы начальнику шахты вошло в голову что-либо здесь уточнить, он бы застал Констанца врасплох. Впрочем, Зимин был занят собственными бедами и, приказав ему быть с утра, напомнил об обещании Морозова не участвовать в рискованном балагане, тем более что он, Зимин, свое обещание уже выполнил, подписал приказ о назначении Морозова начальником второго участка, так что пора мудреть, уважаемый Костя (или Константин Петрович, как вам больше нравится?), безусловно, тебя заставит помудреть должность, а все же ты и сам поспеши без подсказки и битья...

Морозов уловил в словах начальника шахты не слишком сильно скрытую и грозную мысль, что отныне он гораздо меньше, чем прежде, будет принадлежать себе. Однако если не себе, спросил себя вчера Морозов, то кому же?

Он проснулся с тревожным ощущением. Его не беспокоило новое назначение, хотя сперва он решил, что дело именно в нем. Нет, назначение было ни при чем: повой работы нечего было бояться. А тогда — что? То, что он оставил «Ихтиандр»? Нет, клуб больше никому не нужен. Стыд перед старыми друзьями? Едва ли. Им не в чем Константина упрекнуть. Но Вера? Людмила? Вот где он безнадежно и непоправимо виноват. Здесь нет ни тревоги, ни неизвестности, ни будущего. Морозов даже не знает, как назвать эту боль и пустоту!

Когда он поставил машину к стене, когда шел вдоль зеленого подстриженного газона, подпирающего короткой стержней полуживые листья, принесенные ветром с пирамидальных тополей, и когда оглядывался на шахтеров первой смены, он все время чувствовал, что вчерашний день был для него больше, чем день, неделя или год, что этот день был и великим, и жалким, но это не важно, а важно, что Морозову казалось, что главное вчера происходило здесь и без него. Всего лишь на один день он выбился из упряжки, и тяжелый производственный поезд, от которого он как будто бы отстал, снова оглушал Константина своим неостановимым ходом. Но радости от назначения — не было.

Морозов ощущал себя частью этого железного человеческого поезда, и ощущал, может быть, даже больше, чем был в действительности.

— Константин Петрович! — окликнули его.

Горный мастер Митеня стремился к нему бегущим шагом и тряс над головой пакетом с едой.

Следом за Митеней неторопливо шел бригадир Лебеденко, неся в левой руке такой же прозрачный пластмассовый пакет.

Видно, оба секунду назад шли вместе, пока Митеня не углядел Морозова. Митеня рванул вперед, а бригадир притормозил.

Митеня подлетел к нему и, еще ничего не сказав, своей радостной преданной улыбкой сообщил, что рад видеть Морозова и поздравляет. Горный мастер обычно в представлении Морозова и был горным мастером, заезженным, невыспавшимся и замордованным, как молодой специалист. И дело было не в одеждах, спецовке или чистой рубашке, не в слипающихся глазах, а в том образе, который назывался Митеня. Сейчас горный мастер был свеж; воротник его желтой рубашки открывал длинную мускулистую шею и крепкие ключицы, на одной из которых, слева, нежно темнел продолговатый синяк. И Морозов понял, что его образ Митени лжив, как служебная фотография в сравнении с живым человеком. Но от этого понимания мало могло измениться, а вернее — не сразу и не скоро.

— Константин Петрович! — воскликнул Митеня. — Вот чудеса! — Он склонил голову к одному плечу, потом к другому и весело играл глазами, вызывая своим последующим молчанием трогательное недоумение.

— Какие чудеса? — улыбнулся Морозов, но его улыбка вышла механической. Он не был готов к радости, вызванной непосредственной человеческой симпатией.

— Как? Разве вы еще не знаете? — спросил Митеня. — Нас ждут большие перемены!

— А ну тебя, — отмахнулся Морозов.

Подошел Лебеденко, пожал руку и укоризненно сказал:

— Не ожидал, Константин Петрович! Хоть бы намекнул для приличия... А то я с ним спорю, а он на тебе!.. Ну с повышением вас.

Морозов кивнул. Казалось, Лебеденко вот-вот скажет еще что-то, чтобы закончить шуткой. Без нее его слова не

походили ни на поздравление, ни на какую-либо другую доброжелательность.

Они смотрели друг на друга. Этот широколобый, с низко опущенными пушистыми бровями и могучего сложения человек смотрел безрадостно.

Его фигура — в мешковатом свитере, узких брюках и сандалетах — была чем-то схожа с бетонными скульптурами послевоенных лет. Вот только она выражала что-то более сложное, чем скульптура, а непоколебимость была именно такая.

— С вас магарыч, — вымолвил Лебеденко свою шутку. — С такого заработка можно всю шахту угостить.

И он пошел, не ожидая ответа, большой, непоколебимый, с пакетом в руке.

— Переживает, — сказал Митеня. — Видно, вчера с женой полаялся.

— Предположим, с женой, — согласился Морозов.

Он подумал, что сейчас променял бы дружбу двух Мигень на просто хорошие отношения с Лебеденко. Что Мигеня? Отовсюду на него сыплются неожиданные удары, и никому нет дела до его беззащитности. А Лебеденко в гой солидной силе, что без крайпей нужды не следует с ним задираться.

Один — слаб, второй — силен; один привязался к Морозову, а второй оскорблен морозовским повышением. Самому же Морозову некогда дружить с Митеней и никак нельзя доводить отношения с Лебеденко до враждебности.

И, подумав так, Копстаптип обнял Митеню и пошел с ним рядом, расспрашивая о вчерашнем дне и вообще о подробностях личной жизни. Качаем уголек пормально, отвечал горный мастер, а личная жизнь как личная жизнь, уснул только на рассвете, но это мелочи, а главное — не дайте нас в обиду...

Морозов его понимал: значит, уже появилось кое у кого мнение, что новый начальник станет погонялкой в руках Зимина. (Подробности любви, бессонная ночь — это было пропущено мимо ушей.)

И еще Морозов понимал, что, по всей вероятности, он губит себя. Почему у него не было радости?

Начиналось жестокое соревнование. Пока еще не было ни единого удара, пока стало просто некогда выйти на шаг в сторону из узкого длинного прохода, идущего к



серому просторному горизонту, и следовало лишь ускорять шаги.

Через несколько минут Морозов проводил наряд, и ему недосуг было размышлять об отвлеченных предметах. Он встретил первых противников, которые вместе были сильнее его одного. Перед самым нарядом он сказал себе, что должен вытерпеть любые проделки Тимохина и Лебедеенко, не то вспыхнет открытый огонь вражды и тогда вмешательство Зимины надолго свяжет руки Морозову.

Он сидел на хозяйском месте, возле сейфа, где прежде располагался Бессмертенко, а потом Тимохин. Сейчас Тимохин передвинулся за приставной стол с правой стороны, с левой же был Лебедеенко. Митеня сидел на стуле возле стены рядом с остальными шахтерами.

Повел наряд Тимохин и дал задание. Перед Морозовым лежал чертеж-синька второго участка. Он слушал заместителя и смотрел на синьку. Своим обычным маловыразительным голосом Тимохин перечислил привычные операции: пробурить шпур, зарядить взрывчатку, приготовить нишу для комбайна и так далее,— все шло по будничному накату.

Морозов оторвался от чертежной синьки, стал смотреть на Тимохина. Тот выглядел плохо. Под глазами собралась помятая мертвая кожа, а глаза были старые.

«Еще четыре года — и я буду таким! — подумал Морозов. — Но как он сразу сдал».

Он поискал взглядом Ткаченко. Наклонившись к Лебедеенко, Морозов шепотом спросил:

— Где комбайнер?

Лебедеенко промолчал: или не расслышал, или не захотел отвечать.

«Спокойно! — сказал про себя Морозов. — Пусть они меня даже не замечают... Мне нельзя мелочиться».

Он дождался, когда Тимохин закончил, и постучал по столешнице. Тимохин взглянул на него, но Морозов решил сам вести разговор.

— Николай Михайлович, есть вопросы по наряду? — спросил он.

— Все ясно, чего там, — вымолвил бригадир, отодвинул стул и привстал.

— Сядьте! — сказал Морозов.

Лебедеенко усмехнулся и снова сел.

— Виктор Федорович, — обратился Морозов к Тимо-

хипу,— насколько я понял, вы сегодня планируете первой смене невыполнение плана?

Он заметно повторял Зимица, обращаясь резко-официально, словно совсем не было коротких приятельских отпошений, словно безликая нейтральность могла осветить ему ту неизвестную темноту, куда предстояло идти.

— Да, некоторое недовыполнение будет,— ответил Тимохин своим каким-то голым голосом. Однако слово «недовыполнение» уже было окрашено упорством, оно спорило с морозовским «невыполнением». — Вчера было точно так же,— продолжал Тимохин.— Если бы ты был в курсе дела, ты бы не спрашивал.

Хотел ли он или не хотел, но Морозов понял, что на виду у всех Тимохин отказывает ему в праве распорядиться сегодняшними событиями. А этого нельзя было спускать. Следовало осадить заместителя, заткнуть ему рот, чтобы Лебеденко и остальным, кто пожелает мешать Морозову, это утро врезалось в память.

«А что же было вчера?» — мелькнуло у Константина.

Но его уже несло. И вместо того чтобы узнать прошлую обстановку, вместо того чтобы зажечь себе дополнительный свет, Морозов выпалил:

— Черт возьми, меня не касается, что здесь было вчера и позавчера! Прежде всего план! Он должен быть каждый день, каждую смену, каждый час. Все, что напрямую не затрагивает план, рассматриваем в последнюю очередь.

— Но ты выслушай меня,— попросил Тимохин.

— Я еще раз повторяю — план должен быть! — отрезал Морозов.

— Константин, я требую, чтобы меня выслушали! — твердо повторил Тимохин.— Здесь собрались не мальчишки...

— Ну говори,— кивнул Морозов.

— Вчера начат ремонт на откаточном штреке. Надо использовать эту возможность, чтобы полностью привести в порядок откатку. В наших же интересах! Не тяп-ляп, на живую питку, а надо провести солидный ремонт...

— Понял,— кивнул Морозов.— Короче.

— Мы даем ремонтникам время.

— За счет плановой добычи?! — воскликнул Морозов.

По-видимому, он разгадал их остроумную уловку.

— Временно добыча поизвится,— согласился Тимохин,— зато потом...

— А что думает бригадир? — перебил Морозов.

— Поддерживаю Виктора Федоровича, — хмуро сказал Лебеденко. — Надо смотреть правде в глаза. Может, кому-то не терпится отрапортоваться, только мне надоело по-дурному работать. Пора до ума дойти.

Морозов еще больше укрепился в догадке, что ему навязывают скользкий путь. Объединенные неприязнью к выскочке, а они непременно должны считать Морозова выскочкой, Тимохин и Лебеденко отважно решились на затяжной ремонт. Однако прежде, когда Тимохин был за начальника, он не обнаруживал такой хозяйской склонности, — наоборот, гнал участок, зажмурившись и не обременяясь дальновидностью. Лебеденко, хотя был толковее, тоже не вмешивался в чужие заботы.

Выходило, что Морозов угадал верно: их перемена была нацелена против него.

— Разумное решение, — одобрил Морозов. — Прости, Виктор Федорович. Я погорячился... Нужно нам толковее ставить дело и не ломать план по-дурному. А как думают люди?

Он взглянул на шахтеров, занятых внимательным изучением своих руководителей. Во время наряда они переговаривались и слушали Тимохина вполуха, будто говорило радио. Как только Морозов возразил Тимохину, они пасторожились. Новый начальник, которого знали подсобником у Бессмертепко, не крикуном и мало что решающим человеком, стал для них загадкой. Если бы сейчас Морозов говорил о чем-то постороннем, о ремонте «Запорожца» или своем завтраке, они слушали бы все равно.

Но отвечать ему никто не собирался. Он еще был непонятен и не сказал свое окончательное решение.

— С погреба виднее, — заметил Кердода, который ничего не боялся. Он сидел в конце, у дверей. Крепкая фигура Лебеденко заслоняла его от Морозова, оставалась видна верхняя часть головы, веселые глаза и выгоревшие редкие волосы.

— С погреба, конечно, виднее! — согласился Морозов. — А если без шуток?

Эти двое ездовых бесконечной гонки вдруг стали тормозить на полном ходу.

У Морозова было два варианта: либо согласиться с ними, либо употребить силу своей новой власти. Соглашаясь, он ухудшал свое нынешнее положение, забирался в долги перед будущим, по поступал по-хозяйски дальновидно.

видно. Применяя власть, чтобы подстегнуть своевольных помощников, он охранял свою репутацию и ничего не изменял в общем течении дел.

Третьего варианта не существовало, а эти оба были связаны с материальными или нравственными потерями.

И тогда он принял промежуточное, компромиссное решение — вести ремонт без остановки участка. Морозов без ясного плана, робко пошел на перемены, не подозревая, что повторяет чужой метод латания дыр.

Его решение подействовало на шахтеров угнетающе. «Я превращаюсь в Тимохина», — подумал он.

В той напряженной обстановке, которую создали трудные горно-геологические условия, снабженческие неувязки и слабохарактерность Зимины, люди ждали обновления. Казалось, оно неизбежно должно случиться... Но вот не случилось.

\* \* \*

Для Морозова началась новая пора жизни. Любая перемена в любом человеке ощущается им с того мгновения, когда он сталкивается с окружающими людьми, которые привыкли видеть его по-старому и потому всегда готовы оспорить новое. Перескочив через одну ступень служебной лестницы, Морозов механически ворвался в круг руководства и неизбежно должен был столкнуться с ним. Он чувствовал себя равным Аверьянцеву, Грекову, Богдановскому и другим. Он знал и умел не меньше их, но в этом круге для него была только одна роль — самого младшего. В действительности ни о каком равенстве речи не шло.

На второй день после возвращения Морозова Зимин позвонил в нарядную и позвал его к себе в кабинет. Морозов только что выехал на-гора, чтобы дать задание шахтерам второй смены и затем вместе с ними спуститься в подземелье. Дела были неважные: в угольном пласте прорезалась прослойка аллеврита и почти треть порожняка грузилась породой. За это явление природы отвечать приходилось Морозову, но ничего, кроме своего второго спуска в забой, он не мог придумать.

Голос Зимины был весел и даже ласков. Наверное, начальник шахты сейчас откинулся в своем вращающемся кресле и, чуть-чуть вращаясь, что он всегда делал, находясь в хорошем настроении, улыбался в сторону селекторного микрофона.

Морозов предполагал, что в первые дни Зимин будет стараться обходиться с ним по-человечески, чтобы, как

следует из теории управления, поощрить новичка. Думая так, он был близок и к житейской правде. Зимин успел насолить всем начальникам участков, даже любимому Грекову, и теперь, чтобы внести раскол в ряды оппозиции, хотел расположить к себе Морозова.

Теория и житейская правда случайно совпали, но Константин едва ли мог избежать ошибок.

И он сразу ошибся, сказав о прослойке алеврита. В душе он надеялся, что отныне достиг реальной самостоятельности и Зимин будет ему доверять. Надежда была сильнее здравого смысла, который должен был его взосторожить.

— Да, не повезло тебе, — сказал Зимин. — Смотри, возле тебя Греков и Аверьянцев. Они спуску не дадут. Надо постараться! Читал сегодняшнюю газету?

— Нет. Когда бы я успел?

— Ну зайди, — в голосе Зимина послышалось нетерпение.

Морозов, ожидавший участия или хотя бы понимания, увидел, что его подстегнули, как лошадь.

Он опустил трубку. Вошел Тимохин, он был во второй смене.

— Привет.

— Здоров.

«А при чем газета?» — подумал Морозов.

От Тимохина веяло спокойствием. Он был в летнем светло-сером костюме и в темных очках.

— Ты похож на итальянского мафиози, — пришло в голову Морозову. — Куда-то вечером идешь?

— Иду в одно место, — кивнул Тимохин. — Здесь все в порядке?

«Ах, ну конечно! — вспомнил Константин. — Сегодня напечатали статью Дятлова...»

— В каком там порядке! — бросил он. — Рубим породу. Прослойка.

Тимохин снова кивнул, точно посочувствовал.

Они поглядели друг на друга, и Морозов пошел к начальнику шахты.

Действительно, в газете был большой репортаж «В шахте с аквалангом». О Морозове там говорилось немного и довольно сдержанно, что тот «способный, судя по всему, организатор, недавно принявший руководство добычным

участком». Но даже эта скороговорка с неопределенным «судя по всему» вызвала зависть Зимина. Прочитав репортаж до последней строчки, он не запомнил никаких других фамилий «необыкновенных людей, подводников», а только уловил суть дела и то, что в этом горячем уникальном деле участвовал его подчиненный. Зависть родилась как будто в виде запоздалого беспокойства из-за случившегося риска. «Я ему доверил участок, а он ведет себя как мальчишка» — вот была первая мысль Зимина.

Он пососал леденец, вспомнил свои мечты о славе, и вдруг невольно мелькнуло: «Молодец!» Мальчишка шел к цели, не сворачивая. Разве не молодец? Газета ясно писала, что за такое дело можно представить к правительственной награде.

Зимин прижал клавишу переговорного устройства.

— Газету читал? — спросил он Халдеева.

— А что? — ответил Кивало.

— Загляни на минутку.

Халдеев вошел, очки блестели, и лицо казалось непроницаемым.

«Бойтся нагоняя», — насмешливо отметил начальник шахты.

— Вызывали, Сергей Максимович? — приостанавливаясь и наклоняя лобастую голову, спросил Халдеев.

— Да, вызывал, — сказал Зимин. — Что за манера спрашивать об очевидных вещах?

Кивало молчал, глядя прямо в глаза.

Зимин подождал и стал говорить дальше, не оставив язвительного тона:

— Помнится, ты возражал, когда я хотел назначить Морозова? На вот, почитай!

Халдеев сел к приставному столу и положил перед собой газету. Он читал медленно и настороженно.

— М-да, — произнес он, закончив. — Интересно...

— Что интересного? — спросил Зимин.

— Да все, — Халдеев сделал рукой округлый жест. — Но зачем это им нужно?

И Зимину сделалось невыносимо скучно. Не зная, для чего он вызвал главного инженера, и испытывая внутреннюю неосознанную потребность укрепить свое чувство одобрения и избавиться от зависти к Морозову, Зимин вдруг столкнулся с пустотой. Халдеев был лишь оболочкой, скрывающей пустоту какого-то универсального обще-

го приема. Наверное, поэтому он не ходил в гости и говорил только о совершенно безликих предметах — о производстве, о своем умении готовить вареники, о спортивных телепередачах. Но всегда он был удобен.

Зимин, не встретив даже проблеска живого чувства, понял, что ждал от Халдеева неисполнимого чуда. Тому было бы легче претерпеть физическую нагрузку, отработать целые сутки в шахте или высидеть многочасовое совещание, чем самостоятельно шагнуть на незнакомую дорогу. И, поняв это, Зимин заговорил общепринятым языком.

— А как думаешь, что скажут по поводу статьи в тресте? — спросил он, не называя ни фамилии Морозова, ни его связи с шахтой, ибо такие тонкости Халдеев улавливал мгновенно.

— Ничего особенного, — уверенно вымолвил главный инженер. — Могут даже не заметить. Вот если бы критиковали, тогда другое дело. А так — ну вроде детектив. Прочитал и забыл.

— Угу, — с досадой промычал Зимин.

— Нет, ничего страшного, — успокоил Халдеев. — Ну разве Рымкевич пошутит по этому поводу. Мол, детские забавы...

— Эх, бюрократ, бюрократ! — воскликнул Зимин. — Люди подвиг совершили, а ты думаешь, как бы из этого чего-нибудь не вышло!.. Подготовь приказ. Объявить Морозову благодарность.

Мысль о благодарности проскочила ни с того ни с сего, словно назло Кивале. И Зимин сразу увидел, насколько он благороднее и выше Халдеева. Ему стало приятно.

— Мы минусуем, — осторожно сказал Халдеев. — Нас неправильно поймут.

— Кто же?

— Ну хотя бы старые начальники участков, Греков и Аверьянцев. Не успели парня назначить, а уже балуем.

Зимин не понял, почему ему хотелось услышать возражения, но он их ждал, и они появились. Как человек практический, полагающийся только на опыт и интуицию, он не обладал определенным нравственным чувством, чтобы без постороннего вмешательства искренне оценить статью о Морозове. Зависть смешалась с одобрением. Ни пользы, ни вреда Зимин не предвидел.

Но он не уважал Халдеева. Заглянув в него, словно в зеркало, Зимин брезгливо отвернулся. Все прояснилось.

— Пусть твой Греков и Аверьянцев не суют нос в мои дела! — весело и холодно сказал он. — Так и объясни... А тебе пора становиться политиком. За эту благодарность он мне горы сроет.

Халдеев кивнул и первый раз улыбнулся. Понял.

«Да, издам приказ», — окончательно решил Зимин, найдя применение и опору своему шаткому нравственному чувству.

...Зимин говорил с главным бухгалтером Жилкиным, когда телефонный звонок прервал беседу в самом страстном месте. Седой, розово-упругий шестидесятилетний Жилкин упрямо отказывался давать деньги одному больному шахтеру. Зимин просил, хвалил Жилкина и сулил представить к награде «Шахтерской славой». Но бухгалтер не поддавался и только повторял, что не имеет права, все понимает, потому что душа у него есть, однако денег не даст.

Тут-то возникла невидимая крашенная красotka из приемной Рымкевича и вежливо-злым голоском сообщила, что сию минуту с Зиминим будет говорить Валентин Алексеевич Рымкевич.

Зимин был вынужден отложить ловлю Жилкина.

— Ну и щука же ты! — покачал он головой. — Алле! Слушаю. Здравствуйте...

Рымкевич говорил негромко, в обычной манере властных людей, знающих, что их обязаны слушать. Опытный аппаратный работник Кивало ошибся: в тресте статью заметили.

— Да, тот самый Морозов, — отвечал Зимин, пытаясь предугадать настроение старика.

— Ну а что ты сам думаешь? — спросил Рымкевич с усмешкой, словно догадывался, как трудно будет ответить на этот прямой вопрос.

Зимин становился тем, кем был только что Халдеев. Он был уверен, что Рымкевич любой ответ, если захочет, обернет против него же.

Жилкин благообразно глядел на Зими́на робким виноватым взглядом, что выражало одновременно и мудрость и стойкость.

— Мне кажется, Валентин Алексеевич, вы в молодости были таким же рискованным парнем, — сыграв простодушие, сказал Зимин. — А такие люди всегда по душе. С ними можно идти на все. — Он на миг замолчал. Подумал, что его слова искренни, по на всякий случай доба-



вил: — Конечно, в зрелом возрасте приходят более глубокие интересы.

«Нет, я большой политик! — проиронизировал Зимин про себя.— Ни одной свежей мысли, зато и ни одной ошибки».

— Как план, Сережа?— заботливо вымолвил Рымкевич.

— Будет, Валентин Алексеевич. Стараемся.

— Старайтесь. Я верю, что у вас скоро пойдет на лад.

Зимин вдохнул воздуху, чтобы попросить помощи. Он выпрямился, неестественно долго улыбаясь и чуть-чуть кивая головой. Но паузы все не было и не было. А перебивать начальство неловко.

— А знаешь, я хочу с ним потолковать,— сказал Рымкевич.— Приезжай-ка с ним вечером.

Зимин перевел дух.

Жилкин тоже засветился, как будто компенсировал свою неуступчивость. «Нет, ангел мой,— улыбнулся ему Зимин.— Я здесь хозяин!»

Приглашение Рымкевича было полоской рассвета в темной беззвездной ночи. Оно обещало многое, не обещая ничего конкретного, малого, что составляет тревогу жизни.

— Да, приедем. Конечно, приедем! — сказал Зимин.

Он еще не представлял масштабов выгоды и удобства, которые сулило внимание Рымкевича, и не думал ни о сверхлимитной поставке материалов, ни об уменьшении плана, потому что об этом было преждевременно думать, но вместе с тем у него не было другой меры, кроме удобства и выгоды.

Рымкевич простился до вечера. Телефон утих.

Зимин встал, уперся ладонями в край стола и дурашливо прокукарекал Жилкину:

— Хе-хе-хе! Рымкевич звонил, понял? А ты тут тяготину развел. Выдай ему деньги под мою ответственность!

— Но Сергей Макс...

— Вы-дай! — не слушая, приказал Зимин.

— ...имович, тогда напишите...

— Вы-дай!

— ...распоряжение, что ли.

— Тебя надо уволить,— покачал головой Зимин и написал распоряжение.— Вот! Чтоб сегодня же Ткаченко было выплачено. До свидания.

Жилкин кротко опустил глаза на бумагу с зиминским росчерком, беспардонно взял ее и спрятал в карман, после чего ушел.

«Хе-хе-хе! — подумал Зимин. — Мы еще в обойме».

\* \* \*

Морозов никогда не разговаривал с Рымкевичем, видел его только один раз, лысого, загорелого, сухого, похожего на жесткокрылого бронзового жука.

Лет десять назад Константин думал, что Рымкевич никуда от него не уйдет. Время для мести тогда было бесконечным. Он воображал себе, как скажет ему: «Я сын Морозова. Я хочу сказать вам, что вы подлец!» — и все, больше ничего не сделает, лишь посмотрит, как исказится от страха его лицо; и до самого последнего своего дня Рымкевич будет помнить, что в городе рядом с ним живет сын Петра Григорьевича Морозова.

Закончив институт, Константин столкнулся с Рымкевичем в коридоре треста. Управляющий шел вместе с двумя мужчинами, они смотрели на него и что-то говорили, а он на них не смотрел. Казалось, он гипнотизировал своим превосходством. И Морозов растерялся, ощутил ничтожность своего положения. Он увидел себя: на подбородке прыщики, дешевая рубашка, мешковатые джинсы. Он испугался унижения, которое уже было почти неизбежным. Управляющий поравнялся с ним. У него были тяжелые складчатые веки и блестящая голая голова.

— Валентин Алексеевич! — окликнул Морозов. Он знал, что проиграет. Он был глупый юнец, но в нем вспыхнула упрямая гордость.

Голова Рымкевича повернулась.

Морозов шагнул вперед, однако ему в грудь уперлась крепкая рука одного из спутников Рымкевича.

— Некогда, молодой человек! Приемный день в четверг.

Пока мужчина это говорил, холодно глядя перед собой, Рымкевич уже прошел несколько шагов. Все было точно так, как предвидел Константин. Можно было крикнуть в спину или догнать, оттолкнуть чужие руки, но он стоял будто громом пораженный. И потом, раздумывая над этой встречей, Морозов горько понял, что с его слабостью было бесполезно прорываться к управляющему: тот не услышал бы его.

А вот теперь Зимин передавал Морозову приглашение Рымкевича!

Морозов ничего не ответил Зимину. Он взял газету и стал читать статью.

Черный копер, обшитый белым шифером... Железный стук акваланга о ржавое мокрое днище бадьи... Мутный вспененный бурун, скрывший Павловича... Страх, отвращение к себе, усилие воли...

Морозов вспомнил весь тот день, начавшийся с поломки полуоси и кончившийся возвращением домой. Статья была правдива и одновременно лжива, в ней точно описывались славная история «Ихтиандра» и работа в затопленном стволе, но ее выводы были бессовестным враньем. Морозов знал, что работы велись не бескорыстно, ради идеи, как про то написал Дятлов. Он знал, что статья будет именно такой, а не другой, но, прочитав ее, был оскорблен. Они отняли у него то, с чем были связаны его лучшие годы. До нынешнего дня у него еще жила маленькая надежда, что они не преступят память о той чистой свободной жизни, которая у них была и которую нельзя было втискивать в малогабаритный объем выгоды и удобства.

И вот ее не осталось. Конец «Ихтиандра» был закреплен.

Морозов поднял глаза, и Зимин сказал:

— Я объявляю тебе благодарность в приказе.

Константин пожал плечами. Это была насмешка, он проиграл, зачем ему пустая благодарность?

— Я не хочу благодарности.

Вот как вышло. Он проиграл, отец проиграл, а Рымкевич уцелел и выжил. Но Константин не чувствовал себя побежденным, наоборот — все они, уцелевшие, выжившие и выигравшие, никогда теперь не могли победить. У них внутри сидела червоточина, она убивала дух. Не было в мире такого дела, такого достижения, ради которого можно было идти по этому сумеречному пути, никогда не было и не будет. Те, кто соблазнился им, пусть их сотни или тысячи, предали человека в себе.

— Позволь мне решать, как руководить,— возразил Зимин, широко улыбаясь одной из своих симпатичных улыбок.— Твоя скромность здесь неуместна. Надо сделать так, чтобы как можно больше узнали о вашем подвиге. Сейчас привыкли думать только о собственном благополучии, а вот мы им покажем настоящие ценности.

То, что Зимин употреблял слово «мы», заставило Морозова едва заметно усмехнуться.

«Как они стараются обмануть себя! — подумал он. — Как им хочется говорить о настоящих ценностях...»

Зимин заметил его усмешку.

— Я серьезно говорю, не скромничай, — сказал он. — Мне со стороны видно больше, чем тебе. Вот и старик тебя зовет. Работа с людьми — это прежде всего политика. Тут надо все тонкости учитывать... В общем, поздравляю тебя. Иди домой, соберись. К пяти жду здесь.

Зимин крутнул кресло, повернулся к окну. Морозов по-прежнему остался сидеть.

— Ах, да! — сказал Зимин. — Чуть не забыл! У тебя есть один больной. Его берут в автосервис жестящиком. Я ему достал путевку в санаторий и выписал пятьсот рублей.

Было видно, что ему приятно это говорить. В его лице появился блеск невидимого света, и Морозов ощутил, что сейчас Зимин не фальшивил: по-видимому, среди пустоты его души еще попадались невыгоревшие прослойки естественной доброты.

— Спасибо, — сказал Морозов. — Ткаченко заслуживает больших почестей. Он хороший мужик. Когда мы будем его провожать, надо это сделать по-человечески.

— Само собой! — с удовольствием вымолвил Зимин. — Вот теперь ты становишься настоящим руководителем. Не скупись на добро.

Морозов пропустил мимо ушей эту обычную зиминскую демагогию. Сейчас он откажется от поездки к Римкевичу. Ему нечего говорить старику. Но об этом следует сказать в последнюю очередь, перед самым уходом, а прежде нужно поговорить о работе участка.

И он поговорил об этом.

Добро привязывает к человеку: Зимин почувствовал себя хорошо из-за участия в судьбе больного и почти не спорил с Морозовым, когда тот потребовал себе еще ремонтников. Он согласился. Он испытывал странную симпатию к этому новому начальнику участка, которого недавно считал пустым гордецом. Трудно было сказать, от чего она возникла.

Зимин посмотрел на Морозова, заметил узкий голубоватый шрам на виске, который видел и прежде, но не замечал, и еще увидел темные подглазья, бледный, несмотря на загар, лоб и легкую сетку морщин.

Перед Зиминым был взрослый мужчина. Он не походил на двадцатитрехлетнего молодого специалиста, каким запомнил его Зимин. Да и запомнил ли? Мало ли юных лиц мелькало? Они были похожи одно на другое.

И вот из ничего, из безвестности и многолюдья этот человек пробился наверх. Пусть он шел ненормальным путем, пусть его увлечение подводными домами было нерасчетливой тратой сил, но ведь он достиг своего. Морозов — победитель. А победитель — это не просто удача, не просто везение, это разрешение великой тайны жизни.

Может быть, сейчас Зимин только слегка завидовал Константину. Их разделяла десятилетняя разница в возрасте. Если перебросить Морозова на десять лет вперед, то неизвестно, какую высоту он возьмет. Кто знает, дойдет ли он до начальника шахты? Наверное, дойдет и на ней не остановится. Он переиграет простодушный случай без особой ловкости, но с тяжелым упорством.

Через десять лет он обгонит Зимина.

Такого человека нельзя любить, но как с ним не считаться?

Морозова следовало поставить в свою команду, дать ему малую свободу и незаметно управлять.

«Интересно,— продолжал рассуждать Зимин,— какое отношение он имеет к Рымкевичу? Тут что-то есть. Статья — только повод для встречи. Ведь и раньше печатали какие-то статьи. Может, он не читал? Допустим. Почему же он приказал назначить Морозова вместо Тимохина? Значит, что-то связывает их. Определенно что-то есть!»

Однако как бы ни благополучно выстраивалась карьера Морозова, как бы ни намекали обстоятельства на его противостояние Зимину, Зимин все же завидовал ему лишь отчасти. Прежняя зависть исчезла вместе с уходом Халдеева...

Заглянув в чужое будущее, он прежде всего должен был оценить и свое собственное. Нельзя сказать, что у него не было шансов. Нет, пока еще были. И не малые. Они копились десять лет, складываясь из богатых и пустых месяцев, миллионов отмерших мозговых клеток, полезных визитов в трест и комбинат, деловых попок, необходимых связей,— из чего они только не сложились, эти немалые шансы. Даже в обычный тарифный отпуск Зимин шел неохотно, опасаясь, что за двадцать четыре дня его могут забыть, обойти или подсесть, черт возьми.

Он вспомнил свою жену, и ему стало стыдно и больно. «Куда ты лезешь, малыш?» — мог крикнуть он Морозову. Зимин промолчал. Он сказал бы это другу. Вероятно, сказал бы, не побоялся открыться... Но друга не было. Кругом либо подчиненные, либо начальники, — одни зависели от него, от других зависел он. Было множество приятелей, сотня или полторы. Казалось, у всех давно наступило время легкого приятельства, а время дружбы миновало.

Нет, Зимин промолчал. Каждый выбирает свой путь сам. Каждый получает то, чего хотел. И теряет то, что потом не возвращается.

Ах, вот почему он испытывал к этому новому начальнику участка странную симпатию! Он сам был когда-то таким же молодым тщеславным героем, ведь был, правда, был...

Но что толку сожалеть о неиспользованных возможностях, если течение жизни — это бесконечные потери. Надо вырывать свою маленькую победу, иначе все окончательно потеряет смысл.

И Зимин повторил, что вечером они едут к Рымкевичу, от этого зависит твоя карьера, Константин Петрович. Впрочем, о карьере можно было бы и не говорить. Морозов и без этого все понимает.

— Нет, Сергей Максимович, не поеду, — сказал Морозов. — Я должен идти со второй сменой. Не могу.

— Ну, даешь! — изумленно воскликнул Зимин.

— Не могу, — повторил Морозов.

Он почувствовал радость нравственного поступка. Он отрекался от желания мстить. Оно было сродни чувству страха, и, освободившись от него, Константин испытал то, что испытывают, глядя в ночное море, — мгновение вечности.

Он прощал, идя наперекор застарелой огромной силе, которая прочно владела им, как закон, и которая отступила перед жаждой иного, нового закона.

Если бы этим решением заканчивалось все старое, то как просто можно было бы стартовать на чистом новом пути!

Но ничего не заканчивалось и ничего не начиналось. Мечь и прощение, безусловная подчиненность начальнику и личная свобода, порыв честолюбия и надежда сохранить душу чистой — все это, как и десятки других взаимоисключающих противоречий, командовало на этом старте, где в

воздухе реял транспарант: «Выигрывает сильнейший, а не лучший».

Поэтому, чтобы действительно отказаться от поездки к Рымкевичу, требовалось совершенно освободиться от зависимости. А как он мог? Разве трудно было предположить, что Зимин способен взять назад обещание помочь участку? Или блокировать все распоряжения Константина? Нет, Морозов вполне допускал такой поворот.

Чтобы не поддаваться искушению, он встал, с сильным пристуком подавая стул к столу, и хотел уйти.

— Меня ждут. Вторая смена, наверное, в сборе.

— Ничего,— лукаво сказал Зимин.— Не беги, не беги...

— Да я не бегу! — возразил Морозов и напряженно улыбнулся.

— Ну вот и не беги,— Зимин тоже встал.

«Какой он маленький», — неожиданно отметил Морозов короткий рост Зимина.

Именно сейчас Константину показалось, что начальник шахты недолюбливает всех, кто выше его хоть на два сантиметра.

А Зимин, глядя на Константина, думал: «Пора ему понять, что он играет в моей команде, а не я — в его. Он хочет пойти к Рымкевичу один. Это против всяких правил!»

Однако, несмотря на столь неприличную уловку Морозова, Зимин оставался спокойным. У него было несколько вариантов ответного хода, и простых сильнодействующих, как, например, угроза, и тонких дипломатичных, как откровенность.

— Я хочу дать тебе совет,— сказал Зимин.— В твоём возрасте юнец становится мужиком, добивается первых побед. А я знаю, что такое первая победа! Это чистейший спирт. Тебе кажется, что ты трезвый, но ты хуже пьяного. Ты пренебрегаешь мелочами, ты презираешь неудачников и с вызовом смотришь на своих начальников. Когда я получил орден, я наделал столько ошибок, что стыдно вспоминать. А всего-то и надо было понять одно: правила игры придуманы до меня.

Зимин покачал головой:

— Слышь, Костя! Я потребовал, чтобы в мою участковую нарядную поставили телевизор. Самое смешное, мне его поставили!

И он с гордостью усмехнулся.

Морозов слышал об этой истории еще от Бессмертенко,

по тот вспомнил ее, когда был сильно зол на Зими́на, когда ему нужно было подчеркнуть его никчемность.

— Надо было видеть, как его несли! — продолжал Зими́н. — Как гроб!.. И тогда пошло — дескать, Зими́н зарывается, Зими́н — Наполеон, Зими́н не считается с товарищами. Телевизор — мелочь, а что из-за него пошло? Это, Костя, жизнь. Нас окружают люди. А в молодости нам кажется, что сегодня вокруг нас одни, а завтра будут другие, так что можно не обращать на них внимания. Вот где ошибка! Те же самые будут и сегодня и завтра. Понял, о чем я говорю?

Зими́н подошел к Морозову, взял его под руку и подвел к окну.

Он сел на подоконник и сказал:

— Садись-ка, мой юный друг.

Морозову сделалось неловко. Он ждал жесткого разговора, связанного с угрозами, который был бы в духе их прежних отношений и который, как ни странно, не мог бы заставить Константина уступить. Но вышло иначе. А мягкость толкала на ответную уступчивость.

В кабинет вошел кадровик Пелехов.

— Разрешите? — спросил он, вытянувшись по-военному.

— Я занят! Подождите! — резко ответил Зими́н.

Пелехов кивнул седой головой и удалился, неслышно прикрыв двери. На мгновение Морозов как будто увидел себя чужими глазами и понял, что ему неловко одалживаться у Зими́на этим мягким обхождением.

Он не догадывался, что за мягкостью стоит прием столь простой, как и угроза.

— Мне надо идти, — напомнил Константин. — Тимохин без меня не будет проводить наряд. В пласте идет прослойка...

— Хе-хе-хе! — насмешливо сказал Зими́н. — Давай прямо — ты не хочешь, чтобы я шел с тобой к Рымкевичу? С твоей стороны это не по-товарищески. Чем помешает несчастный неудачник Зими́н? Наоборот, может и пригодиться. — Он толкнул плечом в плечо Морозова и продолжал в прежнем тоне дружеской иронии: — Или хочешь взять свой телевизор?

— Ну и жизнь у вас, — посочувствовал Морозов. — Тайны мадридского двора. Везде чудятся интриги.

— А ты думал!



— А если вы ошибаетесь и мне наплевать на телевизор?

— То есть как? — улыбнулся Зимин.

— Если я не иду к нему по личной причине? Допустим, мне противно его видеть?

— И что же? Вообще не идти? — Зимин уперся обеими руками в подоконник и искоса взглянул на Морозова.

— Вообще, — кивнул Морозов. — Мы бедные, но гордые.

— Гордость — это слишком простодушно, — сказал Зимин. — Не обижайся, но ты еще не политик. А руководитель обязан быть политиком. Когда ты уяснишь эту элементарную истину, ты будешь в полном порядке. — И Зимин снова взглянул на Морозова, чтобы уловить выражение его лица.

Морозов, наморщив лоб, грустно и задумчиво смотрел перед собой.

Теперь ему стало ясно, что от него требуется участие в какой-то игре Зимина с Римкевичем.

И он еще понял, что начальник шахты в конце концов изловчится и хитроумно загонит его в угол, употребив для этого крепкие выражения, например «патриотизм», «общественная польза», «чувство долга» и, может быть, «престиж родного предприятия».

Подобным образом пытался убеждать и Павлович, но в сравнении с Зиминим он был слабаком.

«Их сломали, — подумал Константин о своих товарищах. — Я сопротивляюсь неизвестно чему».

— Он тебе противен? — продолжал Зимин. — Но разве может быть противен вот этот стул? Он может быть удобен или неудобен, полезен или бесполезен. Так и Римкевич. Главное, чтобы ты не оказался в дураках.

— Ну это слишком цинично! — сказал Морозов. — Лучше остаться в дураках, чем потом не уважать себя.

Он отошел от окна.

Зимин улыбался, но весь сжался, и его лицо сжалось, глаза недобро сузились. Морозов оскорбил его.

Они молча смотрели друг на друга.

— Кажется, я ошибся в тебе, — без всякого выражения вымолвил Зимин.

— Не знаю, — сказал Морозов.

— Пожалуй, ты совсем зеленый.

Морозов пошел к двери.

— Стой! — грубо произнес Зимин.

Константин повернулся. Он знал, что сейчас Зимин взорвется, и, внутренне ожесточившись, ждал.

— Проведешь наряд, но в шахту не спускайся! — с напряжением произнес Зимин и плотно сжал губы.

Морозов едва заметно кивнул, постоял несколько мгновений и вышел. Вспыхнувшая в нем сила сопротивления осталась нерастраченной. Ему было тяжело.

Когда за ним закрылась дверь, Зимин слез с подоконника и стал сосредоточенно насвистывать мелодию из кинофильма «Крестный отец». Он дважды начинал ее, но слышал, что фальшивит. В третий раз получилось хорошо. Зимин зашагал по кабинету, заложив руки за спину, и тихо мурлыкал: «Ту-ру-ру-ру-ру...» Он нарочно не хотел думать о Морозове, чувствуя, что, сдержавшись, он психологически выиграл... Морозов знает, что оскорбил и остался безнаказанным, поэтому у него неизбежно возникнет комплекс вины. И Зимин в конце концов добьется своего.

Пока Морозов шел со второго этажа на первый, с ним случилось что-то вроде солнечного удара.

У него в ушах стоял едва различимый гул печальной песни. Ему чудилась дорога в весенней степи, поднимающаяся на холмы и гривы, бегущая вниз к речным долинам, оврагам и балкам. Среди сухих стеблей узколистого ковыля, тонких былинки костров и почернелых колючек татарского катрана мелькала нежная прозелень мелкого мха и сине-зеленой водоросли.

Он увидел степные тюльпаны и сон-траву, расцветающие в конце апреля. Из года в год каждую весну повторялось их рождение, не имеющее ни начала, ни конца. Зацветали ирисы и адонисы. В середине мая, перед суховеями, загорались темно-красные пионы, а дорога выводила в летний день, тянулась вдоль обнаженных сланцев ромашками, люцерной и чабрецом, сбегала к песчаникам, заросшим тимофеевкой, поднималась в гору, на меловой берег Айдара, где уже росли другие травы и где бабушка собирала впрок горицвет, пиретрум и кузьмичову траву, пучки которых висели все лето в сенах, источая горьковатый запах увядания.

В песне говорилось, что «на горе жницы жнут, а под горою, яром-долиною, казаки идут», и не все казаки вернутся домой...

Что-то сделалось с Морозовым; что-то задавленное могучим пластом бесформенной мешанины вдруг вырвалось из подсознания, и, как сквозь распахнувшееся окно в комнату с застоявшимся воздухом влетает порыв ветра, так же сильно и естественно открылось в душе Константина какое-то окно, и он повернулся к нему.

«А еще хорошие медоносы — иван-чай, донник, эспардет и клевер», — когда-то сказал дед Григорий. И его слова прозвучали снова. Пространство и время, сквозь которые они пробились в эту минуту к Морозову, лишили их первоначального смысла; они перестали обозначать связь пчелы с цветком, но в них звучали совсем иные слова, сказанные в безумстве: «Я люблю тебя!» И звучал смех Веры. Где-то стояла выбеленная известкой стена с черной надписью: «Здесь жил Гаршин», а бабушка вскапывала мусорную землю перед домом и сажала яблони, и отец писал рассказы о счастливых людях, забыв о своей беде... Это находилось где-то очень близко, ближе того кабинета, откуда только что вышел Морозов, и ближе той работы, за которую он возьмется через несколько минут. Это как будто рванулось Константину на помощь в безнадежной борьбе, в которой у него не хватало сил, чтобы его дух устоял против доводов рассудка и честолюбия.

Как ему хотелось первенствовать! Хотя бы в малом, хотя бы на крошечном участке отстающей шахты. Как хотелось стать самостоятельным и независимым!.. Ему была нужна карьера. Наконец он признался себе — карьера, чтобы заполнить пустоту, разверзшуюся после развала «Ихтиандра», чтобы не быть подручным у невежды, чтобы чувствовать свою ценность и ощущать бег жизни. Да, его цель изменилась. Отныне это была карьера. И Морозов мог бы сказать в связи со своим новым назначением: «Мне вдруг повезло», но он был далек от такой мысли и не испытывал радости. Наоборот, он понимал, что теперь, приняв должность, он обязан принять и условия игры.

Константин начинал новое дело с тяжелой душой. Что-то выходило совсем не так...

Он спросил себя: почему он противится Зимину, ведь ничего страшного не случится, если они поедут к Рымкевичу?

«Я ошибся, — подумал он. — Пошли они к черту с этой карьерой, этим назначением и всем этим дерьмом! Играйте без меня. Это иллюзия жизни и приманка для трусов. Я чуть было не купился на нее. А что может быть больше

жизни?.. Без меня! Теперь-то уж без меня». И, решив так, Константин спустился в подземелье вместе с рабочими второй смены.

Спустя четыре часа Морозов выехал на-гора: прослойку алеврита благополучно миновали. Ей было сто миллионов лет, она образовалась тогда, когда земля была безлюдна, а время измерялось геологическими периодами. Но миллионы лет, заключающие в себе движение моря, подъем древнедонецких гор, дыхание вулканов, тихий рост могучего леса на склонах, — эти миллионы являлись песчинкой в сравнении с тридцатью годами Константина Морозова.

Он поднялся на поверхность, переделался и уехал домой.

Он гордился собой.

...А Зимин поехал к Рымкевичу один, но не был им принят.

Сергей Максимович вернулся в машину больным. Жгло в желудке. По-видимому, обострилась язва. Держась правой рукой за живот, он мрачно сидел рядом с шофером и задумчиво глядел на сияющие закатным огнем окна треста.

Что движет нашей жизнью?

Он только что совершил ошибку.

Карьера? Слава? Деньги? Семейное благополучие? Нет, все это не полно и потому фальшиво.

Он только что просчитался...

Как игрок, имеющий прекрасную позицию и вдруг теряющий после одного торопливого хода свое преимущество, так Зимин упустил шанс из-за самоуверенности.

В самом главном он был прав, в том, что правила игры, события и причины желаний определяли должность и профессия. Именно должность и профессия! Они вбирали в себя суть человеческой природы, как мишень вбирает в себя стрелу.

Ошибка Зимина была в том, что от общего закона, ежедневно подтверждаемого делами большинства, отступили сразу два столь разных человека. Одним из них он командовал, другому — подчинялся. Но Морозов не пожелал подчиниться. А Рымкевич отверг неписаное правило, гласившее, что управляющий обязан принять начальника шахты.

Казалось, Зимин еще слышал слова Рымкевича:

«Как? Ты один?.. Нет, один ты мне сейчас не нужен!»

И ему было обидно, как может быть обидно лишь тщеславному и завистливому человеку.

Отыгаться на Морозове он теперь мог не сразу, а Рымкевич был недосыгаем, и надо было думать, чем поправлять положение.

Дома Зимину стало совсем плохо. Он лежал, закрыв глаза. Ему чудились горящие тяжелым огнем окна и холодные глаза Рымкевича, полуприкрытые сухими складчатыми веками.

Жена сидела рядом с ним на краю тахты, покрытой черно-красным клетчатым пледом. Лицо мужа было бледно-желтым. Она смотрела на его запрокинутую голову с высоким покатым лбом, с приподнявшимися над небольшими залысинами потными темно-русскими волосами, с уродливо крупным носом. Сквозь неплотно закрытые веки просвечивали полоски белков. Глазные яблоки пульсировали.

Она была угнетена небывало резким ухудшением, но ее душа оставалась спокойной. Жене было стыдно перед собой за это странное спокойствие. Она пыталась вызвать жалость к мужу, хотела вспомнить его молодым, компанейским, ждущим радости. И не вспомнила. То, что было у нее в прошлом, этого человека уже не касалось.

— Дай еще таблетку! — попросил Зимин и раскрыл глаза.

— Больше нельзя, — сказала Женья. — Подожди, сейчас отпустит.

— «Отпустит!» — раздраженно передразнил он. — Довела меня своими обедами из кулинарии! Сколько раз я просил: мне нужна диета, у меня сумасшедшая работа... Нет, тебе жалко потратить лишний час!

Зимин был несправедлив к ней. Даже сегодня он видел на плите бидон с простоквашей, из которой Женья откинет творог. Каждое утро он завтракает творогом. Она готовила ему паровые котлеты, овсяную кашу, бульоны и овощные соки... Но обеды из кулинарии тоже были у них в доме. В пятницу в конце дня Женья покупала готовые шницели, гуляш или отбивные и готовила обед для себя и для сына. Она составляла крепкие и острые подливы и соусы из томатов, уксуса, красного перца, чеснока и трех-четырёх трав. Зимин макал кончик ножа в такой вкусный соус, морщился и принимался за свою пресную еду; его настроение портилось.

Зная его натуру, Женья понимала, что ему хотелось, чтобы никому вокруг не было лучше, чем ему. Она говорила себе: «Он стесняется перед сыном. Ему хочется

быть сильным». И не всегда верила этой мысли, хотя крепко держалась ее.

Сейчас Женя промолчала на его нелепое обвинение. Что ж, Сергей болен, а больные в большинстве эгоисты. Их раздражает даже чужое здоровье.

Действительно, Зимину казалось, что Женя недостаточно к нему внимательна.

Он лежал на спине, несколько отвернувшись к стене так, чтобы не касаться жены. Ее молчание раздражало еще сильнее, чем возражения. Он хотел, чтобы она начала с ним спорить. Тогда бы у него появилась возможность упрекнуть ее в жестокости.

— Где Игорь? — спросил он, зная, что сын сегодня занят во Дворце пионеров.

— У него турнир, — сказала она. — Я позову Зайцева?

— Этого... — Зимин не нашел, как обозвать соседа, и запнулся. — Этого коновала?! В прошлый раз он потребовал у меня доски для дачи.

— Ты сам предложил, — напомнила Женя. — Я позову его. — В ее голосе слышалась терпеливая настойчивость. — Только держи себя в руках, а то мне будет неприятно.

— Вот подожду, всем станет приятно! — съязвил он.

— Подожди, я быстро, — Женя встала, озабоченно поглядела на его маленькую фигуру с напряженными руками и, как будто убедившись, что без нее с мужем ничего не произойдет, быстро вышла из комнаты.

— Ох! — вздохнул Зимин.

Щелкнул дверной замок. И удивительно — боль стала притупляться, словно она жгла специально для того, чтобы Женя убедилась, как Зимину тяжело. Но вот ушла — и не стало для кого ее показывать.

«Надо же, как ты распустился! — подумал Зимин. — Дома из-за тебя всем тошно. Игоря нет, Женя нарочно ушла. А всего-то и делов, что меня могут освободить от должности. Ну так что, с кем не бывало? Рымкевича раза три снимали, не умер. Все равно трудоустроят. Нет, это не оправдание».

Он встал, взял с тахты подушку и запихнул ее в бельевой шкаф. «Хватит валяться!»

...Вернувшись, Женя увидела, что муж разговаривает по телефону. Вместо синего тренировочного костюма на Зимине были трикотажная приталенная сорочка бежевого цвета и светло-коричневые легкие брюки.

Его лицо, по-прежнему бледное, было энергично, оживленно.

— Да. Так. Хорошо! — кивал головой Зимин. — Аверьянцев дает! — Он взглянул на Женю и улыбнулся. «Ты одна?» — спросил он глазами. Она развела руками: нет Зайцева. — Сейчас пойдем в кино, — сказал он поверх трубки и сразу ответил собеседнику: — Перегони им порожняк. Никакого резерва! Не надо нам этого резерва. Все перегони! Да, ты правильно понял... Ну ладно. Будь здоров.

Он положил трубку.

— Кажется, идет на лад, — сказал он, повернувшись вместе со стулом. — Если не прихватит какая-нибудь зараза, я план сделаю.

Зимин рывком встал, обнял Женю и поцеловал в щеку.

А она горько улыбнулась. Его оживление было вызвано производственной обстановкой, решила она. Слова о кино и этот быстрый поцелуй родились в случайной игре.

Пусть на шахте что-то переменялось и Сергею стало легче. Наверное, ей тоже должно быть легче, ведь она непрерывно испытывает давление всех этих удач и неудач, управляющих ее мужем? Но Жене легче не стало. Она, не застав Зайцева дома, вернулась в хмуром сосредоточенном состоянии, которое обычно сопутствует всякой нужде. Ей нужно было ухаживать за мужем, а ей хотелось остаться одной. Как ни тягостно одиночество, в нем Женя была свободной от фальши.

— Хорошо, ты сделаешь план, — сказала она, — но мне уже все равно.

— Как «все равно»? — простодушно воскликнул Зимин. — Я же ради вас с Игорем!..

Он смутился, не решаясь принять ее всерьез. Женя понимала, что ему сейчас уже расхотелось дразнить ее, ибо он оберегал свое приподнятое настроение, как недавно перекладывал на нее тяжесть.

— Нет, Сережа, это мы ради тебя, — сказала она. — Мы подпорки к твоему плану. Я еще не старуха, самое большое, что я могу, это любить тебя и Игоряшку.

Скрываемая от самой себя женская обида вырвалась в ее словах и стала осознанной. Да, она еще любила его! Пусть он жалкий, надломленный, эгоистичный, односторонний, пусть какой угодно, да только он бывал и другим.

Ее рот напрягся, на щеках появились красноватые пятна, и глаза широко раскрылись, чтобы из них не вы-

лились слезы. Женья ужаснулась тому, к чему ее вынесла жизнь.

Еще мгновение назад желавшая освободиться, эта тридцатидевятилетняя самостоятельная женщина растерялась от мысли, что она может остаться без мужа.

Ей казалось, что она готова к разрыву и не идет на него только из-за семейного долга, но в ней говорила неглубокая гордость. Кроме семейного долга, были и другие причины,— во-первых, Женья, рано испытав близость с женщиной, очень долго страдала тем женским недугом, который у врачей именуется фригидностью, и только Зимин вывел ее из окаменелой безрадостности; во-вторых, она не могла представить себя с кем-либо другим; в-третьих, без него она бы не сумела жить так же удобно, как жила до сих пор, ее зарплаты хватало ровно на столько, чтобы купить импортные сапоги; и, в-четвертых, у Жени не было никакой другой жизненной идеи, за исключением семейной.

Все эти во-первых, во-вторых, в-третьих, наверное, составляли физическую и материальную стороны последней причины. Такова была грубая основа ее супружеской привязанности.

— Ты не любишь меня! — воскликнула Женья и часто заморгала. Слезы полились из глаз; она теперь хотела, чтобы Зимин увидел, как ей больно и как она близка к увяданию.

А вообще Женья презирала подобные бабьи сцены и никогда прежде не прибегала к ним, предпочитая молчание. Плачущие женщины казались ей примитивными самками, способными общаться с мужьями только органами чувств. Однако она заплакала так естественно и хорошо, что все не высказываемое годами вдруг пошло с сердца и оно обновилось.

— Ты не любишь меня! — это был не упрек, не притязание, но вера в то, что эти слова тотчас будут опровергнуты. «Люби меня! Ты любишь меня!» — вот так слышала себя Женья.

Из сильной, красивой и спокойной женщины она превратилась в жалкую, красноносую, напряженную. Нос и губы напухли, лицо подурнело.

— Ну что ты! — Зимин довольно неуверенно похлопал жену по спине.— Ну успокойся. Какой сегодня дикий день... Ну хватит. Я же люблю тебя. Улыбнись...

Жалкий вид жены совершал с ним какое-то странное



превращение. Привыкший к ее внешней многократно доказанной независимости, Зимин постепенно утратил ощущение своего превосходства; и в семье стало два лидера. Но вместе с утратой превосходства Зимин лишился еще чего-то, что притягивало его к жене.

— Ты плачешь? — спросил он удивленно. — Не плачь, Женя. — Он перестал хлопать ее по спине и прикоснулся лицом к ее мокрой горячей щеке. — Не плачь, родная. Не надо...

Услышав слово «родная», Женя всхлипнула, слезы полились еще сильнее, и она вспомнила, что много плакала в первый год замужества. Тогда она еще не приросла к Зимину и не могла забыть Василия.

— Помнишь, как мы плакали вначале? — вдруг сказал Зимин.

Если бы он сказал не «мы», а «ты», Жене все равно было бы понятно, какое чувство близости испытывал сейчас муж, думая одинаково с ней. Но он сказал «мы». Это было выше простого общего прошлого. Это было новое прошлое, которого не было в действительности и которое могло родиться из любви.

«Мы плакали...» — повторила про себя Женя и, издав горлом смеющийся стон, обняла мужа.

Они поцеловались страстно, как давно не целовались.

...Через несколько сумасшедших минут Зимин и Женья, уже пережившие мгновения любовного экстаза, ощущали горьковатую умиротворенность. Она настигла их неожиданно, как неопытных любовников, и они молчали.

Зимин был горд собой и благодарен жене, а она медленно остывала и спокойно и нежно прикасалась губами к его влажному лицу.

Им казалось, что они молчат не потому, что им нечего друг другу сказать, а потому, что большего, чем они дали друг другу, уже нельзя дать никакими словами.

— Ой! — притворно ужаснулась Женья. — Сейчас придет Игорь!

Но она даже не собиралась вставать и продолжала ласкать мужа.

Ни Зимин, ни Женя не думали, почему их отношения долго были холодны, почему сегодня они были согреты случайной вспышкой любви и какими они станут в будущем. Им казалось, что отныне начинается новая пора, что им наконец удалось узнать друг друга.

Но в действительности Зимин и Женя, сами того не

подозревая, желали только удобства в любви, как желали этого большинство супругов. Была ли это любовь или один ее суррогат, определить трудно. Наверное, все-таки любовь, ибо они стремились именно к тому, что и произошло.

— Меня позвал Рымкевич, а потом выгнал,— сказал Зимин обиженным голосом.

— Родной мой! — ответила Женя. — Я ведь чувствовала, что у тебя неприятности. Днем я читала второму курсу, так не хотелось читать. А перед самой переменой я поглядела в окно и встревожилась за тебя.

Она говорила неправду. Во время лекций ей пришлось вспомнить Любечский съезд, и она не могла думать о муже. Однако ей казалось теперь, что неясный тревожный образ человека, явившийся в тот час, был Зиминим, а не кем-то совсем другим.

— Я кое-как дождалась звонка,— продолжала Женя. — Оказывается, тебе было плохо...

— Какая ты хорошая,— сказал Зимин.

Он рассказывал сегодняшнюю историю, и ему чудилось, что жена может ему помочь.

— Любеч, Любеч,— чуть слышно вздохнула Женя.

— Что? — спросил Зимин.

Она улыбнулась и, завернувшись в простыню, пошла в ванную. Зимин удивленно посмотрел ей вслед. Почему она ничего не стала говорить?

Донесся шелестящий шум воды. «Эх, женщины! — усмехнулся Зимин. — Они думают спинным мозгом, что им до наших дел?»

Когда Женя вернулась, она сказала:

— Сережа, твоя история очень банальна. Я тебе объясню... Пока иди, умывайся.

— Хе-хе-хе! — сказал он.

Женя ему нравилась. Она была в синем купальном халате, едва подпоясанном и не закрывающем продолговатые красивые истоки груди; ее розоватое чистое лицо отражало какое-то загадочное чувство, словно она собралась колдовать.

Едва Зимин вышел, Женя быстро подошла к письменному столу и окинула его взглядом. Ей нужно было найти записную книжку мужа. Не найдя ее здесь, она взяла со стула бесформенно лежавшие там брюки и вытащила из кармана потрепанную книжку. Женя никогда прежде не опускалась до такого бесстыдства, но сейчас она действо-

вала решительно, не задумываясь о моральной стороне своего поступка.

Раскрыв книжку, она увидела под обложкой угол свернутой двадцатипятирублевки. Незвестная ей жизнь показала свою примету. Что было там, в глубине страниц, какие имена и адреса? Женя нашла телефонный номер Рымкевича и спрятала книжку назад, в карман брошенных брюк.

Она еще не знает, что скажет старику, но главное — она, по-видимому, его поняла. Он подобен ее милому служаке Зимину и, в отличие от него, достиг высшего предела своей карьеры. Что ему остается? Да Рымкевичу скучно! Простая скука толкает его к чему-то необычному. Ему хочется игры, и он пытается играть с подчиненными.

И Женя поступила, как задумала. Муж ушел в магазин за шампанским. Другой причины, чтобы его выпроводить, ей не пришлось в голову.

Она позвонила Рымкевичу с лукавой улыбкой, ощущая себя смелой и удачливой, такой, какой она никогда не была из-за постоянно угнетенного темперамента и какой вдруг могла себя ощутить. Женя ускользнула из-под тяжести мертвого города Любеча. Когда она догадалась, что ей следует принять участие в делах и бедах мужа, она почувствовала себя уверенной. Дела и беды были маленькие.

Трубку сняла женщина — то ли жена, то ли дочь Рымкевича, и Жене ответили, что Валентин Алексеевич гуляет с внучкой.

— А вы кто будете, извините за нескромный вопрос? — спросила Женя независимым доброжелательным тоном, еще не зная, зачем она спрашивает, но чувствуя, что даже без Рымкевича она сумеет добиться своего.

— Я жена Валентина Алексеевича, — суховато ответила женщина, и Женя предположила, что та сейчас, наверное, испытывает ревность и любопытство.

— Здравствуйте! — сказала Женя. — Я ваша младшая сестра по судьбе. Я жена начальника шахты Зимина.

«Не слишком ли фамильярно?» — мелькнуло у нее, однако она отмахнулась от этого сомнения.

— Гм, — произнесла женщина и замолчала.

— Я нахожусь в том возрасте, когда мужья теряют к семье интерес. — Женя хотела сказать «теряют к женам интерес», однако не позволила себе бестактность. — Одни начинают выпивать, другие заводят любовниц, а третьи просто хандрят. А у шахтеров пробивается еще усталость...

Вряд ли вы можете мне помочь, но мне кажется, что мы, шахтерские женки, в чем-то все одинаковы. Наш удел — всегда ждать...

— А вы устали ждать? — с неясным осуждением спросила женщина.

— Я об этом не думала, — искренне ответила Женя. — Но я боюсь остаться вдовой... Это ужасно!

— Ну что вы, дорогая! — интонационно улыбнулась собеседница. — Сейчас не то время, да и начальник шахты — это не простой углекоп. Наверно, вы придумываете себе лишние страхи, это бывает.

Ее тон напоминал уверенный, снисходительный и профессиональный бодрый тон врача.

— Мой муж болен, — сказала Женя. — У него застарелая язва желудка. Должно быть, вы сами знаете — двухразовое питание и ненормированный рабочий день.

— Еще бы не знать! — отозвалась женщина. — Валентину Алексеевичу оперировали язву в пятьдесят седьмом. А тогда еще повысили планы угледобычи, помните?

— Нет, не помню, — призналась Женя.

«Настоящая шахтерская женка», — подумала она о жене Рымкевича.

— Да, — сказала женщина. — Натерпелись тогда... А у вашего часто обостряется?

— Как понервничает...

— Ему нужна диета.

— Конечно! Чего я ему не готовлю... — сказала Женя.

— А не пробовали — кусочек сала натошак? Еще говорят, надо утром выпить граммов пятьдесят водки и два сырых яйца.

— Нет, мы против самолечения.

— Да, лучше не рисковать. Он, наверное, у вас шумный, заполошный? У меня тоже такой. Все очень похоже.

— Да, заполошный, — ответила Женя. — Все близко к сердцу принимает. Сегодня Валентин Алексеевич его поругал, а он чуть живой домой добрался.

Ей не следовало этого говорить, потому что «шахтерская женка» уловила в ее словах жалобу на Валентина Алексеевича и холодно произнесла:

— Ну а что делать? Это работа.

— Работу мы не изменим, — согласилась Женя. — Но мы должны защищать живое. Мы — женщины, в этом паша главная задача.

Она почувствовала, что разговор достиг главного, ради

чего она затеяла его. Ведь не жаловаться, не сетовать на свою судьбу собралась она.

В ее голосе исчезли просительные нотки, он стал тверд.

— Я прошу вас как женщина женщину: найдите способ повлиять на Валентина Алексеевича, чтобы он пощадил моего мужа.

— Но я не знаю,— удивилась жена Рымкевича.— Я никогда не лезла в его дела...

— Я тоже никогда не просила за мужа,— возразила Женя.— Я поступаю некрасиво, против принятых правил, но я защищаю жизнь человека!

«Какая жуткая демагогия! — подумала она.— И почему мне не стыдно?»

— Не знаю, чем я вам могу помочь,— услышала она.— А почему бы вам не обратиться к Валентину Алексеевичу? А еще лучше — пусть сам муж.

— Господи, что же вы так! — воскликнула Женя.— Неужели вы забыли, как было вам, когда было плохо вашему мужу? Неужели в вашей душе нет сострадания? Тогда как вам тяжело! Тяжелее, чем мне.

— Гм,— сказала собеседница.— Все-таки я вам ничем не помогу. Даже если скажу ему, так он меня изругает. Кому от этого легче?

— Ну что же,— вздохнула Женя.— На нет и суда нет.

Она попрощалась спокойно и доброжелательно, но проигравшей себя не почувствовала.

Вероятно, пройдет немного времени, и какое-нибудь семейное событие напомнит этой пожилой женщине о словах Жени. Неважно, что это будет — внучка ли шлепнется на пол и разревется, заболит ли желудок старика, или он косо посмотрит на жену... Главное — Женя коснулась ее собственной судьбы.

«А что я хотела сказать Рымкевичу? — спросила она себя.— Я бы что-нибудь сымпровизировала!»

И она засмеялась, встряхнув своими подстриженными волосами.

Ей было хорошо, потому что то, чего она добивалась, было благом для ее семьи.

Но где-то в глубине, которой не могли коснуться никакие блага и дела, ей было нехорошо.

Правда, это не играло никакой практической роли.

...И как много из того, что не имеет никакой практической роли, движет людьми! В тот день, уехав с шахты,

Морозов испытывал гордость, но все-таки это была печальная гордость оставшегося в одиночестве, когда ты видишь, что все вокруг тебя опустили голову перед страшным идолом, приблизительно именуемым жизненными обстоятельствами, а ты один, то ли сильный, то ли инфантильный, еще упорствуешь, не решаясь себе признаться, что ниоткуда, кроме твоего самосознания, теперь нет поддержки. Поэтому в твоём упорстве не будет смысла, оно не оставит следа и пройдет, как сон.

Морозов поехал к Ипполитову домой, чтобы спросить его: «Неужели тебе не стыдно перед самим собой?»

«Стыдно, — скажет Ипполитов. — Но я хочу жить интересным делом».

Он забыл, что жена Ипполитова теперь не переносит Бута и весь «Ихтиандр».

Он, пожалуй, даже не вспомнил, есть ли у Ипполитова семья, как будто сейчас на земле остались только два человека, Морозов и Ипполитов, а других временно не стало.

Дверь открыла Наташа, но он только поздоровался с ней, не заметив ни ее медленного холодного приветствия, ни ее самой.

Ипполитов и Морозов были одни в маленькой комнате, перегороженной книжным шкафом. По одну сторону шкафа стоял у окна письменный стол, а по другую — детская кровать. Велосипед «Орленок», ящик с игрушками, фотография подводного дома, открытая форточка, осколки амфоры, морские раковины, раскрытый журнал «Авиация и космонавтика», электронный биолатор «Кас-сио», сегодняшняя газета с репортажем Дятлова — такова была внешняя обстановка, улавливаемая взглядом Морозова, но не соединяемая в единое целое.

От каждой вещи исходило какое-то силовое поле.

Маленькая коробочка биолатора с темным квадратным табло и двумя рядами кнопок напомнила о Вере. Загадочный расчет, происшедший в электронной схеме, просто объяснил, почему Константин и Вера расстались: их физические ритмы совпали на восемьдесят процентов, интеллектуальные — на шестьдесят девять, а эмоциональные — всего на семь. Эти-то семь процентов все и решили. Желтый огонь цифр, вспыхнувших в окошке табло, сводил любовь к жесткому теоретическому варианту... Какое непостижимое унижение для свободы человека таилось в этой электронной машинке!

«Очень редко мы чувствовали одинаково,— подумал Морозов.— Я навязывал ей свое настроение, а она мне свое... Но если бы мы тогда знали про эти семь процентов, это остановило бы нас?.. Не знаю. Может быть, не остановило».

В том и дело, что он все-таки сам выбирал любую дорогу, и ничто не могло отнять у него это право. Ничто, даже самое глубокое, страшное знание...

Тем временем, пока он думал о биолаторе, другие предметы как будто тоже обращались к нему.

Велосипед «Орлепок» напоминал о затравевших тропинках на берегу Айдара.

Журнал «Авиация и космонавтика» наводил на мысль о связи космических и подводных исследований.

Репортаж Дятлова возвращал к первому эксперименту «Ихтиандра» и дневниковым записям тех лет: «Мы стоим на быстро вращающемся круге. В центре группка железных ребят. Вокруг еще десятков ребят. Хотя центробежная сила действует и на них. Дальше — остальной лагерь. Одни стараются приблизиться к центральной группе, другие слетают с круга...»

Осколки греческой амфоры почему-то напоминали, что в сорок третьем году отец вернулся из Караганды и что на их доме висел транспарант: «Из пепла пожарищ, из обломков развалин возродим тебя, родной город!»

С Морозовым случилось что-то похожее на эйфорию.

Ипполитов, высокий, седой, с перекошенными плечами, в тельняшке, выпукло обтягивающей живот; Ипполитов, честный человек, совесть «Ихтиандра», — странный рыцарь Дон Кихот; Ипполитов, ясный ум технократа, — он должен был внять морозовскому заклинанию: «Что ты делаешь? Отрекись!»

— А если бы тебя не выдвинули в начальники, как бы ты сейчас говорил? — улыбался Ипполитов. — Захотел бы упускать наш последний шанс? Или все равно ушел бы в сторону?

— Слышу жалкую речь Павловича! — закричал Морозов. — Разве вы пошли спасать ради спасения? Ради своей выгоды! А не будь выгоды, вы остались бы дома, пусть там хоть потоп!

Он не кричал. Ему только казалось, что он кричит. Еще произносились слова рациональных доводов, еще велась интеллигентная мягкая беседа, еще Морозов управлял собой, однако внутренне это был бой. Желая переубедить

Ипполитова, Морозов был настроен жестоко и в действительности хотел сломить волю своего товарища.

Пока еще Ипполитов не понимал, что Морозов стремится разрушить его самую большую ценность, твердое и ясное представление о будущем. Вскоре ему почудилось в настойчивости Морозова что-то тяжелое, он попытался избавиться от этого неудобства. Ипполитов взмахнул длинными своими руками и снял со шкафа пластмассовую желтую коробку со слайдами.

— Я тебя понимаю, Костя,— сказал он, показывая из-за улыбки стальные зубы.— Ты растущий организатор. Ты холост. У тебя развязаны руки. А у меня дети и большое сердце. Сколько мне отведено жить, я не знаю. Наверное, я уже устаю. «Ихтиандр» моя главная надежда на удачу во всей жизни. Не выйдет — я пропал...

Он терпеливо и дружелюбно посмотрел на Морозова. Его взгляд словно просил: «Давай это оставим. Не паси-луй меня».

— Но ты должен признаться, что стыдно спекулировать на «Ихтиандре»,— кивнул ему Морозов.

— Здесь слайды с подводными домами,— сказал Ипполитов и снял крышечку с коробки.— Давай поглядим?

— Да, если бы мы сейчас вышли на берег моря, если бы прошло назад лет пять...— Морозов взял из коробки маленькую яркую картинку и взглянул на нее против оконного света.

На слайде в зеленой воде торчал полузатопленный белый дом; на охристо-солнечном берегу стояли Ипполитов, Морозов, Бут и Павлович; качалась у берега шлюпка с опущенными веслами; искрился свет воды и резко темнели тени от скалы...

— Ты хочешь сказать, что мы уже не знаем друг друга и пользуемся давно прошедшей информацией? — спросил Ипполитов.

— Жалко, что нельзя вернуться,— сказал Морозов.— Может быть, это приснилось? Спроси у себя, почему ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое? Ты боишься признать, что я прав!

— Ты ведь отступник,— серьезно произнес Ипполитов.— Ты изменяешь делу.

Он взял из рук Морозова слайд и, прищурившись, вскинул его к глазам.

— Я изменяю? — переспросил Константин.



— Эх, какими мы были! — вздохнул Ипполитов и закрыл коробку.

— Значит, я отступник, — покачал головой Морозов. — Слава богу, не подлец и не спекулянт!.. А вообще-то такие словечки еще пойдут в дело, пойдут, вспомнишь меня! У меня тоже есть их запас. Так и вертятся на языке. Признайся, что в душе ты согласен со мной — «Ихтиандра» больше нет, а вы устраиваете свою выгоду. Признайся, и я оставлю тебя в покое.

— А если не признаюсь? — спросил Ипполитов.

— Признаешься! — рассердился Морозов. — Не мне, так своей совести признаешься. — И голос его дрогнул, сорвался.

Однако каждый из них был по-своему прав; один подчинился власти реальности и был близок к тому, чтобы отречься от желания добиваться чего-либо, кроме практической цели, а второй хотел выполнить то, что требовал от него внутренний нравственный закон. Они не могли примириться на чем-то среднем, потому что этого среднего не существовало. Будущее должно было далеко развести их. И уже начало разводиться.

Каждый из них мог считать себя победителем, пожертвовавшим малым ради большого.

Но в этом течении двух жизней неподалеку от нынешнего дня — поднимался ветер, небо обтягивало дождем, росли волны...

Тогда Ипполитов был за пультом, а Морозов — в подводном доме, их последнем, третьем доме.

По брезентовому тенту, накрывающему пульт управления, барабанил дождь. Ипполитов глядел на волны и мысленно просил море остановиться. Под водой пока еще было спокойно, там ужинали. Ровно чередующиеся гребни летели от горизонта, иногда вспыхивая белой пеной. Море не слышало его голоса. Все выше становились волны, начинался шторм. Ипполитов был бессилен. Он скомапдовал: «Проверить барокамеру! Подготовить пункт приема акванавтов! Аквалангисты — на берег!» Подводный дом могло сорвать с креплений и вытолкнуть на поверхность. Тогда бы все погибли от кессонной болезни.

— Юра! Мы выходим... — крикнул Морозов из подводного дома.

И потянулось ожидание. Мелькали огни фопарей на берегу, но главного огня — из глубины, от светильника акванавтов, — еще не было.

Ипполитов ощущал горечь смирившегося перед неодолимой силой человека.

Когда акванавты поднялись, их одели в свитера, напоили кофе, а ему пришлось удерживать тех, кто рвался спасти оставшиеся в доме записи, фотоаппараты и отснятую киноплёнку.

Море гнало на берег огромные волны. Через несколько часов раздался телефонный звонок из пустого дома. Ипполитов снял трубку. Кто-то на другом конце провода размеренно дышал. Кто там был? Он догадался, что от качки свалилась с аппарата трубка, но в душе был убежден — это море ответило ему.

Утром слушали последние магнитофонные записи переговоров с домом; вначале шла обычная информация, но вот на поверхности, а затем и в доме забился пульс шторма. Диалог Ипполитова — Морозова был нарочито спокоен, каждый старался поддержать другого, а в интонации и в многословии уже чувствовалась тревога. И наконец — срывающийся голос Морозова: «Юра! Мы выходим...» У Ипполитова сжалось сердце.

Он не мог предвидеть, что когда-то в будущем у Морозова снова сорвется голос, что снова сожмется его сердце и снова он будет бессилён, но уже не перед морем...

— Своей совести признаешься! — твердо повторил Морозов.

«А Вера меня НЕ любила, — вдруг ясно понял он. — Я всегда знал это и боялся признаться».

Он снова был свободен. Для чего? Для какой цели, для какой любви? Будет ли когда-нибудь что-то похожее на ощущение бессмертия, испытанное им в море, когда он был победителем? Захочет ли он еще раз пройти по обледенелому карнизу, чтобы постучать в чье-то окно? И что он передаст своему потомку?

Морозову показалось, что он видит свою бабушку, ее впалые, слабые глаза смотрят куда-то далеко, а перед ней на столе лежит ученическая тетрадка и ручка. Бабушка собралась писать письмо, и вот она уже пишет: «Пусть стойкость не покидает тебя. Если ты надеешься сотворить добро, но видишь, что надежды сразу не сбылись, не опускай от огорчения рук, не решай в бессилии плыть по течению, предаваясь общей испорченности...» (Через день Морозов действительно получит от нее письмо.)

— Юра! Я ухожу, — сказал Константин. — А у вас все должно получиться. Вы добьетесь своего без меня...

Надо было еще что-то сказать. Он загнулся, с напряженным, скованным лицом грустно глядел на Ипполитова, ожидая от него какой-то прощальной искренности, но Ипполитов уже отдалялся, растворялся в том скорбном холодном многолюдном поле, которого так долго избегал и которое все же забрало его.

— Юра! Юра! — позвал Морозов. — Что мы сделали с собою?

Ипполитова уже не было рядом с ним, а он по-прежнему мысленно повторял это, как будто был уверен, что тот слышит.

Где ты, Вера, моя любимая... И она тоже слышала!

В высоком ясном небе лежали белые стрелы, предвещающие перемену погоды. Дул порывистый крепкий ветер. С кленов сыпались листья. На секунду в зеркале отразилось багровое солнце, Морозов чуть подался вперед, чтобы не видеть заката. Машина шла быстро, и впереди нее бежала длинная тень.

Наступала осень. Как всегда, она прилетала мгновенно, никого не щадя. В небе что-то иссякало, барометр показывал исключительный перепад давления на протяжении одного дня; и человек со слабым сердцем испытывал тоску.

Морозов ехал домой. У него было здоровое сердце, а ранний осенний антициклон добрался и до него.

Метрах в пяти от машины сел на дорогу серый воробей и тут же взлетел от испуга, но не успел — и слабо стукнулся о днище «Запорожца». Морозов автоматически перенес ногу на педаль тормоза. Тормозить было бесполезно. Он оглянулся, зная, что лучше бы не оглядываться. Воробей бился на дороге, растопыбив крылья. «Я убил его? — подумал Морозов. — Как ему больно!»

Поколебавшись, он все же остановился. То, что совсем недавно летало где угодно, беспечно жило, теперь затихало в его ладони. Из разинутого клюва выступила кровь. Закрытые пленкой глаза вздрагивали. Морозов подул на воробья, на его перебитые крылья с белыми полосками на коричневатых перьях и положил птицу в траву. Он не знал, зачем останавливался. Каждый день автомобили убивают собак, кошек, голубей и других малых живых существ, таких, как эта несчастная птица. А мало ли он видел разбитых, изуродованных машин, темных пятен на асфальте, засыпанном белыми осколками закаленного стекла?

Следовало бы сразу забыть о воробье, словно его унесло осенним ветром. Ведь каждый шофер старается отогнать тяжелые мысли, которые рождает вид катастрофы. Каждый твердит себе: «Этого со мной не случится». Каждый хочет быть удачливым.

Морозов поехал дальше и забыл. Но саднило в душе что-то поднявшееся из подсознания, из неуправляемой темной памяти, которой не было дела до сегодняшних проблем.

Он поставил «Запорожец» во дворе, посмотрел вверх на свой раскрытый балкон, потом — на окна соседки Зинаиды Никифоровны, встретился с ней взглядом, улыбнулся, и она отпрянула от окна.

«Скоро женюсь! — решил он. — Довольно дурака валять».

Ему не хотелось подниматься домой, потому что он как будто боялся телефонного звонка с шахты. Едва Константин умоется, аппарат заговорит голосом Кияшко: «Куда-то задевался транспортер...» Впрочем, транспортер потеряли уже давно, на этот раз будет что-нибудь новое.

И Константин не пошел домой. Он направился к маленькому сухому фонтану с гипсовым зеленоватым мальчиком в центре, сел на скамейку, раскинул руки и положил ногу на ногу.

Двор закрывала тень дома. Воздух был еще светел, но словно замедлялся и создавал зрению невидимую преграду. Со старых кленов срывало листья, и они сыпались на землю, на скамейку и в фонтан.

Тот, кто сажал эти клены, уже лежал в песчанистой земле на старобельском кладбище, и, должно быть, сейчас пад ним тоже кружились зеленые и желтые листья.

— Костя! — тихо позвали его.

— Да, Вера, — сказал он. — Где ты?

— Ты слышишь меня?

— Слышу. Где ты, Вера? Я хотел ехать к тебе...

— Я далеко, Костя. Не надо ехать. Выигрывают только безоглядные мужчины. В любви женщина ничего не решает, ты это знаешь, Костя?

— А кто решает, Вера?

Шумел в кленах ветер, а странный разговор больше не продолжался. «Какая глупость! — сказал себе Морозов. — Разве у меня нет серьезного дела?»

Он встал со скамейки и пошел по двору, вспоминая, что там внизу, где стоят дома из белого кирпича, когда-то

были огороды, в которых росли зеленый лук, редиска, картошка, петрушка и укроп; за огородами прежде была Семеновка, откуда набегали мальчишки во главе с корейцем Муном (кто-то говорил, кто Муна завалило в шахте, по в это не верилось, — он должен был остаться со своим поселком); теперь двор стал меньше: часть отняли для здания областной прокуратуры и автомобильного проезда... Морозов даже не помнил, в каком году выкорчевали несколько рядов деревьев. Тогда он не обращал внимания на такие перемены. Но если бы обращал, мог ли что-то изменить?

В том-то и вопрос. Не лучше ли отвести глаза, когда ты бессилён? Не лучше ли скрыться под маской равнодушия и сохранить энергию для реального дела, а не для иллюзий? Можно не отвечать, Константин Петрович. Ответ только один: нет!

Нынешним ветреным холодным вечером Морозов решил перед кем-то исповедаться. Хотя бы перед собой, небом или кленами, все равно перед кем, лишь бы определить точные нравственные границы своей жизни.

В конце концов Морозов понял, что он избегает прямого столкновения с Рымкевичем. В этой мысли таился вызов всей его философии, позволившей отказаться от мести и от использования старика в корыстных целях. Эта мысль проломилась с трудом построенную крепость и сделала жалкой нынешнее сопротивление Константина желанию Зимины заигрывать с Рымкевичем. Разве не утешение слабосильному — отказ от единоборства под флагом миротворчества? А он был именно слабосильным героем, который пытался скрыть это в умствованиях о нравственной чистоте. Что это было, как не попытка уклониться от жизни, подменив жизнь рассуждениями о ней? Это очень удобно — послать все проблемы к черту, выйти из игры, как он вышел из «Ихтиандра», и остаться незапятнанным холодным наблюдателем.

В тот вечер Зимин приехал к Морозову, и они отправились домой к Рымкевичу. Это произошло с твердой логичностью, поразившей Константина, словно встреча была давно predetermined.

Зимин был малословен.

— Пошли, — сказал он, не объяснив направления.

Садясь в «Запорожец», Зимин с силой хлопнул дверцей, и кузов маленькой машины вздрогнул. Морозов усмехнулся и покосился вправо.

— Извини,— буркнул Зимин.

Это были его первые слова, произнесенные после того, как они спустились по лестнице во двор. Константин включил фары, и дальний свет устремился на беловатые качающиеся кусты, за которыми начинались бывшие огороды (там стояли типовые дома с горящими окнами).

В кабине от приборного щитка исходило слабое свечение.

— Где он живет? — спросил Морозов.

— На бульваре Пушкина, за драмтеатром... У тебя здесь уютно. Сколько она стоит?

Морозов промолчал, хотя вопросом о «Запорожце» Зимин, по-видимому, предлагал помириться.

— Тяжелый ты мужик,— полуобиженно-полураздраженно сказал Зимин.

— Возможно.

Зимин вздохнул и, когда выехали со двора, продолжал новым тоном:

— Значит, он просто твой благодетель-инкогнито?

— Он мелкая душонка,— ответил Морозов.— Сегодня вы в этом убедитесь.

— Ну, положим, я тоже его знаю! — оживляясь, возразил Зимин.— Он работник, каких надо поискать.

— Он мелкая душонка. Боюсь, сегодня вы ничего не добьетесь, но рискуете потерять...

— Нет, я все-таки пойду с тобой.

— Идите. Дело ваше.

Зимин расслабился, засунул руку за спинку, сиденье закрипело. Он что-то пощупал в кармане чехла и спросил:

— Что ты тут возишь?

— Где? — повернулся Морозов.— Термос.

— По-моему, ты неправильно думаешь о нем. Я думаю, когда он умрет, его будут хоронить с военным оркестром по высшему разряду.

— Я уже ничего не думаю,— сказал Морозов.— Я просто знаю.

...Рымкевич, увидев их, на мгновение прикрыл глаза тяжелыми складчатыми веками, отчего его лицо замерло в скорбном выражении. Тут же глаза открылись, блеснули льдистыми белками, и неживая маска старческих черт сразу ожила.

— Все-таки настигли меня! — вымолвил он с легкой иронией, созвучной каким-то его тревогам.

И Морозов подумал: неужели старик ждет расплаты? Однако почему он стремился к ней, какая тоска гнала его на суд? А может, он хотел не суда, но хотел укрепиться в своем зле, сотворенном больше двадцати лет назад отцу Константина, ибо стоило убедиться теперь в слабости ветви, чтобы решить о бессилии самого дерева?

Рымкевич протянул Морозову узкую длинную ладонь:  
— Здравствуй, Петр.

Морозов не принял его руки.

— Его зовут Константин, — сказал Зимин.

— Ты похож на Петра Григорьевича, — сказал Рымкевич, не опуская руки и протягивая ее еще ближе. В интонации его голоса слышалась попытка навязать форму дружеского разговора старшего с младшим и одновременно — то, что Рымкевич ощущает фальшь своего первого шага.

Рымкевич ступил вперед, его рука цепко схватила опущенную руку Морозова, потянула к себе, пожала и очень быстро отпустила.

— Не ершишь, не ершишь! — решительно вымолвил Рымкевич, словно завершив непростое дело. — Пора поближе познакомиться.

Морозов молчал. Когда-то в строгих сумерках трестовского здания он ждал встречи с ним, но до нее в действительности было так далеко, что теперь встретились уже совсем другие люди.

Промелькнули и ушли пожилая женщина с крашеными хной волосами и маленькая девочка в клетчатых брюках на помочах. Рымкевич открыл дверь в комнату, с порога которой была видна огромная книжная полка, закрывающая всю дальнюю стену, и выступающий клавишный отдел старого пианино, стоявшего в ближнем правом углу и наполовину скрытого за простенком.

Рымкевич пропустил сначала Морозова, затем Зимина.

— Извините, конечно, что врываемся к вам... — осторожно сказал Зимин.

— Брось, — ответил Рымкевич. — Поговорить можно только дома. Если бы можно, я бы принимал здесь со всех шахт, чтобы люди чувствовали себя людьми, а не затурканными производственниками.

— Да, демократизма в угольной промышленности не густо, — улыбнулся Зимин.

— Жесткая работа, вот и не густо, — сказал Рымке-

вич неодобрительно.— Ты как считаешь? — спросил он Морозова.

Но Константин по-прежнему молчал, осматривая комнату, в которой что-то тревожно угнетало его.

— Петрович! — окликнул его Рымкевич.

Возле книжной полки выглядывали из-под стула прислоненные один к другому черные ядра гантелей. К окну примыкал двухтумбовый письменный стол, на нем лежали листки с машинописным текстом, стопка тонких детских книжечек с обтрепанными переплетами, необработанный крупный сколок аметиста бледно-фиолетовых оттенков, закрытый горный компас в бронзовом футляре, шариковые ручки, лампа и ракушка обычная морская, продольно-овальная рода Агса. В простенке между окном и балконом висела гравюра доисторического лепидодендрона, напоминающего клубящуюся тучу с голенастой ногой, а у стены стояла узкая кушетка, укрытая пледом.

Осматриваясь, Морозов ощущал на себе взгляды Рымкевича и Зимина.

С крышки пианино смотрели фотографии детей и молодой женщины с крашеными волосами, той, которая поздоровалась с ними две минуты назад. За пианино стоял еще один полированный обеденный стол. Над ним висела большая фотография в застекленной раме: снимок мужчины неполных сорока лет от роду в форме горного инженера с петлицами административного директора второго ранга, что равнялось чину подполковника. Его лицо выражало самоуверенность и какую-то жестокую одухотворенность. Снимок Рымкевича относился ко времени, когда семья Морозовых либо переехала в Старобельск, либо была близка к переезду.

«Нет, я его не простил! — подумал Константин. — Простить — это смириться».

— Я прочитал газету. Вы молодцы, — сказал Рымкевич. — Поверьте, как мы устали проигрывать! Ведь все живут, чтобы набить брюхо, а потом гибнут от ожиренья. Иногда кажется: что-то у нас не так... Но всегда находятся настоящие люди. Всегда.

Он кивнул на книги:

— Когда меня снимали с работы в первый раз, я заперся и вдруг стал читать. Ты выслушай меня, а потом суди. Выслушай, Петрович.

— Меня интересует только одно, — сказал Морозов.

— Я знаю, — ответил Рымкевич. — Но не спешь меня



осуждать, дай сказать... — Он опустил глаза и прикоснулся пальцами правой руки к своему бритому жилистому затылку. — Что-то ломит. Давление...

— К перемене погоды, — вымолвил Зимин.

— Что же молчишь? — продолжал Рымкевич. — Не вежливо это.

Морозов сел к столу, улыбнулся, но ничего не сказал.

— М-да, — сказал Рымкевич, переступив с ноги на ногу. — Ну хорошо...

Константин видел, что тот вполне владеет собой и уже не испытывает неловкости. Он вспомнил отца в форме горного инженера с золотыми скрещенными молоточками в петлицах, вспомнил, как спускались вместе с ним в шахту и мчались в электровозе по тихому темному провалу. Вспомнил строчку из донесения горноспасателей: «Обстоятельства и причины аварии», и тут из воспоминаний вышла простая боль. Он снова был мальчиком в школе, его обвиняли в том, что его отец преступник и его будут судить.

— Твой отец был красивый человек, — сказал Рымкевич. — Внешне — гордец, титан, а характер мягкий. А как он пел?! Голос грустный, сильный... Начнет казацкую песню, а у самого слезы на глазах. Все его любили. Я, наверное, больше всех любил, хоть, бывало, и ругались. У нас много общего. Родились не здесь, наша родина — тихая сельская сторона, а родители переехали в голодный год в Донбасс. Ты знаешь, что такое Донбасс тех лет?.. Нет, мы не мечтали становиться горняками, ничего хорошего в том не видели. Однако стали... Я любил его, и я же испортил ему жизнь. Почему-то так вышло...

Морозов глядел на него. Рымкевич отвел глаза.

Зимин спросил:

— Может, я пойду?

— Стой, раз пришел, — сказал Рымкевич. — У него на участке случились подряд две аварии с жертвами, — продолжал он, с усилием поворачиваясь к Морозову. Его лицо наливалось тяжелой краснотой, в белках разбухали черные прожилки, и он снова прижал ладонь к затылку. — Две аварии... Я исполнял обязанности начальника шахты. Мне было тяжело. И я обвинил Петра Григорьевича... Кто-то должен был отвечать, потому что были смертельные жертвы. Вы уехали. С тех пор я его не видел. Я забыл про него. Мне казалось, что этого со мной не было. Но потом я узнал, что ты вернулся в город...

Он замолчал, провел рукой по темной полированной столешнице, отражающей свет трехламповой люстры. На столе остался тусклый след пота.

Зимин, глядевший на эту белую крепкую руку с круто отставленным большим пальцем и думавший о другой руке, поддерживавшей Морозова, вдруг отошел к балкону.

— Я сяду,— сказал Рымкевич.

Он взялся за спинку стула, но стул как-то косо стукнулся ножками об пол и покачнулся. Морозов поддержал стул.

— Ничего,— пробормотал Рымкевич.

Он не стал садиться. Поколебавшись, Морозов встал.

— Сиди, ты чего?..— сказал старик.

Он разрушался на глазах Константина. Черты лица, собранные воедино выражением внутренней борьбы и отсветом властной привычки, теперь теряли свое единство, как это бывает у сильно усталого человека, который знает, что никто на него не смотрит.

По-видимому, когда Морозов встал, Рымкевич осознал свою слабость.

— Нет, все не так! — вымолвил он.— Мне так только казалось, но объективно... я не обвинял, я был вынужден, как руководитель, составить отчет по форме. Он нарушил правила безопасности. Я не мог, не мог его выручить.

Морозов кивнул. «Если бы отец нарушил, его бы судили,— подумал он.— Рымкевич лжет».

— Впрочем, что я говорю? — сказал Рымкевич.— Все равно не поверите!

Он перешел на «вы».

Он был по-своему прав и в первом случае, когда признался в предательстве, и во втором — когда отрекся от своей вины. Стремясь к внутреннему усовершенствованию, он одновременно заботился и о житейском благополучии. Первое делало его свободным, а второе — лживым. Он захотел найти что-то среднее, безболезненное. Наверное, это-то окончательно разрушило его.

— А вы поверьте! — попросил Рымкевич.— Я не мог выручить вашего отца... Зато я помогал вам. У вас сохранили квартиру. Я был в приемной комиссии, когда вы поступили в институт. Я поддержал вашу кандидатуру на новую должность...

— Вы торопитесь! — сказал Морозов.

— А вы готовы меня судить? — усмехнулся Рымкевич.

— Занимайтесь этим сами.

— А что вы знаете обо мне? Что вы знаете об одиночестве, когда приходят ночные мысли? Я решил встретиться с вами и все объяснить...

— По-моему, отец простил вас,— сказал Морозов.— Или простил, или забыл, или презирал, но он вспоминал без зла. Он был просто лучше вас и знал это.

— Да, он был лучше... А может... может, вам нужна моя помощь?

— Нет, не нужна.

Рымкевич оглянулся на Зимина. Сергей Максимович смотрел в окно, как ветер гнет темные деревья.

— Сергей, нужно помочь? — повторил Рымкевич.

— А чем вы поможете? — покачал головой Зимин.— Нет, спасибо.

— Как? — воскликнул Рымкевич с оттенком прежней властности.— Возьми на столе записку твоего Халдеева. У него целый план реконструкции.

— Ладно,— нехотя сказал Зимин.

Лицевые мускулы напряглись, рука потянулась к столу, но, не достав, опустилась.

— Валентин Алексеевич, я слышал весь разговор,— произнес Зимин с сомнением и тревогой.— Я хотел уйти, но вы меня удержали. Я хочу сказать, что думаю про все это.

— Ну, давай,— ответил Рымкевич, хорошо знающий свои отношения с начальником шахты.

Зимин несколько мгновений смотрел вверх. Тон, которым говорил он, не оставлял сомнений, что Зимин решил осудить Рымкевича. Но чем дольше затягивалось молчание, тем яснее становилось Морозову, что Зимин не решается сказать то, что хотелось ему сказать. Несколько мгновений на невидимых весах невыразимо тоскливо раскачивались два желания: быть справедливым или быть благополучным.

— Я вам не судья,— тихо произнес Зимин. Он нашарил на столешнице докладную записку Халдеева, и ссутулившись, уткнулся в нее. По всей вероятности, в этот миг он был благодарен за эту неожиданную записку, которой Халдеев наверняка желал укрепить свои позиции перед возможными переменами.

Глаза Рымкевича подернулись сухой бестрепетной пленкой. Они стали похожими на глаза деда Григория Петровича Морозова, когда тот предавался воспомина-

ниям. На его лице теперь составилось выражение какой-то жесткой одухотворенности, словно не было ни разрушения, ни раскаяния. Тяжелая краснота лба и висков и расширенные гипертонией глазные сосуды, как это ни удивительно, не напоминали о волнении, они просто казались естественными признаками пожилого возраста.

«Вот все и кончилось,— сказал себе Морозов.— Мягкотелый интеллигент... Что я могу? Я безоружен. Мне не под силу расквасить ему рыло, хотя у меня крепкие мускулы. Я даже не смогу сорвать со стены портрет и расколотить вдребезги. То есть могу, но не вижу в этом смысла. Он остается безнаказанным».

— Надо выпить по рюмке,— Рымкевич подошел к шкафу.

«Он ждал нашей встречи,— продолжал Морозов.— Но испугался той правды, которую собирался сказать. Он презирает себя...»

Константин улыбнулся, шагнул к Зимину и заглянул сверху через плечо в машинописный текст.

«...Крайне важно продумать замену двигателей подъемной машины на высокооборотные (1000 об/мин.)...»

— Интересно? — спросил он.

— Что интересно? — ответил Зимин.— Это? Проект!.. Кто нам даст время и оборудование?

Голос его был чрезмерно энергичен.

«Нет, я не безоружен,— сказал себе Морозов.— Я не безоружен, что бы ни происходило.»

Он повернулся к Рымкевичу, разливавшему коньяк в рюмки.

— Вот и все, Валентин Алексеевич,— вымолвил он.

Рымкевич поднял голову. Рюмка наполнилась, коньяк потек на стол. Пахло приторно-ванильным запахом.

— Я знаю, что делается у вас в душе,— сказал Морозов, глядя в его удивленные беспокойные зрачки.

Послышались бегущие мелкие шаги, в комнату вбежала девочка лет пяти, в ночной длинной сорочке и в мягких тапочках на босу ногу. Она остановилась на пороге.

— Спокойной ночи, бабушка,— сказала она, хмуря толстые брови.— Ты не будешь рассказывать сказку?

Рымкевич посмотрел на нее, потом на Морозова, и Константин его понял.

— Ты знаешь, кто твой дед? — спросил Морозов у девочки.

— Спокойной ночи, Вика! — торопливо сказал Рымкевич.

— Мой дедушка — шахтер, — по-прежнему хмурясь, ответила она.

Морозов покачал головой.

— Мой дедушка — шахтер! — повторила Вика. — Я знаю!

— Он хороший человек, правда? Он тебе должен рассказать, что такое мужество и гордость. Ты его запомнишь таким, когда вырастешь?

Девочка почувствовала в словах незнакомого взрослого что-то пугающее и с надеждой обернулась к деду, но Рымкевич в этот миг видел, наверное, только Морозова.

— Петрович, — мрачно и жалко говорил он, — Петрович, оставь ее...

— Таким ты его и запомнишь, — с усилием улыбнулся Морозов. — Иди, девочка. Спокойной ночи.

И он ушел из этого дома, ушел свободнее, чем входил в него, ибо теперь Константин окончательно предал забвению вину Рымкевича.

\* \* \*

Ночью Валентина Алексеевича Рымкевича поразила невыносимая боль в затылке и левом виске. Он увидел вспышку белого огня, кто-то поманил его с полуулыбкой на юном строгом лице. И Рымкевич почувствовал, что он сейчас умрет.

«Это сон! — подумал он. — Я сплю!» Но он знал, что не спит и что никто ему не поможет.

На улице шумел ветер. В просвете между шторами качалась тень акации, заслоняющей кроной фонарь. У окна молча стояла мать Рымкевича. Она умерла в тысяча девятьсот сорок шестом году.

В глубине его мозга лопнул какой-то засов, распахнулась какая-то дверь, куда схлынула боль. Мать подошла к нему и накрыла одеялом половину тела.

Рымкевич почему-то вспомнил, что ее звали в поселке не по имени, а по кличке — Пятая. Она оставила своего мужа, когда его выдали на-гора с перебитым позвоночником. До нее в поселке было всего четыре женщины, отправившие мужей в дом инвалидов, но люди, презирая предательство, наказали только мать Рымкевича, лишив ее имени. Не было ни Первой, ни Четвертой, но был какой-то предел, за которым не стало терпения молчать. Наверное,

кто-то удивленно вымолвил: «Это пятая!» — и она должна была принять кличку вместо имени.

...Утром Рымкевича обнаружили парализованным, отнялись правая рука и нога, пропала речь. «Неотложка» приехала быстро, но не могла помочь.

Всех домашних охватил ужас, и все мысленно укоряли больного, предвидя многие тяжелые заботы. Горе, эгоизм, пустая суета возле умирающего — это определяло общее настроение дома в то утро. Всем казалось, что Рымкевич ничего не видит и не слышит, но он внимал с жадностью последним мгновениям жизни и только не мог произнести ни слова.

— А дедушка еще спит? — весело спрашивала кого-то Вика. Должно быть, ее уже собрали в детский сад. — А почему мы не поедem на машине?

— Сломалась машина, — ответил сдавленный женский голос.

Рымкевич застонал, замычал что-то. «Приведите Вику!» — хотелось крикнуть ему.

— Ну идем! — поспешно произнес голос. Щелкнул дверной замок. Внучку увели.

Над ним склонилась женщина с крашенными хной волосами. Ее лицо было мучнисто-белым, полные щеки и подглазные полукруги оттянуты вниз тяжестью лишней кожи. Он встретился с ее заплаканными жалкими глазами и замычал: «Вику!»

— Дать воды? — спросила жена.

Он ударил левой рукой по одеялу.

— Сейчас снова будет врач. Лежи спокойно, не надо волноваться.

Ее подбородок вздрогнул, и бледные синеватые губы горестно сомкнулись, как будто удерживая плач.

Рымкевич отвел руку назад, нащупал спинку кровати и, подтягивая омертвевшую половину тела, попытался пригнуться. Она схватила его за пальцы, стала отрывать их от спинки. По его лицу тек обильный пот.

— А-а — пугающе тоскливо сказал Рымкевич.

— Чего тебе, Валюша? — спросила жена.

Он закрыл глаза и тихо повел рукой, отпуская ее. Но жена не уходила. Было слышно ее дыхание и редкие всхлипы, которые она старалась подавить.

«Бедная ты моя! — пронеслось у Рымкевича. — Бедная старая моя женка! Как тебе было со мной трудно... А станет еще труднее. Своим детям уже не нужна, а меня уже

нет. Походишь за Викой еще год, до школы, и заторопишься. Ждет тебя одиночество, я бросил тебя...»

Кровать закачалась и поплыла. Подул ветер, пахнувший сырой холодной землей. По подушке побежал быстрый солнечный свет, остановился и пропал, закрытый каким-то темным силуэтом, похожим одновременно на облако, дерево и человека. Запахло автомобильными газами. Качка прекратилась, и под тихие незнакомые голоса кровать медленно закрывалась стенами и потолком. Низкий потолок скользил над Рымкевичем и вдруг уперся в согнутое колено парализованной ноги, сначала — осторожно прикоснулся, потом нажал с силой, и колено приподнялось еще выше. Движение замерло из-за сопротивления разбитого тела. Из полузакрытых глаз выкатились слезы.

От боли он понял, что с ним делают. Он лежал на носилках, которые заталкивали в машину «скорой помощи», это была «Волга»-универсал устаревшей модели. Рымкевич не видел людей. Ему показалось, что за ручки носилок держатся сын и дочь, — они всегда торопились. Но он сейчас был в их власти, с ним могли делать что угодно... И страшнее боли стала страшная мысль, что его бросят в каком-нибудь инвалидном доме. Кто-то освободил ногу, и потолок машины закрыл небо над Рымкевичем, однако испуганное сознание теперь напряженно боролось с дремотой.

В то солнечное холодное утро в городских больницах было много новой печальной работы. Где-то за облаками разворачивались слепые силы, по широкому руслу от Карского моря до Азовского неслись океаны ветра, стучали в окна домов и сжимали сердца людей.

...Морозов проснулся рано, ощущая непривычную сонливость. Среди ночи он просыпался: к кому-то вызывали «неотложку», кто-то кричал во дворе: «Скорее! Сюда!» Разбуженный, он не мог сразу заснуть, и ему казалось, что надо куда-то спешить.

Он перебирал в уме возможные причины своего состояния и отвергал их одну за одной: ни любовь, ни свободное дело, ни семейные предания, ни карьера не могли сейчас пробить броню, которая окружала Морозова. Ему нечего было желать. Но какой-то неслышимый звук тревоги проникал сквозь стены, какие-то глухие глубины памяти излучали сигнал опасности, не похожий ни на что определенное, невнятный и загадочный.

«Я устал,— думал Морозов.— Ветер за окном вызвал чувство одиночества. Не надо поддаваться...»

И он заснул тяжелым сном.

Ночью позвонила Людмила. Откуда-то она уже знала, что Константин не доехал до Старобельска, и была испугана мыслью об аварии. Звонила, не надеясь застать его дома. Но — застала, обрадовалась.

Морозов нашарил в темноте шнурок торшера и включил свет. Часы показывали половину первого.

— Ты где?— спросил он.

— Да так... в гостях,— с пренебрежением ответила Людмила.— Вот вспомнила про тебя.

Наверное, она хотела встретиться: ведь ни Старобельска, ни свидания с Верой не было, а был только один разговор о поездке, который теперь стал сном, бесплотной игрой подсознания, фрейдистскими штучками и чем там еще?.. Людмила жила по своим открытым и чуть-чуть циничным законам.

Поэтому сейчас Константин ждал от нее прямолинейного вопроса: «У нас с тобой все по-старому?»— и не знал, как отвечать.

Если допускать, что возможна градация любви, любовь с первого взгляда, первая любовь, вторая, третья, супружеская, отношения любовников, простой адюльтер...— то получается многообразная и противоречивая картина едва ли не главного явления жизни, которая будет всегда шире отношений одного мужчины и одной женщины. Но что такое — любовь?..

Любовь Морозова к Людмиле не исключала его любви к Вере, настолько это были разные чувства.

Но он не дождался ее вопроса: «У нас с тобой все по-старому?»

Она сказала, что виделась с Верой. Вера уже приехала из Старобельска и, когда узнала о его путешествии, не смогла скрыть радости. И еще Людмила сказала, что Вера до сих пор не замужем, пережила неудачный роман, но выглядит просто очень хорошо для своих двадцати девяти лет.

В том, что с подчеркнутой объективностью говорила Людмила, раскрывались два ее желания, и каждое стремилось подавить другое.

«Ты хочешь ее, вот она!»— это говорил друг.

«Она столько лет была тебе чужой!»— это говорила женщина.



По-видимому, происходило необъявленное прощание, без слез, без упреков, под защитой самоиронии,— так, как принято в наши дни.

— Позвони ей, и сейчас же она придет к тебе,— подсказала Людмила.

— А ты?— спросил он.

— С меня достаточно, что ты уже дома.

Она опустила трубку.

Морозов понял, что не хочет встречи с Верой. Каким бы современным человеком он ни казался себе, как бы ни допускал многовариантность любви, но, представив лицо взрослой женщины, которое увидел несколько дней назад, возвращаясь с шахты, вспомнив ее девочкой на зеленом берегу Айдара, вспомнив, как они искали дом Гаршипа, как он шел по обледенелому карнизу к ее окну, как НЕ поехал в Старобельск, Морозов сказал себе: «Я всегда буду ее любить. Для этого не обязательно встречаться. Все!»

## XV

Утро естественно освободило Константина от ночного беспокойства. Привычки руководили им. Он поставил чайник на плиту и пошел умываться, чтобы через несколько минут заварить чай, побриться, поджарить яичницу с брынзой, выпить настоявшегося чаю и идти из дому.

Собравшись, он подошел к окну и долго смотрел во двор.

Из соседнего подъезда вышел толстый мужчина с большим портфелем. Ветер задрал полу его плаща и облепил вокруг ног брюки. «Валерка Сагайдак,— подумал Морозов.— Вот так и живем, дружок...»

Он с улыбкой проводил взглядом товарища своего детства, потом взял с письменного стола сложенный вдвое листок, оставленный Людмилой, и стал читать:

«Чтобы спокойно принимать свои поражения, необходимо научиться реально смотреть на самого себя и окружающих, необходимо с ранних лет учиться проигрывать.

Кто не любит, пребывает в смерти.

Для человека, живущего в страхе и ненависти,— мир тесен, мрачен, грозен и бесцветен. По закону иррадиации эмоции, направленные на одного человека, излучаются на

всех и все. Любя одного — любят весь мир, а ненавидя — ненавидят все вокруг, а вместе со всеми и самого себя.

Если последней целью негативных эмоций становится разрушение, то таким эквивалентом позитивных эмоций является созидание и слияние с окружающим миром в сексуальном акте. Это единственный способ противопоставления смерти благодаря сохранению бессмертия культуры и жизни вида».

В конце листка рукой Людмилы было добавлено: «Видишь, как просто? Ведь мы живем только потому, что любил и до нас. Согласен?»

Морозов выдвинул ящик, сунул туда листок и разорванную фотографию Веры и вышел из дома с беспокойным предчувствием. И он был благодарен Людмиле. За что? Он не знал, за что. Ему показалось, что она поворачивает его к новой действительности, которую он не видел, но о которую больно ушибался. И он подумал, что все Морозовы отличались такой слепотой, дед был спасен бабушкой, а отец погиб; а кто спасет Константина?

Между ветровым стеклом «Запорожца» и почернелыми рычагами «дворников» застряли опавшие листья.

В кабине слабо пахло бензином и еще тем, чем всегда пахнет старая машина, — резиной и маслом.

Морозов захлопнул дверь, выжал сцепление, повернул ключ в замке зажигания и в положенное время оказался на шахте, сначала — на ее верхнем уровне, потом — внизу, где-то рядом со своими коллегами Аверьянцевым и Грековым.

Белый день остался за его пределами, наступила добычная смена.

На участке Грекова заканчивался ремонт двухпутевого уклона, разбитого «орлом».

У Аверьянцева вчера добыли полтора суточных плана, и в связи с этим часть грековского порожняка была переброшена ему.

Общее равновесие по-прежнему поддерживалось устойчивым и напряженным состоянием всех трех участков. Любая случайность могла опрокинуть его.

Ночью у Морозова ремонтировали подъездные пути.

Несколько рядов новых шпал выделялись светлыми прямоугольниками. На них лежали сине-черные с ржавыми пятнами новые рельсы. Они не были никак закреплены. Их можно было сбросить толчком ноги.

А наверху считалось, что здесь все закончили. Где-то произошла неувязка, и движущаяся машина производства, еще как будто управляемая руководителями, на самом деле двигалась, никому не подчиняясь.

Увидев разобранные рельсы, бригадир Лебедеенко ощутил досаду и презрение к тем, кто работал здесь ночью.

— Гнилухи! — сказал он. — Совсем совесть пропилили... Константин Петрович, пожалуй, нам придется и тут вкалывать.

— Мы вынужденно отдохнем, — поправил его Хрыков, улыбнувшись плутоватой дурашливой улыбкой.

— Свиныя грязь найдет! — Лебедеенко пресек намек ленивого парня. — Надо установить рельсы.

Издалека приближалось желто-белое пятно электрического света. Кто-то шел по штреку.

— Так, — произнес Морозов.

— Ладно, чего там! — легко сказал Кердода. — Дело ясное. Скупой платит дважды, а ленивый делает дважды.

Он заглянул в вагонетку, достал из нее тяжелый молоток, именуемый «понедельником», и бросил его на рельсы.

— Будущий стахановец, — усмехнулся Хрыков. — Давай выслуживайся...

Кердода пожал своими узкими плечами и поглядел на Морозова, ожидая, должно быть, что тот ответит Хрыкову.

«При Бессмертенко так не разговаривали, — подумал Морозов. — А при мне — заговорили».

— Придержи-ка язык, — сдержанно сказал он.

— Все, молчу, — насмешливо ответил Хрыков. — Мое дело телячье.

Из глубины штрека появилась человеческая фигура. Через минуту молоденький мастер ремонтно-восстановительного участка рассматривал рельсовый путь и, скрывая недоумение, хмурил свой гладкий лоб.

— Я не готов принять решение, — наконец сказал он нелепым тоном киногероя. — Надо посоветоваться.

— Здесь весь инструмент, — кивнул Лебедеенко.

— Ты только нам покажи, как делать.

— Вы не суетитесь, — посоветовал мастер, подчеркивая вежливое обращение на «вы». — Каждый должен нести свой чемодан. Занимайтесь своими делами. Все будет в порядке.

Может быть, он был прав, прочитав какую-то книгу по управленческим проблемам и руководствуясь отвлеченными идеями, но в нем было видно то, что всегда оскорбляет

людей,— равнодушие. Ему бы простили неопытность, резкость или даже глупость, а вот равнодушие вольно или невольно вызвало к нему враждебность.

— Мальчик, а как вас зовут?— улыбнулся Хрыков.

— Моя фамилия Струков,— с холодной вежливостью ответил мастер.

— Ну так струкайте вы отсюда!— сказал шахтер.— Веселее — струк, струк!

Он, наверное, думал, что Струков вспыхнет и наговорит смешных глупостей, но мастер как будто не услышал его, высокомерие послужило ему защитой. А Хрыков, почувствовав свое бессилие, больше ничего не стал говорить, нарочито отвернулся.

Было видно, что в коротком поединке мастер по крайней мере не проиграл. Правда, это ничего не меняло. Он по-прежнему олицетворял собой распространенное современное зло, олицетворял еще в большей степени, чем прежде, ибо, показав, что обладает характером, обнаружил общеизвестную неуязвимость своего порока.

Нет, Струков не хотел помешать бригаде. Он стремился к порядку, чтобы противопоставить свою волю вязкой бесформенной действительности. Все попытки самостоятельности привели бы еще к большему беспорядку. Он должен был твердо защищать дисциплину, только это делало его сильным.

— Эх, Струков, Струков!— покачал головой Лебеденко.— Жалко мне тебя. Ты парень еще молодой, от твоего поведения вся твоя судьба зависит. Разве тебе не сказали, что здесь начали ремонт по личному приказу...

— Кого? — спросил Струков.

— А это пусть тебе наш начальник объяснит.

— Так по чьему же приказу?— Струков повернулся к Морозову.

— По какому там приказу!— усмехнулся Морозов.— Нам сказано, мы и делаем.

— Ну а кто же распорядился?— снова спросил Струков.

Ему бы промолчать и остаться на своей неуязвимой позиции, стоя на которой ему ничего не надо было от добычников, но своими вопросами он высунулся на приманку Лебеденко за пределы своего безразличия, не понимая, что отдает инициативу в чужие руки.

— Зимин распорядился, ясно?— Лебеденко хлопнул

мастера по плечу.— В общем, действуй, парень... Мы пока перекурим.

Он окликнул Кердоду, словно приглашая его к шуткам, и присел на уложенные возле стены шпалы.

Кердода примостился рядом с ним, скинул с головы каску и стал поправлять зажим лампы. Без каски он казался подростком рядом с большим Лебеденко.

— Ну как дома?— спросил Кердода.

— Ничего, нормально,— ответил бригадир.— А у тебя все по-старому?

— По-старому. Дети растут, мы стареем.

Лебеденко кивнул, соглашаясь с этой истиной. Вчера вечером он отвез к тестю два чемодана с одеждой жены. «Зайди, Нина у себя»,— сказал тесть. «Если захочет меня увидеть, эту неделю я хожу в первую смену»,— ответил Лебеденко и ушел.

Но Кердода, спрашивая о домашних делах, скорее всего спрашивал без всякого умысла. Что он мог знать о Нине? У них было общим только одно — шахта, лава, план, вот этот мастер Струков...

— Краткий перекур с дремотой!— объявил Хрыков и тоже сел рядом с Лебеденко.

— Что же вы предлагаете?— спросил у Морозова Струков.

— Можно через сбойку выйти на первый участок, взять рабочих с грековского уклона.

— Как? Самовольно перевести их сюда?— удивился мастер.

— Надо уметь брать на себя ответственность,— сказал Морозов.— Впрочем, ты ничем не рискуешь, ведь есть приказ Зимина... Через пару часов они освободятся.

Но мастер не поверил, стал звонить в нарядную своего участка — не дозвонился и тогда вызвал диспетчера Кияшко, который, конечно, не слышал ни о каком распоряжении. Только неуверенность Кияшко, не позволившая ему сказать ни да, ни нет, выручила Морозова.

— Это, похоже, и в самом деле так,— ответил диспетчер мастеру.— Ситуация все время меняется... Позвони-ка главному инженеру.

— Некогда мне разванивать!— сказал мастер.

То, что сделал Морозов, было самоуправством и анархией, однако у него появилась возможность одолеть неожиданную преграду. И если он ее одолеет, если даст се-

годня добычу, то никто не будет обвинять его. Либо промолчат, либо похвалят за инициативные действия.

Он рискнул, даже не раздумывая о моральной ценности своего решения.

Он столкнулся с обычной неувязкой. Такой же, какая была накануне спасательных работ в затопленной шахте, когда потеряли двигатель транспортера. То случилось несколько дней назад, но с той поры многое изменилось. Морозов отказался от Веры и простился с юношескими мечтами «Ихтиандра».

Нет, все же это была не очень обычная неувязка, из тех, к которым привыкли и развратились из-за привычки их терпеть. Морозов увидел ее так, как будто она была первая в его жизни, как будто не существовало мысли, что, если понадобится, бригада поработает до горького пота, а все службы поднатужатся и, прихватив у месяца воскресные дни, героически взгромоздятся на плановую высоту.

Морозов осознавал в себе лишь то, что отличало его от других. Там, где он был подобен тысячам людей, он был лишен возможности сравнивать свой внутренний опыт с чужим; он был листком в кроне дерева или каплей в реке, которые ничего не изменяют в общем движении природы. И наверное, поэтому крепче всего Константина роднило с другими людьми его отличие от них.

Морозов понял, что неувязка унизила его. Ему стало неловко перед юношей Струковым, потерянно стоявшим рядом с ним, не решающимся идти за рабочими к Грекову.

Морозов взял его за руку:

— Отойдем-ка...

— Зачем? — дерзко спросил Струков. — Бардак был — бардак и останется, если мы не помешаем... Только мы с вами! Кто-то должен говорить «нет». Я думал, что вы такой человек.

Среди шахтеров затих разговор. Все насторожились, угадывая, что последует за словами мастера, пойдет ли он за ремонтниками?

Вспышка Струкова вызвала в Морозове желание ее подавить, но ведь когда-то, начиная на шахте, Морозов думал точно так же, как теперь говорил мастер, и втянулся в дело «Ихтиандра» потому, что искал выхода...

— Да, ты прав, — сказал Морозов. — Я искренне на твоей стороне...

— Утешаете? — усмехнулся Струков.— Не надо. Сегодня я проиграл, но завтра!..

— Я все-таки на твоей стороне.

— И посылаете меня на уклон? Вы?!

— У нас нет другого выхода.

— Но кто-то должен сказать «нет»,— покачал головой Струков.— Кто-то должен стать заслоном. Кажется, вы раньше,— понимаете, когда-то раньше! — могли быть на моей стороне. Но теперь вы уже не можете, а я... я еще не могу.

И, сказав это, Струков укоризненно посмотрел в глаза Морозову, как смотрят дети. Потом он посмотрел на Лебеденко и бригаду, и никто ему не ответил, потому что в его словах и взгляде было что-то общее для них всех. Кажалось, взгляд Струкова говорил: «Немногие начинают эту борьбу, редко кому достает мужества, но мысль о ней живет в каждом».

Он ушел, хрустя сапогами по гравию. Его фигура темнела в сумерках, потом осталось зыбкое излучение лампы и вскоре скрылось.

Стояла необыкновенная тишина.

Минут через десять на участке появились ремонтники, но их привел не мастер, а начальник участка Богдановский. К тому же с ним был и главный инженер Халдеев.

Морозов начал объяснять причину простоя, Халдеев успокоил его:

— Знаю, Константин Петрович!.. Сейчас все будет в порядке.

На лице Кивалы поблескивали влажная кожа лба и стекла очков. Наверное, он торопился сюда.

— Как такое могло случиться?! — спросил Морозов.

— Виноватых мы накажем... Скажите, как это отразится на плане?

— А как вы сами думаете? — съязвил Морозов.

— Ну не надо так. Не переживайте. Обычная неувязка... Да! Я не поздравил вас. Поздравляю. В статье о вас хорошо написано. Большой был риск?

— Не больше, чем здесь,— сказал Константин.— Вы не хотите поговорить с бригадиром? Он там возле ремонтны...

Кивало поглядел, прищурившись, как Лебеденко ругается с Богдановским, и улыбнулся:

— Пусть толстяк сам отвечает за свои ошибки.

Тем временем ремонтники начали закреплять рельсы. Они работали угрюмо, ловко и молча.

Вышедшая из управления производственная машина неожиданно самоотрегулировалась и лишила смысла попытку Морозова поправить положение своими силами.

Вот-вот должен был появиться Струков с другими рабочими.

Все могло закончиться бесславным скандалом на глазах бригады. Еще не поздно было послать кого-нибудь на перехват Струкова, но Константин медлил, не зная, на ком остановиться.

Ему не хотелось ни перед кем обнаруживать свою ошибку, хотя она была очевидной. Казалось, что никто не обратит на нее внимания, пока он сам не скажет о ней.

Это был приступ стыдливого малодушия, которое осознавалось не как малодушие, а как желание сохранить свой авторитет.

И все же это было неполной правдой. Ошибка, авторитет, осуждение — что они значили в сравнении с тем чувством слабости, которое он не мог не испытывать и которое побуждало преодолеть ее? Нет, они мало что значили.

Тут была другая причина: Струков.

Он был младше Морозова на десять лет, и ему еще предстояло постичь то, что понял Морозов, привязать себя к цепи жизни, в которой ты временно станешь последним звеном. Он был лучше и слабее Морозова, потому что еще не смел нарушить свои внутренние правила. От него потянулось смутное воспоминание об отце и Рымкевиче, один из них тоже был лучше, а второй — сильнее...

Морозов подошел к Хрыкову и сказал ему перехватить Струкова.

Все шло своим ходом.

Он не заметил, как Лебеденко остановил Хрыкова, и не знал, что бригадир говорит: «Ты их не найдешь. Они должны прийти сюда». Теперь ошибку пельзя было поправить.

Борьба за первенство далеко не заканчивалась. Она входила в горячую полосу, вынуждала Морозова разрушать свой прежний образ второразрядного исполнителя и силой добиваться равенства с теми, кто видел в нем выскочку.

Хотел он или не хотел, но она началась без предупреждения с чьей-либо стороны, и, хотя Морозов мог ее легко предвидеть, он оказался не готовым к ней. Константин не



понял простой закон человеческой группы, ставивший новичка на последнее место; он еще жил старыми представлениями о себе.

Тем временем начальник участка Греков, у которого Струков забрал путевых рабочих, шел вместе с этими рабочими и мастером на участок к Морозову. Он был взбешен, накричал на Струкова, но, столкнувшись с его спокойной твердостью, догадался разделаться со своим главным сегодняшним соперником, с Морозовым.

Прием, использованный Морозовым, назывался «тянуть одеяло на себя» и применялся Грековым постоянно, принося конфликты и удачу. Жажда преуспевания побуждала устранить препятствие.

Он шел широкими шагами, часто оглядываясь на путейских и злясь на них. Выйдя к вентиляционной двери, перегораживающей штрек, как заслон, он остановился. Дверь была сколочена из толстых сосновых досок. Был слышен шум пробивающегося сквозь какую-то щель воздуха.

— Веселей шагай! — крикнул Греков.

Путейские не прибавили шагу. Когда подошли к двери, Греков чуть отступил, пропуская их вперед. Струков взялся за толстую ручку и потянул на себя. Дверь не поддавалась. Он дернул, но она снова не раскрылась. Струков схватился за ручку обеими руками и рванул изо всех сил. Только тогда дверь медленно стронулась с места, освободив сильный ветер.

— Ишь как присосало! — заметил один из рабочих.

Струков подождал, пока они не пройдут, и выжидательно поглядел на Грекова.

Греков хотел ему сказать что-то злое, но увидел в глазах парня, что тот знает, что Греков не упустит возможности обидеть, и промолчал.

Вскоре они были на участке Морозова.

Встретив здесь главного инженера и Богдановского, Греков подумал, что ему повезло. Чем выше было препятствие, тем сильнее поднималось в нем желание разрушить его. И, не принимая во внимание, что Струков мог действовать по приказу Халдеева, Греков, импульсивно улыбнувшись, кинулся к Морозову.

Константин понял, что скандал неизбежен.

— Не ждал меня? — без приготовлений начал Гре-

ков.— Думал, сойдет? А я руки поотрываю за такие кавказские штучки. У меня умыкнуть — это ж надо наглости набраться, Морозов! Вон привел для тебя, забирай! — он мотнул головой в сторону Струкова.— Забирай!

— Можешь уводить обратно,— сказал Морозов.— Я послал человека предупредить, чтобы они остались у тебя. Видно, разминулись...

Он пожал плечами, испытывая видимую неловкость, которая сразу стала ясной Грекову.

Ни Халдеев, ни Богдановский еще не поняли, что случилось. Но Халдеев, кажется, уже догадался, что появление Грекова лично ему не принесет особых сложностей, и поэтому смотрел с любопытством: его глаза закрывала тень каски, а от ярко освещенного седловидного носа спускались к углам рта две складки, левая тоже освещенная, правая — затемненная.

В отличие от него Богдановский хмуρο слушал перебранку и косился на стоявшего рядом Струкова. Толстый, в расстегнутой спецовке, с обтянутым белой рубахой животом, начальник участка внутришахтного транспорта переступал с ноги на ногу и медленно приближался вплотную к Грекову и Морозову, словно его притягивало.

Почувствовав неуверенность соперника, Греков быстро повернулся к Халдееву:

— Надо научить молодого руководителя элементарным истинам! Или это с вашего ведома у меня снимают рабочих?

— А в чем дело? — спросил Халдеев.

— Это я решил взять людей! — вдруг заявил Струков.

Лучи трех ламп скрестились на его лице, отразились в зрачках белым огнем и отодвинулись, чтобы не ослеплять. На Морозова повеяло чем-то давним, какими-то добрыми надеждами и горечью. Ему почудилось, что невысокий паренек хочет что-то объяснить ему — поставить перед ним зеркало.

— Это мое решение,— продолжал Струков.— На уклоне еще много работы, а здесь можно закончить очень быстро. Я позвонил к нам на участок, но там никого не было. Тогда я решил...

— Что ты берешь на себя? — остановил его Богдановский.— Не мог ты сам решить. Тебе подсказали!

Халдеев кивнул и улыбнулся:

— Так-так, Валентин Валентинович, интересно... Не будем здесь выяснять отношения. Греков, забирайте сво-

их и идите работать. А вы, молодой человек, напишите объяснительную... Вопрос исчерпан?

— Альтруисты! — усмехнулся Греков. — Набрали детский сад... Сколько можно ждать, когда мне отремонтируют уклон? Я требую, чтобы Богдановский дал еще людей!

Он забыл про Морозова, он теперь жаждал немедленно подавить и Богдановского и навязать всем свою волю.

— Вы не можете меня оскорбить, — ответил Струков. — Вы рвете с других участков самое лучшее и считаете себя порядочным человеком?

— Ты, сопляк! — бросил Греков.

— Товарищи! — воскликнул Халдеев, взмахнув руками и заслоняя Грекова, как будто тот мог кинуться на Струкова. — Вы же ИТР! На вас смотрят! Богдановский, уймите своего мастера. А вы, Греков, не мальчишка, надо выбирать выражения.

Но он был бессилён остановить Грекова, и его просительный тон отражал это бессилие.

— Можешь искать себе работу! — сказал Греков.

— А я не у вас работаю, — ответил Струков.

— Ничего, все равно ищи. Таких работников никто держать не станет.

— Ну, ладно-ладно! — прикрикнул Халдеев. — Я сказал, хватит!.. Чтобы объяснительная была у меня.

— Хорошо, — согласился Струков. — Я не отрицаю своей вины.

И он улыбнулся Морозову, словно говоря: «Ничего, я устою. Я их не боюсь». Снова Морозову почудилось странное зеркало, в котором он отражался.

«Может быть, природа каждому из нас высылает дублера, — мелькнуло у него. — Кто-то должен устоять...»

— Оставьте Струкова! — мрачно сказал Морозов. — Прошу всех посторонних покинуть участок... Убирайтесь вон!

Через несколько минут посторонние ушли. С их уходом что-то завершилось в молодой жизни Морозова, но что-то и приоткрылось.

Стучали гаечные ключи путейских. Тяжелые рельсы соединялись накладками. Потом для проверки по ним прогнали вагонетку с гравием. Железные колеса отбили на стыках цокающую сдвоенную дробь. Дело было сделано.

Морозов посмотрел на темные хлысты новых рельсов. К полудню с них сойдут сизоватые лица и ржавчины, об-

нажится полоса стального блеска, и их будет трудно отличить от старых.

— Как настроение? — услышал Константин голос Лебеденко. — Даем стране угля?

— Начинай, Михалыч!

— По-ударному, как это умеет Лебеденко?

— Само собой, на тебя вся надежда, — улыбнулся Морозов.

— А знаешь, это я сказал Хрыкову, чтобы он их не останавливал, — произнес Лебеденко, тоже улыбаясь. — Для вашей же пользы.

— Ну? А тебе не стыдно?

— Стыд не дым, глаза не выест. Вот я перед вами, какой есть, Лебеденко Николай Михалыч, и без меня вам не обойтись.

— Пока не обойтись. Только пока, — сказал Морозов. — Потом ты вдруг останешься один.

— Туманно грозите, — ответил Лебеденко. — А я скажу лучше. Не будете давить бригаду — и всем будет хорошо. На Лебеденко можно положиться. Пусть даже я останусь один.

...В то солнечное ветреное утро, когда в больнице угольного комбината, в отдельной палате, по соседству с палатой Бессмертенко, умирал Валентин Алексеевич Рымкевич, когда на трех добычных участках шахты работали ликующий Аверьянцев, злой Греков и задумчивый Морозов, когда комбайн Кердоды на предельной скорости врезался в черный пласт, а электровозы несли груженные составы к главному стволу, — в то утро Зимин позвонил в трест, надеясь на встречу с Рымкевичем.

Весть о болезни управляющего ошеломила его. Сколько он помнил себя, Рымкевич был вечен.

Неясная тревога охватила его, и он, перебирая возможные ее причины, связался с диспетчером, чтобы знать свое истинное положение. Вчерашняя сводка, лежавшая перед ним на вчерашней газете, уже не радовала Зимина. Она была правдива и слепа. Он не верил в ее хорошие цифры. Наверное, такой же лист бумаги сейчас немо лежал и на столе Рымкевича. Теперь не стало надежды.

Каким бы тяжелым ни был старик, как бы ни доставалось от него Зимину, но только с ним можно было поднять славу рекорда. Он бы рискнул..

Зимин вспомнил холодные светло-серые глаза первого заместителя управляющего Назарова, который должен был автоматически принять дела Рымкевича; этот умный, расчетливый человек увидит только то, что скажут ему сводки, и не пожелает рисковать ради чужого азарта.

«Эх, Валентин Алексеевич! — упрекнул Зимин старика. — Как же быть?»

«Вот меня бы назначили!» — с неожиданной беспечностью прилетела мысль. И Зимин повернулся вместе с креслом. Он увидел себя на месте Рымкевича — открывается дверь кабинета, по-хозяйски шагает высокий поджарый Виктор Данилович Назаров и вдруг видит: за столом сидит Зимин. И тогда что с Назаровым случается?

Почти минуту Зимин был заморожен своим воображением. Потом неохотно вернулся к реальной действительности и стал составлять первую фразу для разговора с Назаровым: «Какие печальные новости...»

Нет, это показалось фальшивым, ведь первому заместителю повезло. Может быть, следовало начать так: «Черт возьми, что за жизнь! Но что делать, Виктор Данилович? Я понимаю, как нелегко вам принимать бразды правления в такой обстановке. Рассчитывайте на меня во всем. Сделаю, что могу...»

Зимин еще раз повторил про себя заготовку и нашел ее удачной — и понятно, и деликатно. Он готов был к новой игре.

Он отодвинул сводку и газету с репортажем. Бог весть почему, он повысил Морозова, уступив Рымкевичу. Морозов стойкий человек, но сколько в нем гордыни! С ним будет очень неудобно работать...

— Халдеева ко мне! — объявил он по селектору.

— Халдеев в шахте, — ответили ему.

— Как только выедет, ко мне!

Морозов уважал свое мнение, он будет твердо держаться за него и, должно быть, ни перед чем не согнетса. Каково иметь такого в подчиненных? Но Зимин вчера получил от него памятный урок борьбы за существование без страха и злобы.

Он как будто остановился и оглянулся на всю жизнь и увидел, что свои годы провел на бегу, торопясь, задумываясь только о производстве и не замечая в себе человека. А этот человек был. И вчера у Рымкевича он невольно поставил себя на место Морозова, чтобы осудить зло и несправедливость, которые раскрылись у него на глазах.

От этого благородного бесполезного вмешательства Зимин испуганно шарахнулся в сторону, испытывая стыд и удивление собой.

Спустя сутки он все же понял, что самым реальным фактом была именно эта жалкая попытка быть на стороне слабого против сильного. Не вся попытка, но первый ее порыв, на миг освободивший Зими́на. Остальное перечеркнул удар Рымкевича. То, во имя чего Зимин был двоедушен, сегодня потеряло смысл.

Неужели Зимин должен был повториться — с Назаровым Виктором Даниловичем?

Халдеев явился через пятнадцать минут. Он был в темном костюме, светло-синей рубашке, волосы мокрые, сохранившие от расчески форму стекловидных узких прядок. Его строгая одежда резко отличалась от залоснившейся синтетической пары Зими́на. В этом был какой-то вызов, рождающийся из проигрышного сравнения. Главный инженер казался спокойным, обновленным, неуязвимым.

— Как там? — спросил Зимин.

— Все нормально, — ответил Халдеев, садясь к столу. — Сегодня будем с плюсом тонн в сто.

— Вчера я имел счастье читать твою докладную. Почему ты лукавишь за моей спиной?

— Вы бы ее задержали.

— Задержал? — как будто изумился Зимин. — Чтобы я задержал? Плохо ты меня знаешь, дружок, а оттого и плохо про меня думаешь.

— О вас я думаю ни плохо, ни хорошо. В той обстановке, в которой мы карабкаемся, у любого начальника шахты хватит благоразумия не лезть с проектами. Но мне простительно. Во-первых, я выступаю как частное лицо. Во-вторых, не подставляю вас: если Рымкевич вздумает вставить вам лыко в строку, вы всегда ответите, что Халдеев еще неопытный производственник и действовал самочинно.

Он говорил убедительно, с обычным твердым выражением лица, и Зимин, сам любивший поактерствовать, не мог понять, почему его главный инженер, безответный Кивало, вдруг так хорошо держится?

— У Рымкевича кровоизлияние в мозг, — сказал Зимин. — Его оценку нашим действиям мы уже вряд ли узнаем.

— Почему кровоизлияние? — спросил Халдеев.

Зимин молча смотрел, как тот снимает очки и проти-

рает платком стекла. «Это перечеркивает и его надежды,—подумал он.— Во всяком случае, с запиской он проиграл».

— Он всегда заступался за тебя,— вымолвил Зимин.— Мне его тоже жалко... Теперь придет вместо него какой-нибудь чистоплюй, с ним хлебнем.

— Хлебнем,— согласился Халдеев и встал. Его лицо снова приобрело обычную твердость.— Сейчас принесу второй экземпляр.

«Наверное, его снимут»,— как-то механически подумал он о Зимине.

...Сдав Тимохину смену, Морозов остался в нарядной, чтобы подготовить для бухгалтерии документы. Он знал об ударе Рымкевича, но весть совсем не задела его. «Ну что ж,— вскользь подумал он.— Он свое прожил...»

Константин не остыл от сегодняшней гонки, еще грохотавшей в нем своими сумеречными образами. Он по-прежнему ощущал давление каменного неба, рев комбайна и странную жалость к новому машинисту Кердоду. Он помнил какие-то неразличимые слова, выкрикнутые Кердодой и заглушенные железом. Морозову было жалко машиниста и когда тот неуверенно и с оглядкой на Лебедеенко медленно запускал механизм, и когда вдруг включил максимальную скорость, от которой могли расплавиться победитовые резцы. Но вот не расплавились...

Морозов подумал, что еще вчера у него было два пути, а нынче остался один и что Рымкевич умирает.

«Годи, казаченьки, горе горевать! — мелькнуло у него невесть откуда возникшее воспоминание.— Кажется, так выкрикивал Кердода. Разве он цел? Но под землей не поют!»

Он стал отмечать рабочие дни своих шахтеров, дошел до фамилии футболиста Акульшина и заколебался. Что было делать?

«Зачем это мне? — спросил он себя.— Какой из меня герой? Никому от этого лучше не станет. В счастливый конец я не верю».

Морозов ничего не решил и принялся оформлять наряды других шахтеров.

«Да, все правильно,— возразил он.— Но что взяло жизнь Рымкевича? Он умирает в больнице и обдумывает прошлое. Он должен мучиться, потому что никогда не

сумеет ничего исправить. Все останется так, как есть».

А отец Морозова умер легко и быстро. Издерганный сельский строитель, бывший горный инженер, бывший радист, он так ничего и не смог выполнить.

...Ранняя смерть отняла у Петра Григорьевича Морозова возможность передать сыну опыт своей жизни. Возвращаясь назад, можно найти подтверждение какому-то смущению Петра Григорьевича перед Константином и даже явной слабости, но ведь только — возвращаясь и домысливая. А как оно было на самом деле, кто скажет? Почему он не жепился во второй раз и лгал, говоря, что срочно уезжает в ночь на воскресенье в командировку, хотя какая могла быть работа в выходной день...

Бабушка тогда озабоченно смотрела на Костю, боясь, что он не поверит отцу. А он верил и жалел его.

Почему отец брался строить незапланированные объекты, все эти скотные дворы, клубы, дома, на которые не выделялось ни гвоздя, ни мешка цемента? Его просили, уговаривали, но стой он твердо, никто бы не смог заставить. А он уступал, размахивался на широкое строительство, чтобы потом, когда замрут подъемные краны и бетономешалки, идти с протянутой рукой, прося дополнительные деньги на все незавершенные объекты, плаповые и неплановые. Он получал новое финансирование вместе с наказанием, причем его наказывали те, кто просил, да они и не могли поступить по-другому, потому что должны были следить за порядком.

Почему отец не захотел устоять? И мог ли он устоять? Итог его жизни, подведенный вполне официально, перечислял зернохранилища, школы и фермы, но был слишком ничтожным для Константина. Нужен был иной счет...

Что такое мгновенная смерть, если не удачная попытка освободиться от ответа и передать вину идущим за тобой? Цепь разорвана, и через несколько десятилетий зыбкая марь неясных предположений окутает еще одну фотографию в семейном альбоме, который открывался карточкой дальнего родственника, безвестно пропавшего на первой мировой войне.

Константину стало больно, словно кто-то позвал его. Со смертью Рымкевича умирало и возрождалось что-то родное, горькое, несчастное. Что-то тянуло Морозова спешить в больницу, увидеть старика и проститься.

Он поехал в больницу, но туда его не пропустили, потому что был неприемный день.



— Я к Рымкевичу,— с особым чувством объяснил Морозов и зачем-то кивнул на рукописный список больных, приколотый рядом с окошком.

— А вы его родственник? — спросила она.

— Нет.

— Он умер,— сказала девушка.— Было второе кровоизлияние...

— Когда?

Она не ответила.

— Пропустите меня,— Морозов дернул ручку двери.— Откройте.

Девушка встала, жалостливо посмотрела на него.

Морозов вошел. Девушка сняла халат с железной стойки-вешалки и сунула ему.

С халатом в руках он взбежал по лестнице на второй этаж и остановился перед темным коридором, куда выходили палаты. Над столиком дежурной сестры, на котором лежала раскрытая конторская книга и какие-то блестящие предметы, слышно зазвенел звонок и замигала сигнальная лампочка. Морозов отступил назад.

Из кабинета вышла седая женщина, взглянула на Морозова, точно хотела отчитать его, и пошла по коридору. Он накинул халат. Через несколько шагов она снова оглянулась, и он, подумав, что она сейчас спросит, к кому он пришел, скрылся на веранде.

Здесь, в углу простенка, защищенного от ветра, сидел в шезлонге бывший пачальник морозовского участка; голова чуть отвалилась набок, и легкие завихрения воздуха шевелили серые седые волосы. Его глаза были закрыты, лицевые мускулы расслаблены, от мучнисто-белых крыльев носа шли темные морщины.

Увидев Морозова, он обрадовался и долго жал ему руку.

— Ты — меня проведать? — спросил он.

— Вас,— ответил Морозов.— Ну как вы тут?

— Не знаю, как я тут,— проворчал Бессмертенко.— Сам видишь. Ежели пришел старые счеты сводить,— в самую пору. Садись.

— Какие счеты! — Морозов подтащил шезлонг и сел, низко провалившись в продавленную парусину.

— Не обижайся,— вздохнул Бессмертенко.

Они помолчали, как молчат давно не встречавшиеся люди, которым после первых же слов понятно, что они уже не те, что нужно искать новый тон разговора и заново уз-

навать друг друга, а чем это закончится — неизвестно. Потом заговорили о том, что их связывало, однако разговор о шахте быстро иссяк, ибо по-настоящему не интересовал ни Бессмертенко, ни Константина.

— Пойду, — сказал Константин.

— Уже? — Старик колюче посмотрел на него. — Быстро ты... А больше не увидимся.

— Почему? — спросил Морозов, чувствуя, что возвращаются их прежние отношения старшего и младшего, и помимо воли поддаваясь им.

— Сам знаешь почему! Я был волкодав угольной промышленности...

— Что?

— А вы волкодавов не любите. Да и с чего нас любить? Для этой любви требуется расстояние, мы же слишком тесно друг к другу. Любим — мы, а вы — судите. — Бессмертенко отвернулся, стал глядеть вниз на облетающие деревья больничного сквера. — Ну чего уж там... Иди.

— Я ведь уйду с шахты, — сказал Морозов.

— Куда?

— Не знаю.

— Значит, уходишь... А кто вместо тебя?

— Найдут какого-нибудь волкодава.

— Отказываешься? — спросил Бессмертенко. — С чего это?

— С того. Мне оно не нужно.

— Черт вас разберет! То нужно, то не нужно... Ну а кто же вместо меня будет? Кто дело потянет?

— Кто захочет, тот и станет. Чего об этом говорить? Не всем же лезть в начальники. Слава богу, жизнь — это не одна только карьера.

— Жизнь, — повторил Бессмертенко. — В том-то и дело, что жизнь. Куда от нее денешься? У все один закон: если ты не сделаешь того, что можешь сделать, то ты паршивый дезертир. Подумай, Константин, чего ты хочешь? Дезертир никогда не скажет про себя, что он дезертир.

— Уйду, — сказал Морозов. — Я семь лет тянул лямку, но так и не знаю, ради чего? Ради должности? Ради заработка? Может, ради идеи? Так нету у меня никакой идеи...

— А, никуда не уйдешь, — улыбнулся Бессмертенко. — Вот только время у нас такое, что не каждый разберет, что такое лямку тянуть, а что такое жить. Но ты серьезный мужик, ты разберешься... Когда разберешься, тогда

и меня, может, вспомнишь: жил, мол, человек Бессмертенко и на нем великая держава стояла. Ну, не уйдешь? — Он наклонился, похлопал Морозова по колену. — Не уйдешь!

Но Морозов, видя на его грубом лице незнакомое выражение дружеского участия, плохо понимал, о чем говорит старик, и лишь чувствовал, как теперь далеко тот уходился от него.

Наверное, все были правы — и отец, и Бессмертенко — той прижизненной правотой, которая называется личная судьба. Правы ныне были все предки Морозова, выбравшие ту, а не иную судьбу, — и те, чьи кости покоились на тихом старобельском кладбище, и те, кто стал землей Галиции, Балкан, Пруссии, Померании, правы потому, что за свой выбор они уже ответили.

Морозов попрощался с Бессмертенко, сказав ему то, что тот от него ожидал, но этот ответ, каким бы он ни был, не мог быть окончательным. Не мог, ибо было бы замечательно просто — однажды лишь сказать и тем разгадать долг своей таинственной короткой жизни. А какие она сулила ему испытания, какие варианты, каков был ее срок, — всего этого Морозов не знал.

## XVI

К вечеру похолодало, ветер стал утихать, и склоняющееся над ладьей стадиона солнце окружила красная дымка. Было примерно четыре балла по шкале Бофорта.

В такую погоду на море гребни длинных волн опрокидываются, а брызги стучат в камень, на котором вырублена фигура аквалангиста и слово «Ихтиандр».

Над городом спокойно и неизбежно творился природный закон обновления.

Это было небо нынешней осени, таким же оно будет, наверное, и через год, пять лет, двадцать, пятьдесят... Никого из ныне живущих уже не останется, а оно будет так же высоко и холодно. И какой-то Морозов, которого сейчас еще нет, посмотрит на это небо карими, чуть-чуть азиатскими глазами, унаследованными бог весть от каких пращуров-степняков, и ни с того ни с сего сделается ему тоскливо и больно... Даже помимо своей воли он будет грозным судьей Константину Петровичу Морозову, но Константин Петрович станет и ему судьей.

ИБ № 2099

СВЯТОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ РЫБАС

ВАРИАНТЫ МОРОЗОВА

*Роман*

Заведующая редакцией Л. Сурова

Редактор Н. Никишин

Художник И. Данилов

Художественный редактор Э. Розен

Технический редактор В. Дубатова

Корректоры А. Конькова, Е. Коротаева

Сдано в набор 07.02.82. Подписано к печати 15.06.82. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64. Уч.-изд. л. 19,01. Тираж 75 000 экз. Заказ 2037. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.